

# КОСТРОМА

ПРОЗА и ПОЭЗИЯ  
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  
САТИРА и ЮМОР



Кострома, 2000 г.



---

Литературно-художественное издание

Редакционный совет: М.Ф.Базанков, Б.И.Бочкарев,  
А.В.Беляев, С.В.Виноградова, О.Н.Гуссаковская,  
Ю.В.Лебедев, В.В.Пашин, Е.А.Разумов, П.Р.Румянцев,  
В.И.Шапошников

© Костромская областная писательская организация, 2000



## К ЧИТАТЕЛЮ

Четвертое издание альманаха «Кострома», подготовленное без претензий на абсолютную объективность и полноту представления костромской литературы, выходит под особыми знаками исторического времени. Вслед за памятью о тех, кто уже не придет никогда, мы невольно обращаемся к Великой Отечественной войне, к 55-летию Победы. Особое настроение создает последний год трагического и взлетного века цивилизации. Год, завершающий второе тысячелетие от Рождества Христова.

Костромская литература этого века при построении издания в малом объеме может, лишь пунктирно прикасаясь, «провешить» некоторые аспекты народной жизни. Тематическая избирательность ограничивает многообразие очевидных творческих возможностей, характерных для наших писателей нескольких поколений. Ограничительные жесткие условия не позволяют представить творчество многих наших земляков из первой половины XX века, достижения лучших современных писателей. Уровень художественности предложенных авторами сочинений не всегда соответствовал общему замыслу литературно-художественного сборника, поэтому их место в композиции определялось связью с общественными обстоятельствами. Тип и объем издания обусловили упрощенность, даже схематизм расположения прозы и поэзии по содержанию.

Идеалы правды, добра, красоты, возрастающее стремление к духовности, чувство родного слова — главные достоинства лучших произведений. Некрасовская тема — гражданственность, патриотизм, любовь к простому русскому человеку звучит в основных разделах издания.

Достоинство выпуска не только в сути содержания, но и в тематической направленности, в благодарной памяти о тех, кого нельзя предавать забвению, в большом количестве дебютирующих авторов. Со временем и это издание будет иметь библиографическое значение.

Михаил Базанков,  
председатель областной писательской организации,  
член Правления и Совета секретарей СП России.



*Виктор Хохлов*

## ВСТРЕЧА

Полковник запаса Владимир Михайлович Седых как-то получил из нашей школы приглашение на встречу выпускников военной поры и уговорил меня тоже пойти.

Мы с волнением бродили по знакомым коридорам, заглядывали в «свои» классы и, услышав трель звонка, вместе со всеми поспешили в актовъй зал.

После официальной части разбрелись по кабинетам и далее всего задержались в классе, из которого в 1942 году Володя Седых вместе с нашими общими друзьями ушел добровольцем на фронт. Здесь на партах были разложены какие-то старые школьные принадлежности, потрепанные учебники, тетради, стояли скромные букетики цветов. А со стены, из траурной рамки, смотрели на нас юные, совсем мальчишеские лица Славы Мартьянова, Рема Белова, Гены Бароничева, других ребят, не вернувшихся с войны, и не было сил оторваться от их словно бы вопрошающих взглядов.

Потом меня позвали в «землянку». У входа в нее стояли два мальчика в военных пилотках, отдавая каждому ветерану честь. В самой «землянке» царил полумрак: окна класса были завешаны плащ-палатками. На учительском столе горела коптилка, рядом с нею стояли солдатские кружки и котелки. Тихо звучала записанная на пленку песня фронтовых лет: «Бьется в тесной печурке огонь...» Две школь-

ницы по очереди читали солдатские письма... И вдруг я вздрогнул, услышав свою фамилию. Читалось мое письмо, отправленное Славе Мартьянову, тогда еще школьнику, в 1941 году. Голос у девочки был печальным, особенно когда она сообщила, что автора письма, к сожалению, тоже нет в живых. Бережно отложив письмо в сторону, она тихо добавила, имея в виду, очевидно, всех не вернувшихся с войны: «Как много смогли бы они сделать, сколько пользы принести Отечеству!»

Странное чувство охватило меня. Пришлось объявиться. Кто-то тихо ахнул, кто-то откинул угол плащ-палатки, закрывавший дневной свет. Ведущая смутилась, не особенно, впрочем, удивившись происшедшей метаморфозе, пригласила меня встать. Встал, поклонился, ответил на какие-то вопросы, попросил извинения и вышел. Вышел и вдруг с пронзительной остротой ощутил, какая громадная пропасть времени пролегла между ними и нами: ведь когда началась война, не было на свете даже их пап и мам...

Я медленно брел потом по замеченной снегом улице Островского и дальше, мимо Мучных рядов, к Молочной горе, над которой возвышался памятник Ивану Сусанину, а в голове неотступно стучало: «Смогли бы... Смогли бы...»

Сусанин с нетающими снежинками на непокрытой голове и на руке армяка пристально глядывался в заволжскую даль. Конечно смогли бы, — кажется, говорил его взгляд. — Но можно ли сделать для Родины больше, чем отдать за нее жизнь!

*Александр Часовников*  
(1912-1979)

## МЕТЕЛЬ

Нам идти далеко...  
Окружили снега ворохами,  
Навалилась метель,  
Холодных холмов намела.  
Далеко до села  
С огоньками, с теплом,  
С петухами...  
Хорошо бы дойти  
До такого до села,  
Чтобы тело распарить  
На ласковой,  
Теплой лежанке,  
Чтоб солдатский сухарь  
Раздобрел  
Под крутым кипятком...  
Ни дорог, ни огня,

И не пахнет жильем  
И стоянкой —  
Все закрыто  
Махровым, шершавым  
Метельным платком.  
Мы идем по сугробам  
Под злые  
Напевы метели.  
Ей — кружить и блуждать,  
Нам шагать в темноте  
Без дорог.  
Наши каски, шинели  
В снегу поседали...  
Устоим,  
Победим  
И не свалимся с ног.

## ПРОРЫВ

Пехота на лодках, на бревнах и вплавь  
Стремится на берег крутой.  
Кричат перевозчику: «К берегу правь!  
Левее, ты что, брат, слепой?!»

А сбоку парома вскипает вода,  
Осколки впивались в корму.  
Казалось, прикончит, прихлопнет беда,  
Но, думалось, смерть ни к чему.

Во-первых, на суше и смерть веселей,  
Победа близка, во-вторых,  
А в-третьих, за нами десятки смертей,  
Так что же нам думать о них.

Полковник саперам в тот час приказал  
Идти под разрывами в рост,  
Чтоб срочно два берега прочно связал  
Надежный, испытанный мост.

Чтоб пушки и танки громили с высот,  
Чтоб враг на сто верст отступил.  
Стучат топоры. Поднимается мост.  
На сваи крепится настил.

Снаряды ложатся и прямо и вкось,  
Редуют саперов ряды.  
Навечно остаться здесь многим пришлось,  
Не выплыв из мутной воды.

Сдержать нашу ярость у немцев нет сил —  
С победой нас Родина ждет!  
Наш танк пролетел через шаткий настил  
И с правого берега бьет.





*Василий Бочарников  
(1921-1991)*

## АПА

Пока не скажу, что означает это румынское слово «апа», которое впервые я узнал поздним летом 1944 года в Трансильванских Альпах и запомнил, ручаюсь, на всю жизнь.

Бои шли в горах. Танки остались на равнине, тяжелые пушки тоже, и нам были приданы только легкие пушчонки «сорокапятки». Славно помогали еще и сильные, с горбинкой, «илы»: бомбили фрицев, жгли из маленьких «катюш».

Уже полдень.

Двое суток наш батальон, рассыпанный по горе, не может продвинуться ни на шаг.

Солнце, кажется, всю свою калящую силу направило на нашу сопку: гимнастерки, галифе, сапоги, ремни — все на нас, будто из жести, которую накалили. Холодочка бы! Черта с два!.. Нужно глядеть за фрицем в оба, нужно стрелять. И мы глядели и, сдирая о камни ладони, стреляли.

С утра наши фляжки были пусты. Только у пулеметчика Анкудинова оставалась вода во фляжке, но она приравнивалась к жизни, берегли для пулемета «максимки».

Кругом был камень, проклятуший каленый камень. Он усиливал жару. А если бы было холодно — усиливал бы холод.

«Тив... ти-ив... ти-иуиво...»

Это пули. Эхо разнесло в горах очереди немецкого пулемета.

— Ну, погоди, конопатый, я тебя укараулю! — посулил Витька Князьков, протирая оптический прицел снайперской винтовки. Винтовку эту он подобрал на поле боя и, несмотря на то, что таскал коlesa «станкача», не расставался с нею.

— На сопку лезут. Подкрепление! — крикнул Витька, и тут же зло зачистил наш пулемет. У Анкудинова сползла пилотка на бок, на загорелом лбу высеяло крупные капли пота.

Витька долго охотился за «конопатым», несколько раз стрелял, но неудачно.

При обстреле мы лежали в окопе, если его можно было так назвать (мы обложили себя камнями и были словно за фундаментом какой-нибудь сараюшки).

Витька прислонил к каменному выступу винтовку и стал, как это он уже не раз делал, повторять географию:

— На свете есть Волга... и Днепр... и Дунай... Около моей деревушки Лотково, на Ярославщине, речка Сутка, три речки-безымянки, а ручьев, ручьев...

— Не каночь! — оборвал Анкудинов. — Давай-ка ленты набивать... Черт, палит как! — Сибиряк вытер пот со лба пилоткой, искоса глянул на небо.

— Есть же на свете дожди, — не унимался Витька.

Мы молчали и только облизывали свои сухие губы.

«Кха-а!.. Кгах!.. Кгах!..»

Осколки от мин разлетались со звоном.

— О дождях вспомнил? А кто, как не ты, клял их под Кривым Рогом? — не утерпел Анкудинов.

— Сроду такого не было, — не моргнув глазом, возразил ярославец.

Между дружками началась перепалка, и по всему было видно, что она принимает затяжной характер.

Я оглянулся и вскрикнул:

— Смотрите! Смотрите!

Витька подумал, что немцы обошли нас, и схватился за винтовку. Гневно блеснул ястребиный глаз пулеметчика Анкудинова.

— Стой, стой, дура! Не пугай винтовкой! — Анкудинов отстранил друга.

Мы увидели, что к нам карабкается проворный, как ящерка, парнишка. В войлочной шляпчонке, в рубашке с расстегнутым воротом, в постолах — удобной обуви из сыромятной кожи. Но нас, признаться, интересовала не столько одежда парнишки, сколько само появление его на передовой. Зачем он здесь? Того гляди подстрелят. Мальчишка что-то нес в правой руке.

— Э-эй, давай-ка назад! Поворачивай! — непривычно мягко крикнул Анкудинов.

Хлопец не обратил внимания на окрик и продолжал все так же проворно подниматься к нам. Теперь мы видели, что он нес в руке какую-то черную торбу.

— Так это же у него армейское брезентовое ведро-о, а в ведрышке — вода-а! — первым догадался Витька. — Ишь, почернел брезент.

— А коли так, подсоби хлопцу! — приказал первый номер Анкудинов.

Как на грех немец снова застрочил. Пришлось тут же дать несколько ответных очередей и нам.



Парнишка с Витькой перелезли через «фундамент». В руке у Витьки раскачивалось брезентовое ведрышко, а в нем — нельзя было ошибиться! — булькала вода.

— Русешти, апа... апа... — Хлопец ударил себя ладошкой в грудь, показал на ведрышко и нас. Черно-агатовые глаза его при этом сияли.

Мы все поняли. Первым, откашлявшись, пил Анкудинов. Его заросший рыжеватой щетиной кадык неторопливо отсчитывал каждый глоток. Анкудинов, блаженствуя, сказал:

— Вкусная водица, братцы!

Пока пил Витька, Анкудинов развязал вещмешок, бережно развернул полотенце и, подмигивая, подал парнишке две грудки сахару.

— Как тебя зовут? А? — И он ткнул пальцем себя в грудь. — Я — Иван. Понял? И-ван! А ты?..

Черно-агатовые глаза посверкивали радостью.

— Митря-я! Митря-я! — быстро проговорил хлопец.

— Ага, Митрий, значит. Ну, спасибо, Митрий, за апу! — Анкудинов разглядывал мальчонку ласково, вприщур.

Витька передал мне заметно опустевшее ведрышко и приказал Митре:

— Сахарок-то ешь, чего ж ты!

Митря показал пальцем на снайперскую винтовку.

— Пах-пах...

— Иван, дам я ему стрельнуть, вишь, чертенок, просит как... Ну? — И Витька заискивающе поглядел на Анкудинова, напомнив: — Апато какая была! Сам сказал, что сроду такой не пил.

— Не дело детям оружие давать... Ну да ладно. Пусть пальнет, последи.

Митря трижды, раз за разом, бацнул в сторону фрицев и был счастлив. Мы допили воду. Анкудинов догадался спросить:

— Митрий, как же ты здесь очутился? — И показал на горы, на нас, втолковывая вопрос.

Митря понял, кивнул на сопку, что осталась в тылу у нас, и при этом издал голосом звук, от которого мы захохотали: «Бе-е-е... Бе-е-е-е...» Переводчика не требовалось — перед нами был пастушок.

Митря съел мой сахар, а сахар сунул в карман, подобрал три патронные гильзы, свои, и, как настоящий румын, засвистев, пошел под гору. Через несколько шагов он обернулся и крикнул:

— Апа, Иван, апа!..

Дескать, еще принесу.

К вечеру мы сдвинули немца с сопки, и он побежал.

Шагая в темноте, покуривая, Анкудинов сказал:

— Ладно, что драпанул фриц, а то бы Митря еще к нам наведалься.

А на войне, знаем как, и подстрелить могут. Запросто.

Оступаясь, обрушивая камни, мы шли вперед. Над Трансильванскими Альпами стояла тревожная ночь, и Митря, наверное, уже спал.

*Евгений Старшинов*  
(1915-1977)

## **ВСПОМНИМ ГОДЫ...**

Вспомним годы непогоды,  
Да походы, да бои,  
Где с тобой в огонь и в воду  
Шли товарищи твои.

Как летели дни, недели  
Не у тещи на пиру.  
Как шинели леденели,  
Аж звенели на ветру.

Словно с братом, с автоматом,  
Где ползком, а где броском,  
Да с гранатой, да с лопатой,  
Да с солдатским котелком

Пыль клубили, грязь месили,  
Переплыли море бед.  
И сломали вражьей силе  
Становой ее хребет.

И под сводами рейхстага  
Прозвучали на века  
Наши песни про «Варяга»,  
Про отвагу Ермака.

## **9 МАЯ 1945 ГОДА**

Забуду ли день тот —  
девятое мая...  
От Дрездена к Праге  
дорога прямая.  
В колоннах — ни смеха,  
ни песен, ни плясок.  
Лишь ливневый пот  
из-под скаток и касок.  
Да пыль над дорогой,  
да Рудные горы,  
Да в сердце тревога,  
да горький ком в горле...  
Хотелось умыться,  
напиться, свалиться,  
От крови,  
от шума и грома забыться.  
Помыть гимнастерки,  
пилотки, портянки,  
Увидеть подснежник  
в лесу на полянке.  
Услышать кукушку  
в березовом дыме.  
И дома побыть

хоть немного с родными...  
А видеть пришлось нам  
другие картины:  
Колбочие  
концлагерей паутины.  
Да пепел,  
да свастики  
темные меты.  
Людей полутрупы  
и полускелеты.  
Да смрад, да зловонье,  
да виселиц петли...  
Мы были, как в море,  
как в огненном пекле...  
Из Буя, Кадыя,  
из Кинешмы, Решмы  
Солдаты России,  
святые и грешные,  
Мы с мира счищали  
фашистскую плесень.  
Нам было  
в тот солнечный день  
не до песен.

## ПОРТСИГАР

Служил в моем отделении солдат Ключиков. На вид невзрачный такой, щупленький. Шинель на нем, что армяк на колу, pilotка раза в полтора больше головы, на поясе закопченный котелок. Ну, честное слово, пародия какая-то на солдата.

Давно перевалило ему за сорок, но звали его все, начиная от безугого новобранца и кончая командиром батальона, не иначе как Василек.

Почему Василек? Любил он письма от жены вслух читать. Бывало, соберет вокруг себя кружок «обиженных судьбой» — тех, кого сегодня почта письмом обошла, не торопясь разорвет конверт, прищурит глаза и начинает всегда с одной и той же фразы: «Василек ты мой Васютушка, здравствуй, родной!» Так к нему этот «Василек» и прилип в роте.

Удивительным характером наградила природа Ключикова. До войны работал он лесоводом в каком-то питомнике, и это занятие, очевидно, наложило на него особую печать. Любил Василек все живое: людей, природу, птиц, зверюшек разных. Ужасы войны, караулившие солдата на каждом шагу, не надломали его душевного равновесия. Странно было видеть этого сугубо гражданского человека в окопах, в солдатской форме, со смертоносным оружием в руках.

— Ключиков и война, — частенько говорил наш комбат, — понятия совершенно несовместимые.

Только во время боя становился Василек непохожим на себя, вроде хмельным. Дрался отчаянно, однако без нужды на рожон не лез. Между прочим, ему первому в батальоне орден Славы дали.

Но стихнет бой — и Ключиков враз сам собою делается. Смотришь, притулится где-нибудь в укромном местечке, автомат — в сторону. Выложит в pilotку из своих необъятных карманов всякие инструменты: напильнички, плоскогубцы, резцы разные — и мастерит то наборный мундштук, то ножичек с секретом, то ложку какой-нибудь замысловатой формы.

Вот работяга-то был! Казалось, не существовало на свете дела, которое бы стороной обошло Ключикова. Бывало, что кому во взводе потребуется смастерить, все к нему идут. И не потому, что самим не под силу, а просто хотелось сделать Васильку приятное — уж больно он любил всякое мастерство.

Часы у него были трофейные. Какой-то фриц наступил на них кованым сапогом — форменным образом в сырник превратил. А Ключиков с неделю поковырялся в механизме, стрелки из консервной банки вырезал, стекло от противогаса приспособил — пошли. Правда, в карман не влезали, так он их под гимнастеркой на шнурке носил. Но за точность времени мог головой поручиться, сам командир роты по его часам свои ставил.

...Попросил я как-то Ключикова портсигар сделать. Кисет солдату неудобен: ползаешь по земле — махорка мнется, отходы большие. Обещал. Только, говорит, материалу подходящего трудно сейчас достать. Вот если бы самолет немецкий подбить, да так, чтобы он ухнул и не стогрел, тогда бы на всю роту можно было дюралью запастись. Обшивка на

немецких «фоккерах» добрая. Хоть и жестковата, но портсигар из нее — первый сорт.

Очень переживал Василек, что никак ему заказ мой выполнить не удастся. Уж я и сам не рад, что попросил его. Сидим однажды в блиндаже. Немец методическим огоньком нас потчует. Настроение у всех прескверное. Василек толкает меня под бок и этак выразительно показывает, чтобы я ухо ему подставил. Наклоняюсь, думаю, серьезное что хочет сказать, а он сует мне в руку свой портсигар и шепчет:

— Носи пока, товарищ сержант... до обещанного...

Я даже выругался в сердцах.

— Ты что, — говорю, — сдурел? Тоже мне, нашел время. Тут того и гляди на тот свет угодишь, а он со всякой дрянью лезет...

Сказал я это, взглянул в растерянное лицо Ключикова, и так мне вдруг стыдно стало за свою несдержанность, за свои нервы — хоть из блиндажа беги. А Василек моргает серыми огромными глазами и никак понять не может, за что же я накричал на него. Видимо, не подыскав более подходящих слов, говорит без обиды:

— Портсигар этот не дрянь, товарищ сержант. Конечно, до покупного ему далеко, но он со мной всю войну прошел — на нем каждое село, которое брал, записано...

Знал я все это, сам не раз с любопытством читал корявые буквы, выцарапанные ножом, а то и штыком на исшорканных крышках алюминиевой коробки. Читал и вспоминал бои за Ливны, под Оршей... Знал я и то, что нет у Ключикова более дорогой вещи, чем этот самодельный портсигар. И черт же меня дернул!

— Извини, — говорю, — Василек, не хотел тебя обижать. Понимаешь, как-то по-глупому вышло... А портсигар этот я не возьму ни за что, не имею права. Да и как ты сам можешь отдавать его — это же твой паспорт, диплом фронтовой, аттестат и все, что хочешь...

Василек и говорит:

— Так я же не на вовсе даю, а пока не сделаю тебе... Это вроде как узелок на память, чтобы меня все время подхлестывало.

Подмигнул этак таинственно и продолжает:

— Я тебе решил особый порттабачник сделать... с решетом, чтобы пыль отсеивалась.

— Это как же? — спрашиваю.

— Двойное дно будет, а в нем отверстия, нажимаешь кнопку — решетка взад-вперед ходит, дырочки совпадают, и вся пыль от махорки, значит, через них отсеивается. Любопытный механизм. Я в медсанбате у фельдшера одного видел.

...Ренчен. Есть такая деревушка за Познанию. Вошли мы в нее без единого выстрела. Расквартировались на окраине в немецких окопах... Погода чудесная, солнце по-летнему печет, хоть на дворе апрель. В такие дни о войне никак не думается. Да уж и конец ей скоро: от нас до Берлина километров триста осталось, не больше.

Старшина термос с едой приволок. Василек, как всегда, «за разводящего». Собрал котелки, разложил кашу с аптекарской точностью, хлеб на шинели нарезал. Только собрались «на переку», кто-то кричит:

— «Фоккер»!

Пустяки. Мы уже привыкли не кланяться немецким истребителям, потому что последнее время не шарились они по окопам, выдать, не до этого было. Однако ложку с кашей в рот, а глазом коси...

Пролетел «фоккер» над нами, потом смотрим — боевой разворот делает. Ах ты, подлюга! Ребята к стенкам жмутся, а Василек хоть бы что: сел на термос и автомат перезаряжает.

— Ключиков, ложись! — кричат ему.

А он так спокойненько отвечает:

— Некогда разлеживаться: вон, видишь, дюраль по небу летает. Приземлить ее требуется.

— Да ты никак рехнулся! — кричат ребята. — Уж не из автомата ли?

— А хотя бы из автомата, аль не оружие?

— Кончай дурака валять! — приказываю Ключикову. — Ложись!

— Сейчас, товарищ сержант, — не торопясь отвечает Ключиков, а сам вскидывает автомат и целит в приближающийся «фоккер».

Не успел я крикнуть «отставить», как затрещала длинная очередь. И что вы думаете! Пронесся «фоккер» над нами — рукой достать, воздушным потоком со всех пилотки поносило. И метрах в ста за окопами врезался в землю носом.

Мы еще ртов закрыть не успели, а Василек первым через бруствер — и к самолету. Подбежал к оторвавшейся от фюзеляжа плоскости, этак по-хозяйски постучал по ней автоматом, показывает нам большой палец.

— Матерьялец что надо! Всему взводу портсигаров намастерю!

Обступили мы Ключикова — возбужденные, радостные. Кто-то кричит: «Качнем Василька!» Подхватили мы его и ну подкидывать вверх. И за этим занятием не заметили, как подкатил к нам «вилис». Только слышим, кто-то посторонний командует:

— Еще раз-зик! Еще раз!

Оборачиваемся — командующий! А с ним двое — генерал и офицер стоят, улыбаются.

— Смирно! — кричу своим ребятам и по уставу: — Товарищ маршал Советского Союза, третье отделение находится... готовится...

А командующий смотрит на меня хитрыми глазами.

— Что, сержант, заклинило?.. Не подыщешь подходящих слов... Да я и сам бы на твоём месте растерялся. Шутка ли — сбить самолет из автомата! Кабы я не видел всего этого своими глазами — ни за что бы не поверил. Где этот герой? Выходи!

Ключиков два шага вперед сделал, вытянулся в струнку, стоит — не шелохнется. Маршал подошел к нему, обнял и говорит:

— Ну спасибо, солдат!

Дотронулся рукой до двух орденов Славы, висящих на гимнастерке Ключикова. Потом повернулся к своему адъютанту.

— Сегодня же представить к золотой «Славе», чтобы войну закончил полным кавалером. Как твоя фамилия-то?

— Ключиков, товарищ маршал.

— Ай да Ключиков, — подмигнул командующий своим спутникам. — Ловко он ключик к этому «фоккеру» подобрал.

И рассмеялся, довольный своим каламбуром...

*Виктор Волков*  
(1922-1985)

\* \* \*

Когда нас «юнкеры» бомбили  
И шла на нас фашистов рать,  
О, как мы жизнь тогда любили  
И не хотели умирать...

К земле прижатый иль пригнутый  
На рубеже смертельном том  
Солдат, я думал в те минуты:  
Меня убьют, а что ж потом?

Потом в воронке закопают,  
Как все отдавшего сполна...  
Но было горько: не узнаю,  
Когда же кончится война...

\* \* \*

Неужели все это было?  
Светлый полдень стоял тогда...  
На земле, под июльским пылом,  
боевая кипит страда.  
Возле бруствера (чаще, чаще)  
за разрывом — еще разрыв.  
По Задонью огонь чадящий  
пожирает разливы нив.  
Я, согнувшись, сижу в ячейке  
с бронебойным своим ружьем.  
От снарядов, от пули чьей-то  
в танке люди горят живьем...  
За обрывом, в гнилом болоте, —  
«Помогите!» — предсмертный стон.  
В зыбких топях — беда пехоте  
под обстрелом со всех сторон.  
Поклялись, что «назад — ни шагу!»  
Бьет отчаянно пулемет.  
Нас в болотной тяжелой влаге  
кто услышит и кто поймет?  
Справа — Дон. Впереди — Воронеж.  
Сзади — Русь до родных краев.  
... Так не верится, если вспомнишь,  
что вернулся из тех боев.  
Что живой, как и все живые.  
Разговариваю, дышу.  
Вот опять я про дни былые,  
о минувшей войне пишу.

\* \* \*

Мне нелегко стихов писанье,	Им, созерцателям природы,
Оно пиленью дров под стать.	Писать пейзажи по душе...
Ушли иные в созерцанье,	А я сижу не дни, а годы
Мне ж просто нечем созерцать.	Под арталетом в блиндаже.

\* \* \*

Боль в глазах.  
 Свистящее дыханье.  
 Ночь без звезд, без проблесков огня,  
 Подавляя шаткое сознание,  
 Ополчилась грозно на меня.  
 В голове проносятся виденья:  
 Вот лечу в заоблачный простор.  
 словно сердца ровное биенье,  
 Безотказно действует мотор,  
 А в палатке солнышко сияет.  
 Далеко тревожное вчера.  
 И в заботе голову склоняет  
 Надо мной дежурная сестра.  
 Я ослеп. Я ничего не вижу...  
 Что ж! Презрев безвременную тьму,  
 Я войну всем сердцем ненавижу,  
 Я ее зачинщиков кляню,  
 Потому что в годы испытаний,  
 Тех, какие принесла война,  
 Злое зелье горя и страданий  
 Я испил до капельки, до дна.

## ДРУЗЬЯМ-ОДНОПОЛЧНАМ

Друзья мои, в тревоге и печали  
 Я вспомнил вновь минувшую войну.  
 Лежавшие в сугробах не гадали,  
 Кто будет жив, кому встречать весну,  
 Кому топтать подснежники лиловые  
 И жадно пить черемух аромат...  
 Нет, не забуду никогда былого я,  
 В руках своих сжимавший автомат,  
 Кидавшийся, как в том бою у Харькова,  
 В атаку на врага тринадцать раз.  
 За Тракторным в степи вороны каркали,  
 Над трупами замерзшими кружась.  
 Прошли года чередой необратимою,  
 Умолкли пуль гудящие рои.  
 В могилах спят навеки побратимами  
 Безусые товарищи мои.  
 Друзья, ну что ж —  
 В беде жестокой выстояв,  
 Я помню вас,  
 Ведь я еще живой.  
 Цвети и пойдь, пшеница колосистая,  
 У обелисков славы боевой!



*Николай Алешин  
(1903-1978)*

## ПАМЯТНИК

Из повести «На великом стоянии»

Памятник словно прятался под покровом листвы берез да теснившихся с боков к нему кустов зацветающего жасмина. Сложенная из кирпича прямоугольная плита величиной с калитку забора прочно стояла тоже на кирпичной подушке. Вся кладка была зацементирована, плита выкрашена под темно-серый мрамор. Красные надписи на ней да выше нее красная звезда на штыре явственно различались при немеркнущем свете белой ночи. Видны были вылепленные из алебаstra на подушке два изображения: голова воина и факел с Вечным огнем. Ограждение из тонких железных труб, выкрашенных голубой эмалью и приваренных к столбикам тоже из труб, по квадрату охватывало это скромное сооружение.

Лысухин не нашел в нем ничего примечательного. Оно воспринялось им как обыкновенное надгробие, находящееся вне кладбища, к тому же на пустом месте, чем он даже был развлечен; хотел обмолвиться о том со стариком, но не посмел, заметив, что тот стоял возле него с обнаженной головой, держа фуражку в скорбно опущенных руках. Ветер задирает с затылка на плешь его курчавые седины. Лысухин украдкой от него тоже сволок с головы свою белую туристскую кепку с защитным от солнца фиолетовым козырем из целлулоида и про себя стал считать погибших по надписям.

— Девятнадцать, — произнес так, будто подытожил нечто штучное.

— А разве мало на двадцать-то шесть дворов? — напомнил ему старик о сказанном давеча, при встрече с ним на берегу, про бывшую Алфериху. — Ну-ка, прикиньте?

В представлении Лысухина мгновенно возникли две цифры, и он совестно сник от их сурового соотношения. Старик горько посетовал:

— Хоть и не протолкалась война сюда, а вишь, с какой лихвой скоротала население, — кивнул на памятник. — Тряхнула деревню, как вор яблоню.



— М-да, — неопределенно произнес Лысухин, во избежание задеть старика излишне вольным, неуместным словом. Чтобы не тяготиться наступившим молчанием, начал читать надписи: «Бурмаков Геральд Захарыч 1922—1943 гг.», «Бурмакова Регуста Захарьевна 1922—1945 гг.»... Сразу обострился вниманием к двум заведомо нерусским именам и живее углубился в чтение. Но за последующими фамилиями еще троих Бурмаковых, семерых Рунтовых да шестерых Цыцных попадались лишь простые, общепринятые имена. Фамилия того, кем завершился список, была проставлена не в алфавитном порядке: «Аверкин Федор Степаныч 1914—1941 гг.». Лысухин снова переключился взглядом на первые надписи и спросил старика: — Кто такие Геральд да Регуста?

Старик сокрушенно вздохнул и сказал потупившись:

— Мои они: сынок и дочь. — И с застенчивой улыбкой поднял взгляд на Лысухина. — Многим вроде вас любопытно, почему так названы. А чего запыряться? Время такое было. Я еще до женитьбы вступил в комсомол — один из первых в нашей деревне. Ячейка-то организовалась в Ильинском, туда и ходил. Мы стремились тогда все повернуть на новый лад. Через то и святцы побоку: своих новорожденных стали называть кому как вздумается, больше из книжек да из пьес, какие разыгрывали чуть не каждое воскресенье. Конечно, тятя не потерпел бы ни комсомола, ни всех моих замашек, да умер перед той порой: опился после бани солодовой брагой с погреба. Ну, а от матери я вскоре же отбился, волю взял. Марфу, первую свою жену, тоже залучил после свадьбы ходить вместе со мной в Ильинское и выступать на сцене, пока она не оказалась в положении. Едва выносила двойняшек: их вот, — указал на памятник. — А они задались крупные. Не отвези я ее в Гаврилово, в уездную больницу, наверняка извелась бы. Но там ей сделали кесарево сечение. Ее спасли и младенцев сохранили. После них у нас уж не было детей. Марфе-то поневоле пришлось согласиться на дополнительную операцию, иначе бы при новом зачатии могло получиться то же самое. А повторные искусственные роды очень опасны. — Он потискал фуражку, в нервном возбуждении попереминался на месте и опять заговорил о своих двойняшках: — Не пришлось мне попрощаться с ними тем летом, в сорок-то первом. Гера учился на курсах трактористов в Бычихе и после посевной практиковался там на ремонте техники, а Густу послали в Боговаровский район на прививку оспы. Она после семилетки поступила в медицинский техникум и перешла уж на четвертый курс. Я был тогда председателем колхоза в нашей Алферихе. Нас, партийцев и активистов, на первой неделе, как началась война, вызвали в сельсовет, куда приехал военком района. После его доклада о всенародном сопротивлении наглому врагу я вместе с некоторыми коммунистами тоже лично вручил ему заявление: «...желаю добровольцем в ряды защитников Родины». Военком одобрил мое намерение, но с веселым убеждением уведомил меня, что до запасных моего возраста пока еще не дошло. «Заявление, — сказал, — опубликуем в газете, как образец патриотизма и высокой партийной сознательности, а вы, — говорит, —

оставайтесь на своем ответственном посту и жмите на повышение урожайности: хлеб — второе оружие в борьбе с немецким фашизмом». А невольный сам же вызвал меня.

«Я, — говорит, — посоветовался с секретарем райкома насчет вашего заявления. Он хорошего мнения о вас как об опытном и заботливом хозяйственнике. Поступило предписание на частичную мобилизацию пожилых военнообязанных с деловой хваткой в трудовые бригады по вывозке промышленного оборудования, зерна и скота из прифронтовых зон. Это не менее трудно, чем сражаться на переднем крае. Может, пожелаете по своей же охоте?...» Так я и разомкнулся тогда с семьей и домом. Домой-то довелось вернуться с войны, а родных уж не застал в нем. Геру взяли в броневую часть. Сгорел в танке на Курской дуге. А Густу по окончании техникума отправили на фронт, в полевой госпиталь. Утонула при переправке раненых через Вислу. И Марфы не стало вскоре после того. В последнем письме жаловалась, что простыла в колхозном овощехранилище, перебирая картошку. И невольный после того письма получил от сестры Анны, выданной в Дорофеево, извещение: «Скончалась, должно, от почек. За неделю так осунулась, что не узнать...» Никак не верилось. Ведь при болезни почек не худеют, а пухнут. И мне сдается, перемоглась бы, не принеси ей почтарка вторую похоронку. Наразу и извелась с тоски по Гере и Густе. — Он при всколыхе чувств накинул на голову фуражку, но тотчас же сдернул ее и опять заговорил: — Я тоже ужасно казнил тогда по ним, как и все в деревне по своим кровным, что полегли где кому пришлось. Малость поуспокоились мы, когда поставили этот памятник: вроде как собрали всех под него, к себе приблизили.

Лысухин натянуто улыбнулся и попытался оспорить:

— Не представляю, что можно проникнуться таким убеждением. Это уж мистификация.

— Ничего не мистификация, — без толики обиды возразил старик. — Вы молоды и, знамо, не испытали с наше. Воевал ли ваш отец или кто из родных?

— Не знаю, — стушевался Лысухин. — Я не помню ни его, ни матери. Мне не было и двух, когда они развелись и, по словам бабушки, «умыкнули от нас в разные места». Он с другой, и она с другим. После смерти бабушки я уж по пятому году попал в детдом, там воспитывался, а потом учился.

— Вот-вот... так оно и получается...

Что получается, старик не досказал, лишь голосом выразил порицание. Лысухин отклонил разговор о себе, спросив про записи на памятнике:

— А почему Аверкин угодил последним в этот мемориал? Его бы следовало первой строкой.

— С ним вышло особое повремение. Он муж Секлетей-то. О нем еще до осени в сорок-то первом пришло извещение, что пропал без вести. Памятник мы сложили в пятьдесят третьем году, а о Федоре неожиданно поступили точные сведения из Белоруссии, когда

там началась осушка болот. Шестерых выбрали из канала в одном месте. У всех обмундирование полуистлело и проросло тиной. В ослепком руны у одного уцелел металлический портсигар, а в нем образок Николая-угодника да фамильная записка, обернутые той свинцовой бумагой, что применяется для облаток дорогих конфет. Портсигар оказался Федора. Он не курил, но по наказу Секлетеи держал его вместе с образком во спасение себе, чего не случилось. На пирамидке над братской могилой тем воинам так и написано: «Подразделение сержанта Аверкина». Секлетея ездила туда на поклон. А вернулась да узаконила на нашем памятнике кончину мужа — и понимаете, как угодно, — но тоже утвердилась в помыслах, что он там и тут. Так и живем мы с ней пока около своих, и у обоих душа на месте.

Лысухина подмывало нетерпение выведать, где же эта перевозимая стариком Секлетея и что их обоюдно сблизило после войны. Сама обстановка тут способствовала откровению. Но старик вдруг умолк, коротко, только головой поклонился памятнику, надел фуражку и с той же поспешностью, с какой вышел из избы, сорвался теперь с места обратно.



*Евгений Осетров*

## **Я — РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК**

Мне кажется, что заколдован я,  
Что пули не берут меня литые,  
Что я — само кипенье бытия,  
Что я бессмертен, как моя Россия,  
Любовию народною храним,  
Неистребим, как радость, как свобода,  
Я — русский человек, я верный сын  
Великого бессмертного народа.

Печаталось в газете «В бой за Родину»  
1943 год, 29 октября.

## ПРОПУЩЕННАЯ ЗАРЯ

Приходилось ли вам молча и трудно прощаться с уходящим днем? Сотни раз я встречал вечерний сумрак в лесу, и никогда меркнущий дневной свет не вызывал во мне раздумий. Я спокойно коротал ночь у костра, ожидая неизбежный рассвет.

Мы привыкли по ночам видеть звезды, днем снова радоваться солнцу и, радуясь этой щедрости жизни, не всегда слышим тихий перестук часов в своей комнате.

А стоит иной раз вслушаться и почувствовать: время идет, время идет!..

...В первую послевоенную весну я охотился в безлюдных местах, на волжских разливах.

Однажды, под вечер, я плыл в челноке, разыскивая сухое место для ночлега. Где-то в стороне по-весеннему напористо шумела река, а здесь, у затопленного леса, было тихо. В неподвижной воде отражались черные молчаливые ели и бледная заря.

Ночь всегда настораживает одинокого человека. Но сегодня с непривычным беспокойством оглядывая пустынные, быстро темнеющие разливы, вслушивался в немоту всегда живого леса.

Один только тонконогий дрозд пробовал нарушить наступившее безмолвие. Он пискнул, взъерошил крылья, перелетел на мохнатый палец сосны и засвистал. Никто не ответил ему. И дерзкая маленькая птица затихла.

На разливы еще светила заря. Но вот и на последний ее слабый отблеск надвинулась темнота. От берегов пахло сырой прохладой.

День ушел.

Я долго плыл в ночи, натываясь на кусты и деревья, пока случайно не привел меня к одинокому костру. Вдрагивающий огонь освещал снизу толстые разлапистые ветви и лежащего на земле человека. Я разглядел лодку у берега, двустволку, низко висящую на суку; все говорило, что под сосной расположился охотник.

Я вылез из челнока и пошел к костру. Человек приподнялся, заслонился от огня рукой. Я поздоровался. Человек молча осмотрел меня, недовольным жестом пригласил садиться.

Я сел и долго не мог пошевелиться, потрясенный видом охотника: у человека было неподвижное опаленное лицо и не было ног.

Потом, когда прошли минуты подавленности, я разглядел в человеке юношу. Было что-то трогательно-печальное в выражении чистой половины его лица, в крупном завитке волос, упруго спадавшем на край спокойного лба, в той мягкой задумчивости, с которой смотрели его глаза. Юность проглядывала в нем робко, как молодая трава в сожженном лесу.

Мысли мои путались. Я думал: почему он один? Зачем он здесь, в глуши, где кричи, стреляй — никто не откликнется? Разве можно было поверить, что этот человек охотится?!

Мне казалось, я чувствую, как тяжело и холодно думает о себе юноша. Я даже видел, как будто сквозь туман, его отца, мать, которые почему-то были похожи на моих стариков, видел их отвердевший взгляд, когда в дом вернулся их сын, не работник, не жених, и, как бы ни были святы его раны, — вернулся тайным горем их старым годам.

Я думал об этом, и в голову лез один и тот же назойливый вопрос: зачем сюда, в безлюдье, приплыл искалеченный войной человек? Я не сомневался, что он возвратился с фронта: следы войны тогда были всюду — на земле и на людях...

Человек, занятый своим, казалось, не замечал меня. Он лежал на животе, положив голову на руки. Его сдвинутые красные надбровья выражали напряжение — он думал. Близко перед ним колыхались гибкие языки пламени. Временами горящие сучья встрескивали, и тотчас вместе с дымом уносилась вверх суетливая стайка искр. Яркие и быстрые, они взлетали, и темнота как будто проглатывала их. Человек следил, как неотвратимо гаснут горячие искры.

От напряженного молчания, от зловещего крика откуда-то прилетевшей совы, может быть, от собственных скорбных раздумий, но в моих глазах уже стояла картина холодного утра: безжалостно взвесив то, что осталось ему в жизни, человек протягивает руку к ружью, и выстрел обрывает его тяжелые думы...

— Вы слышите? Как он кричит тоскливо!

Человек ловко пронес короткое тело между рук и сел.

— Минут пятнадцать слушаю этого чирка. Все летает и свистит, свистит... Подругу найти не может.

Руками наломав сучьев, он подложил их в огонь, отряхнул приставшие к курточке хвоинки, нагнулся и вытащил из темноты рюкзак.

— Не мешало бы дровец набрать, — сказал он. — Вы бы посмотрели — тут кругом валежник.

Костер шелкнул, уголек выбросил мне на колено. Я не шевелился. Когда уголек прожег штанину и больно уколол, я встал и ушел в темноту. Нащупав ствол дерева, прислонился к нему и долго стоял, бездумно глядя перед собой. Сквозь ветви спокойно светили звезды, неторопливо шваркали селезни, мелодично посвистывал чирок. Пахло перепревшими листьями, мокрой землей, горьковатым запахом влажной осины. Ночь окружала меня, весенняя, полная жизни, в темноте то близко, то далеко звучали ее тихие отчетливые голоса. Вот и сова крикнула, протяжно и глухо, и крик ее был знакомо прост: как будто дунул кто-то в горлышко бутылки...

Набрав сучьев, я вернулся к костру. Оживившийся охотник деловито чистил картошку, в его руках двигалось и мирно поблескивало лезвие ножа. Рядом на расстеленной газете лежал хлеб, горка соленых огурцов. Все здесь, у огня, было по-домашнему просто и уютно.

Удобно расположившись на земле, мы закусили. Потом, тихо переговариваясь, пили из железных кружек чай. К молодому охотнику нет-нет да и возвращалась задумчивость, он переставал слушать меня и говорить и молча прислушивался к чему-то. Но тревога моя ушла, теперь мне хотелось говорить, вызвать на откровенность моего собеседника, и я начал рассказывать о своих прежних охотах.

Ничто так не сближает людей, как охотничья страсть, ничто так не увлекает, как азартный охотничий рассказ. В моем воображении всплывали картины охотничьих удач, и словами, жестами я старался донести каждую подробность своих воспоминаний.

Молодой охотник внимательно слушал, продолжая неторопливо пить чай. Внезапно он насторожился и жестом прервал меня.

— Послушайте! — сказал он быстро.

Я услышал торопливые взмахи крыльев, скупое побрякивание уточки и торжествующий свист чирка.

Глаза охотника блестели. Улыбаясь, он выразительно глянул на меня.

— Разыскал все-таки, а?..

Торжествующий свист заглох в темноте. Некоторое время юноша сидел молча, потом, не поворачивая головы, сказал:

— Вот вы сейчас про охоту рассказывали и на первом месте у вас — что вы убили. Мне кажется, если вы завтра встретите этого чирка, вы его наверняка убьете...

Я с удивлением смотрел на него.

— Что же тут преступного? — спросил я. — Постановлением разрешено бить селезней-чирков...

Мой собеседник усмехнулся.

— Дело не в постановлении. Вы наблюдательный охотник, вы не могли не заметить, какими постоянными парами держатся чирки. Кряквы — другое дело. Те — настоящие полигамы. Летом кряковый селезень только мешает утке. Их и стреляешь со спокойной совестью. А чирков — нет, не поднимается рука...

Он задумчиво покачал головой. Мне стало неловко.

— Как-то не приходилось размышлять об этом, — признался я.

— Раньше и я не думал о каких-то там чирках, — сказал он тихо.

— Это вот... после войны думы пришли. Теперь не только на охоту, на всё по-другому смотришь.

Он поставил кружку, подложил в костер дров, взгляделся в ночь.

— Сегодня вечером вы должны были видеть, как уходил день. Не знаю, была ли у вас такая мысль, но я думал: этот день не вернется. Я говорю не просто о дне, я говорю о дне жизни...

Он сидел, опираясь рукой о землю. Огонь освещал чистую половину его лица с крупным завитком волос. Голос у него был тихий, говорил он неторопливо. Видно, то, о чем говорил он сейчас, он долго вынашивал в себе.

На охоте, как в вагоне поезда, откровения бывают неожиданными и глубокими.

— Знаете, о чем больше всего я жалею? — спросил он, глядя не на меня, а по-прежнему в огонь костра. — О пустых днях. На войне мы не думали о себе: надо было воевать. Для меня война кончилась неожиданно, и когда она кончилась, мне пришлось задуматься о себе. Тогда я понял, сколько их у меня, пустых дней! Может быть, это было тяжелее, чем эта боль, — он коснулся рукой лица. — Позади — ни одного достойного дела, впереди... — Он нахмурился, помолчал. — Тогда я кое-что понял. Знаете, в дождливую погоду бывает: вырвется из-за туч солнце, лучами насквозь пробьет лес, и неразлично-серое вдруг превратится в сверкающий зеленый мир. Вот так открылось мне, что значит один день жизни...

Он поднял короткий сук, не спеша подгрел развалившийся костер.

— Я много думал об этом, — сказал он тихо. — И теперь знаю: радость прожитого дня — это радость сделанного за этот день. Сказать об этом просто. В жизни все трудно дается. Я ведь на фронт прямо из школы попал, надо было еще доучиться. Стал работать, узнал, сколько труда надо вложить, чтобы радость пришла...

Он вдруг смущенно улыбнулся.

— Я, знаете, преподаю математику в шестом классе. Были у меня два безнадежно отстающих ученика. Сегодня я опрашивал их по всему материалу, серьезно опрашивал. Оба ответили. Ответили хорошо, и не потому, что просто выучили, — заинтересовала, наконец-таки, этих мальчишек математика!..

Спокойная ночь стояла вокруг. Тихо потрескивал костер. Обгоревший сук тяжело рухнул, сноп искр жарко взвился в темноту.

Я помнил неловкое начало нашей встречи и молчал.

...Под утро, едва забелело небо, мой ночной собеседник уплыл на лодке в приготовленный шалаш. Я остался на острове.

Взошло солнце. Все вокруг как будто раздвинулось. У берегов легли тени. Ветер взрыбил открытую водную гладь, вода, играя, заблестела огнями. От переклика птичьих голосов звенел лес.

День поднимался над землей. Это был новый день, очередной день каждой человеческой жизни. И я понимал это.

К шалашу, где сидел юноша, раскинув крылья, спускался селезень. Выстрел глухо пронесся над водой, возбужденно отозвался в лесу. А я стоял на берегу и слушал утро.



Николай Колотилов  
(1919-1967)

## ДАВАЙ ПОТОЛКУЕМ

Давай потолкуем...  
Ты вряд ли сам  
Об этом расскажешь толково.  
В леса,  
    на болота  
Спускался десант  
В окрестностях древнего Пскова.  
Ты прыгнул.  
Толчок.  
Над твоей головой  
Раскинулся шелк парашюта.  
Вздохнул.  
Осмотрелся:  
Как будто живой.  
И в ту  
    вихревую минуту  
Твой друг,  
Твой ровесник,  
Твой близкий земляк  
Летел над тобой, словно камень...  
Ты глянул.  
Ты замер.  
Ты силы напряг.  
Рванулся к нему  
И — руками  
За стропы вцепился.  
Пусть ногти сорвал.  
Пусть кровь из ладоней струилась,  
Ты боли не чувствовал.  
Ты ликовал:  
Все  
Так хорошо получилось —  
Ты спас,  
Ты не выпустил друга из рук.  
...Уже за туманы ушло то  
Суровое время...  
Вдруг  
    видишь: твой друг  
Стал падать в иное болото.  
В пучину, что может навек засосать...  
Его  
    от лихого паденья,  
По правде сказать,  
Ты пытался спасать,  
Но так, без особого рвенья.  
Плечами пожал: виноват, дескать,  
  сам.  
Такому не впрок чувство локтя.  
Не спорим:  
    виновен.  
Но вспомни десант  
И ногти,  
Свои потемневшие ногти.



## Николай Востров

\* \* \*

Памяти отца, инвалида  
Великой Отечественной войны

По улице города четкой походкой  
Идет капитан.  
Пред ним — инвалид в полинялой пилотке,  
Седой ветеран.  
Очистилось небо. Война откатилась,  
Тревогой пыли.  
Остались — увечье, да слабые силы,  
Да стук костыля.  
В глазах инвалида — всегда молодая  
По жизни тоска...  
Рука офицера, устав соблюдая,  
Коснулась виска.

### СЫНУ

Хорошо бы ты не вспомнил,  
Ну, а я-то вспомяну...  
Шел я в светлый мир огромный,  
А наткнулся на войну.

И дорога загудела:  
«Где мои семнадцать лет?»  
Вышла мать, белее мела,  
Целовать сыновний след.

Выпал час, да не короткий.  
У войны железный ход.  
И понес я на пилотке  
Нашу звездочку вперед.

Я понес ее на запад,  
Где в траншеях все луга,  
Под ногой хрустели лапы  
В землю вмятого врага.

Остров Эзель... Там остались  
Танков рваные бока  
И родной уральской стали  
Карабин фронтовика.

И теперь еще не знаю,  
Почему живой стою...  
Видно, дружба фронтовая  
Сберегла меня в бою.

А друзей хороших, скромных  
Сколько пало за войну!  
...Хорошо бы сын не вспомнил,  
Ну, а я-то вспомяну.

Юрий Баранов  
(1922-1942)

\* \* \*

Ой, какие светлые дали,  
Ой, какой голубой разлив!  
Только я сегодня печален  
И поэтому молчалив...  
Скоро мир, что широк и розов,  
Превратится в крошечный ад.  
Скоро крылья чужих бомбовозов  
Голубое небо затмят.  
Где-то первый залп всколыхнется,  
Где-то вспыхнет первый пожар.  
Кто-то первый в землю уткнется,  
Кто-то примет первый удар.  
Позабудьте сказки и были  
И не тешьте себя мечтой, —  
Войны, все, которые были,  
Перед этой будут — ничто.

Будет враг разбит и рассеян,  
Но какой жестокой ценой.  
Долго будет плакать Россия,  
Вспоминая великий бой.  
Сколько нас погибнет в сраженье!..  
А годов через сорок пять  
Наше светлое поколение  
Будут с гордостью вспоминать.  
Но, — прекрасно все понимая,  
Но, — готовый идти на рать,  
В этот солнечный вечер мая  
Я совсем не хочу умирать.  
Вот поэтому я печален,  
Вот поэтому я молчалив.

Ой, какие светлые дали,  
Ой, какой голубой разлив!..

*3 мая 1941 г.*

\* \* \*

Под ногами клонятся травы,  
Мы идем выполнять приказ.  
Ты меня не имеешь права  
Забывать в этот грозный час,  
Потому что здесь пули свищут  
И какая-нибудь из них,  
Может, сердце мое отыщет  
И убьет неоконченный стих.

*1942 г.*

*Галина Милова*  
(1911-1969)

## **ВИОЛОНЧЕЛЬ**

Твой шаг пуглив,  
твой вздох тревожен —  
тебе впервые власть дана.  
Погасли люстры, меркнут логи,  
в огромном зале тишина.

Вот пальцы дрогнули, взлетели:  
со струн рванулись боль и гнев,  
и хлынул к нам  
виолончели  
глубокий бархатный напев.

Гремели звуки, нарастая, —  
мелодия на приступ шла.  
Где эта девочка простая  
такую силу обрела?

Казалось нам: на полустанке  
мы снова слышим зов трубы,  
вновь перед нами рвы, и танки,  
и опаленные дубы.

Мы в бой идем, и юность с нами  
шагает кованой верстой,  
несет простреленное знамя  
над этой девочкой простой.

## **РУБИН**

Ему поклонялись цари.  
Но был неподкупен рубин.  
В нем — пламя свободы  
и пламя зари;  
в нем — горечь осенних рябин.

Мальщ,  
для тебя я легенду творю,  
ее добываю в борьбе.  
Я зори рубина тебе подарю,  
а горечь оставлю себе.

## ПРИКОСНОВЕНИЕ

### 1

— Ты зови меня теткой Леной.  
Так зовут, сколько помню я.  
Чтой-то ноет с утра колено...  
Не видать ли отколь дождя?..  
Загорится лес, закраснится:  
Много ягоды-зеленца!..  
Говоришь, что отец не снится?..  
А мой сын не знает отца.

(Без тропинки иду  
За грузной  
Старой женщиной,  
Меж стволов,  
И светло на душе,  
И грустно  
От ее неторопких слов.)

— Ни грибов я побрать не успела  
И ни ягод, сорви-голова!  
Не пускал муж. Ворчал: «Не дело.  
Надо станцию строить сперва».  
Поднимали ее на Шунге,  
Первой в нашем краю была...  
Вот колено зашибла... На юге  
Врачевали, а боль не прошла.

(Не спеша идет.  
Затрудненно.  
То под ноги глядит,  
То — ввысь...  
Над землею сочнозеленой  
Здесь березы приподнялись.  
Приподнялись на корневищах,  
Как на цыпочках, все стоят,  
Что-то слушают — и не дышат,  
Дотронись рукой — улетят.)

— От войны я живу вдовицей,  
Да с детьми... Сперва вчетвером...  
Вот тебе твой отец не снится, —  
А Петро не знал своего —  
Мальм был. Не осталось снимка.  
Погорельцы мы. Вот беда!..  
А теперь из-за внучки Зинки  
Переехали вот сюда.  
Петр Иваныч-то, сын, — шофером  
На строительстве ГРЭС... Горазд!  
А вот внучке-то бы — в контору,  
А она-то вон — верхолаз!  
Накормлю, провожу на смену —  
Грех сказать: полчаса молось.  
Снова слышу в ушах сирену,  
Снова вижу: с лесов валюсь...

Не стерплю — и приду в бригаду,  
Встану, внучке-то чтоб видней...  
Я ведь знаю, что ей — отрадно,  
Да и мне... как бы то же... с ней.

## 2

А ты и вправду мне не снишься  
На костромской, твоей земле,  
Где очень много обелисков,  
И каждый — памятник тебе.  
Когда смотрю я на мальчишек,  
В пятнадцать лет — озорников,  
Я верю, им уже не слышен  
Высокий клич от берегов  
Невы,  
И Смольного решенье  
Для них всего лишь документ.  
А ты таким ушел в сраженье,  
И не обут, и не одет...  
Когда в лугу пасутся кони —  
Вдруг налетает дробь копыт,  
И вижу:  
Перед эскадроном  
Похожий на тебя летит!  
«Нас водила молодость  
В сабельный поход,  
Нас бросала молодость  
На кронштадтский лед...»  
А ты и вправду мне не снишься  
На костромской, твоей земле,  
Где очень много обелисков,  
И каждый — памятник тебе.

## 3

Мне жаль, но до меня сказали,  
Что Родина — на всех одна,  
И теми, кто рожден из стали,  
Живет и движется страна.  
Прикинула и так и этак —  
Ничем в словах не удивлю  
Страну героев и поэтов,  
Но, как они, ее люблю.  
И, разъезжая по обширной,  
С пропискою то здесь, то там, —  
Ее, единственную в мире,  
Я узнаю по всем чертам.  
Прикинула и так и этак —  
Не больше сделала других,  
Но не унизила при этом  
Имен, как символ, дорогих.  
И с чистой совестью вдыхаю  
Ветра, взрастившие отца,  
И Верхневолжскую окраину  
Носить мне в сердце до конца.  
Ее мне помнить в отдаленье.  
Без корня дерева-то нет...  
Без Родины прикосновенья  
Не жил герой, не жил поэт.

Борис Гусев  
(1930-1996)

## ПРОСЕЛОК

Осень. Вечер и дождь. Незнакомый проселок  
Норовит, как змея, ускользнуть из-под ног.  
Одинок шагаешь путем невеселым  
И вот-вот заскулишь, как заблудший щенок.  
Ни пристать, ни присесть, ни от ветра укрыться.  
Ни сырой папиросы, ни черствого хлеба куска...  
И застонешь, забыв, что тебе далеко уж за тридцать —  
Вот какая охватит тоска.  
Одиночество. Мрачные думы. Все ждетя несчастья —  
Может, дома, на службе иль сразу в стране...  
Ждешь всемирной невзгоды под дождиком частым,  
Сапогами шурша по холодной колючей стерне.  
И откуда-то вдруг сквозь дождинки и слезы  
Брызнет каплею ясной и теплой в лицо...  
Колдовство или сон? Или, может, предсмертная греза?  
И не веришь себе, если даже вступил на крыльцо,  
Что пришел, что проник сквозь вселенскую темень,  
Что остался в потоке всемирном живой,  
Что прияли тебя, городской неврастеник,  
Свет в окне и тесовая крыша над головой.  
И приветят тебя знакомые люди,  
И посадят за стол, и с устатку еще поднесут,  
И затеют с тобой разговоры — они это любят —  
Выходи, не робей, на бесхитростный суд.  
А твоё рассудив, за свои разговоры возьмутся...  
И услышишь ты зов и дыханье земли...  
И поймешь, городской, в деревеньке дремучей  
То, какие невзгоды в тупик завели...

## НИЩИЙ

Я помню нищего. Лохматый и безносый,  
Он по субботам под окном гнусил.  
Холщовой торбе не было износу —  
Он в ней все достояние носил...  
Он уходил. И реял рыжий волос,  
Как пламя, над понурой головой.  
И раздавался снова скорбный голос,  
Как смертный зов над улицей живой.  
И улица живая замирала,  
И детки разбегались кто куда...  
Мы в жизни понимали очень мало —  
Не от него настигла нас беда...

## ПОБЕДИЛ ВОЙНУ

Небольшого роста, худой, плохо выбритый человек, от которого живого слова не услышишь, вызывает чувство брезгливой жалости. Это Сеня Хаустов. Тридцать второго года рождения. Из тех, кто оканчивается всегда на отшибе, в последнем ряду или крайний в очереди. Иногда кто-нибудь по забывчивости обратится к нему, но, припомнив, скажет: «А-а...»

Сеня заика, и в этом все дело. Есть у него жена, почтальонка Галя, так вот она сочинила историю: будто Сеню в сорок втором угнали в Германию и там... А что там? Как подопытного кролика использовали? Галька настаивает именно на этом: как подопытного. Но с Сеней все случилось раньше, по пути в Германию.

Поселковые мальчишки и девчонки, которыми был набит вагон, очухавшись, разоружили конвоира, его же винтовкой проломили дырку в полу... Именно тут пощем затемнение, которое нашло на Сеню: мелькают шпалы, упасть надо коровьим ошметком, иначе обрежет колесами руки-ноги или вагонная ось подровняет затылок. Совершил-таки невозможное в свои десять лет Сеня Хаустов — прыгнул, но дорого ему этот прыжок обошелся.

Сейчас Сене к сорока пяти, и он давно уже ничего не пугается. Но если возбужден, то вращает белками и по-прежнему мычит: «М-м-м...» Галька каждый раз подталкивает его, мол, переходи на знаки, но Сеня дает резкую отмашку: «Нет». Сказать ему хочется многое. Хотя бы и своей Гальке. Та не рожает, но кивает на Сеню, дескать, что взять с такого мужика? Это когда она на почте раздергивает газеты с товарками, и Сеня не слышит. А Сене хотелось бы детей, это видно по тому, как он смотрит на них. Но не судьба...

Поселок делится на две половины: одна напоминает городской микрорайон, другая — село с вытянувшимися по правому берегу реки деревянными домами. В одном из таких домов и живет Сеня Хаустов. Дом старый, довоенный, чудом сохранившийся.

Забрался как-то Сеня на крышу прикрутить разболтанный шест телевизионной антенны, и вздумалось ему посмотреть на то место, где он две минуты назад кормил кур. Его там не было. Куры все так же кланялись лоснящимися шеями земле, кошка свешивалась с забора, а где он? Вот же только что стоял, и уже не посмотришь — как! Ведь стоял же? Так почему нельзя посмотреть на того, себя, стоявшего? Сеня всхлипнул от неожиданного открытия, и блестящие, как два угля, глаза его разгорелись. Он забыл, зачем сидит на теплом ребре крыши.

Такие вещи приходили ему в голову и раньше. Всякий раз вспоминалась тихая, сухонькая бабка, когда он видел дымящуюся на столе картошку. И вот нельзя было взять эту картошку — рассыпчатую,

ароматную — бабке в сорок первый год. Промыгнуть мимо толсто-задного немецкого денщика и... Глядишь, осталась бы жива старуха. Теперь он точно знал, что бабка спасла его от голодной смерти, и ему все время хотелось накормить ее.

Или вот такое как обдумать: земля носит человека и без его ведома старит. Он только хлопает глазами, а поделать ничего не может. Давно ли Сеня подобрал котенка возле кочегарки, и он прыгал на плечо от его еле слышимого «ксс», а сейчас тюфяком — она — на заборе. Выходит, все живые на земле пойманы, хотя кажется, что они свободны и могут ехать, куда вздумается. А куда? Это «а куда» смешит Сеню больше всего. Он видит, в поселке покупают машины и разьежают в них, перевязанные ремнями, словно фельдмаршалы. Но от самого себя разве уедешь?

Даже самый умный в поселке врач Аникин и тот не знает, откуда взялось безостановочное движение шарика? А тут еще полеты космонавтов... Они растревожили Сенину фантазию, и однажды ему приснилась планета с обратным, что ли, движением: там люди, наоборот, молодели. Прилетали стариками, а улетали мальчиками, чтоб на Земле вновь состариться. Сеня даже опоздал тогда на смену, что с ним редко случалось.

В кочегарке при поселковой больнице Сеня работает много лет. Народ на этой работе не держится из-за ее сезонности, но Сеня прикипел, не уходит. В сменщиках у него вышедший на пенсию слесарь Ваганов и один из запивших футболистов (кажись, Веня), от которого ушла жена.

Ваганов дает пар больше умом, чем руками, а Веня — ломовик, на лопату налегает. Смены вообще-то проходят спокойно, за исключением открытия футбольного сезона, когда Вениамин напрочь исчезает. Старика Ваганова не трогают, остается Хаустов... В такие дни к Сениному дому подкатывает машина с красным крестом, выходит сам главврач Аникин и просит Сеню заступить на смену. Пока Сеня напяливает сапоги, Галька налетает на Аникина, кричит ему про сверхурочные и профсоюз — она порядки знает. У главврача на этот счет заготовлено «Галина Викторовна» и «Товарища Хаустова мы поощрим», от которых Галька стихает. Никто с ней не обращается так вежливо, как Аникин, и кричит она больше для того, чтобы услышать, как ее имя-отчество произносят. На почте — Галька да Галька, а тут, пожалуйста, Викторовна. Сеня не любит ночные смены, но, увидев бьющийся в топке огонь, успокаивается. Огонь ему по душе, с огнем у него связаны видения, которые всякий раз посещают его.

В огне Сеня летает. Забудется и летит. Над домами, речкой, огородами. Это у него навязчивое. Пересилить тот давний страх хочется. Радостно замрет сердчишко, екнет, зайдет что-то мучительно-сладкое в груди, и вот он уже парит над землей, как птица. Но вдруг спохватится, что он не птица, а всего лишь человек, и тогда его неудержимо потянет вниз, в черную бездну. Сеня помогает себе руками. Машет-машет ими, пока не очнется. А очнется, переживает свой полет заново и опять летит, теперь уже наяву. Проступают очер-



тания странного, похожего на треугольного змея, аппарата, и Сеня — под этим аппаратом, ухватившись за холодные поручни, ощущает ужас происходящего: он, да, в полете!

И вот однажды...

Однажды главврачу Аникину удалось выменять старое зубо-врачебное кресло на тонкие дюралевые трубки. Он их не считал: посмотрел — много, в бумажном мешке — и преспокойно запер кладовку. Трубки нужны были ему для парника на огороде. В кладовке хранилось еще сто метров импортной водонепроницаемой ткани яркого желтого цвета под названием «стилон», для чего — неизвестно. И вот все это пропало. Только бутылка со спиртом не взяли.

— Государственное имущество! — пилил Аникин короткой ручкой участкового Харитона, вызванного для расследования. Харитон, тридцатилетний сержант-верзила, слушал, наморщив лоб. Он привык иметь дело с шоферами и сейчас больше доверял отполированному до блеска полосатому милицейскому жезлу, чем Аникину; хлопал им по голенищу, поправлял фуражку, прикрывал зевки.

«Завхоз не мог, потому что на бюллетене», — выходил из себя главный. Он, разумеется, тоже не мог, дежурная сестра проработала двадцать пять лет... Остаются эти пройдохи кочегары: кладовка рядом с кочегаркой.

— Не показатель. Не оправдывает, — скептически отозвался Харитон, осматривая кладовку. — Где вы, к примеру, были вчера в двадцать ноль-ноль?

— Чево? — опешил Аникин.

— А все-таки?

— Над диссертацией работал.

— Кто подтвердит?

— Жена; она читала в соседней комнате.

— Не показатель. Вы могли спуститься и взять. Ключ только у вас, а окон в кладовке нет.

Аникин, удивленный тем, что Харитон рассуждает, качнулся коротким туловищем. «Черт с тобой, разбирайся сам!» Сержант усмехнулся и направился в кочегарку.

«Наверно, Венька загнал и пропил», — размышлял Харитон, чавкая по грязи. Участковый представил тонкие, отдающие холодным блеском дюралевые трубки и облизнул сухие губы: отличный стеллаж для книг, а из этого «стилона» — палаточка, лучше не придумаешь. И зачем они больнице?

На смене был Хаустов. Сержант поморщился, увидев смятую Сенину фигурку, и присел на выкрашенный в красную краску ящик с песком. Закурил. В кочегарке было тепло, пахло углем и нагретым железом. Сержант распахнул шинель. «Что, Хаустов?» — закричал он. Подбородок у Сени дрогнул, а глаза виновато забегали. «М-м-м», — замычал Сеня, показывая рукой в сторону больницы, но Харитон досадливо отмахнулся: «Работай уж». Он посидел с четверть часа, наблюдая за тем, как Сеня возится у топки, хотел сунуть окурок под крышку ящика, но, приученный к порядку (противопожар-

ное имущество!), забрал окурок с собой. В ящике, стояло только поднять крышку, лежал и мешок с дюралевыми трубками, и рулон «стилона», прямо сверху, как нарисованные.

— М-м-м? — замычал Аникин, изображая Сеню.

— Сам ищи, — огрызнулся Харитон.

— «Не показатель», — передразнил Аникин.

Сержант прошел мимо с независимым видом, жонглируя регулировочной палкой, взревел желтым мотоциклом и помчался к старуку Ваганову, чтобы от него уже к Вене (в таком порядке они живут). «Вряд ли Хаустов мог взять, — запальчиво рассуждал он, обдуваемый весенним ветерком, — Ваганов, кажется, — тоже, но Венька у меня не отвертится, я ему покажу, где раки зимуют». Он представил, как хватает Веньку с поличным и везет к Аникину: получай и заткнись. Харитон слов на ветер не бросает.

«А все же зачем главврачу эти трубки? — тоскливо думал по дороге Харитон. — Если врач, так лечи, а то одно барахло на уме. Вылечил бы лучше Сеньку Хаустова, чем заикой его представлять. На месте Сени я бы все у него переворочал», — мелькнула у Харитона веселенькая злая мысль.

Участковый повидал и Веню, и старика Ваганова, но вернулся ни с чем. Ваганов: «Мне пенсии хватает, а работаю я, чтоб старуха дома не пилила»; Веню защитила жена: «Бутыль со спиртом цела — значит, не он». Составили акт, и Харитон не без ехидства заметил главному, что не пропало ничего медицинского, а взяли черт знает что, словно конфисковали. Аникин не расслышал или сделал вид... На том и кончилось.

Подоспел июнь, кочегаров, как обычно, уволили до сентября и о пропже забыли. Меж тем с Сеней Хаустовым творились странные вещи. Однажды Аникин, возвращаясь с дежурства, был поражен видом огромной, пролетевшей над ним «странной» птицы. Санитарный рафик неторопливо плыл по ночному поселку, Аникин дремал у боковой двери, как вдруг зловещая тень кинжалом скользнула по капоту и скрылась в картофельной ботве. «Ы-ы!» — вцепился Аникин в шофера, но тот пожал плечами. Аникин не мог ошибиться: гигантская птица, оттолкнувшись от Сениной крыши, пересекла дорогу и улетела в огороды. Аникин, выйдя из машины, поозирался, но больше чем на три шага от раскрытой дверцы отойти не рискнул.

Еще раньше Галька заметила, как Сеня запускал большого трехугольного змея. Змей тянул в высоту, а Сеня проверял тягу, подвывая к бечевке различной тяжести камни. Галька жаловалась на работе, что Сеня не пускает ее в баньку; запретя, как сын, и целыми днями визжит напильником. «Напильником ли? — смеялись почтальоны. — Смотри, проморгаешь мужика». Галька не знала, на что и подумать. Отбился Сеня от рук, хотя и грядки политы, и картофель окупен.

Одно из июльских воскресений поселок готовился прожить как обычно: женщины — за морошкой, ребятига — купаться на реку, а мужчины — к стадиону, где разминались перед игрой футболисты.

Никто не обратил внимания на проشمыгнувшего во двор строящегося дома шуплого человечка с длинным предметом в чехле. Каждый был занят своим в этой нескончаемой жизни.

И вдруг не то вопль, не то возглас повис в воздухе: кто-то первым увидел ослепительно-желтый треугольник в голубом небе и сжавшийся черный комок под ним. Дельтаплан, теряя высоту, проплыл над бегающими футболистами, над белыми пятнами загорающих у реки и готов был врезаться в перепаханное на противоположном берегу поле, но попал в восходящий воздушный поток и набрал высоту. Его отнесло к старому кирпичному заводу, где он стал снижаться сначала плавно, потом резко, а тут и футбольное поле рядом. Уже можно было различить человека, лежащего животом на перекладине, и игроки вместе с болельщиками побежали к дальним воротам, но дельтаплан накренился, скользнул вдоль берега навстречу спасительному восходящему потоку и вновь был поднят им.

Стало ясно, что прилетевший — человек опытный, он умеет управлять аппаратом и быстро не сдастся, в смысле — скоро не сядет. Горохом высыпали жители на шоссе; шофер пригородного автобуса из-за скопления народа принужден был остановиться. Серебристо-желтый треугольник с черной прилепившейся «мухой» под ним на этот раз поднялся высоко.

В поселке прошел ропот. Закрытые домами люди по выкрикам, бегом почувствовали неладное. Аникин, собиравший клубнику на грядке, поспешил в больницу.

Через несколько минут санитарный рафик, завывая, мчался к скопившемуся на шоссе народу. Туда же подъехал с болтающимся на правой руке полосатым регулировочным жезлом Харитон.

Главврач и участковый, переглянувшись, уставились в небо. Вокруг разглагольствовали о том, что пассажир маленький, а змей большой, потому и не падает. Разочарованный Аникин готов был уехать, но внезапная догадка осенила его.

— Заика! Больше некому! — протиснулся он к Харитону.

Харитон с улыбкой на лице таращился в небо.

— Заики не кричат, а он... Послушай.

Сверху неслись радостные вопли.

— Составляй акт, сержант.

— Разве что на войну, — ответил Харитон, поправляя жезлом фуражку. — Спишем подчистую.

— Не понял: какую войну?

— Ту, что Сенька победил; на это бумаги не жалко.

— Кричи, Хауст, кричи, — поддержали наконец узнавшие Сеню мужики, — накопил, поди, за сорок лет голоса!



Василий Старостин  
(1910-1995)

### Из сказки «Летучий корабль»

Вновь летит корабль чудесный  
В высоте поднебесной.  
Слепухов между дел  
Отставного солдата  
В темном лесе углядел.  
Был солдат  
Глуховат,  
Староват,  
Слабоват  
Да угрюм, словно леший;  
Впрочем, всех тем потешил,  
Что в лесах не нашел,  
После поисков упорных,  
Ни в равнинных, ни в горных,  
Ни в сосновых,  
Ни в еловых,  
Ни среди степных дубров  
Не нашел охапки... дров.

А еще солдат суровым  
Удивил таким вот словом:  
«Тридцать лет я воевал,  
Кровь свою проливал.  
И людей, живых и стройных,  
Я немало в разных войнах  
Саблей острою посек,  
Как деревья дровосек.  
Но без силы  
До могилы  
Доживаю нынче хилый.

Вдруг однажды во сне  
Поприснилось, братцы, мне:  
В мире лес  
Где-то есть,  
Не простой, а заветный.  
В том лесу неприметно,  
Как солдаты на посту,  
Три лесинины растут.

Не осины,  
Три лесины,  
Три березоньки стройны  
Супротив растут войны.  
Если их срубить на дровца,  
То пойдут они бороться,  
На войну воевать  
Вместо нас, живых солдат!  
На войне —  
Известно мне —  
Человек что полено:  
До боев его пилят,  
Дальше в бой идти велят,  
Там его и жгут, и рубят,  
И лихою смертью губят.

На убой —  
На смертный бой —  
Почему ж бы не поленья  
Посылать на убиенья?»

Удивил летный стан  
Ратоборников Иван.  
«На такой великий розыск  
Всем станом,  
Братцы, встанем,  
А найдем три березы!»  
Полетели. Поискали.  
И, конечно, в дальней дали  
Все, что надо, отыскали:  
Три березоньки в ряд,  
Три красавицы стоят.

Самопильная пила  
Тут же пущена была.  
С тонким гудом, звонким свистом  
Дело сделалось чисто.  
Против ратных всех угроз  
Вот готов дровишек воз!



**«...И ЖИЗНЬ,  
И СЛЕЗЫ,  
И ЛЮБОВЬ»**



**«Изощренная безделка»  
или «высшее цветение человека в мире»?  
(О поэзии)**

Вон каким тяжким, воистину океанским, вздохом окатил тебя очередной русский день!.. И ты слышишь, как новый вал всего тягостно-тревожного, всего опасного, таящего в себе дыхание погибели, вспучивается, вздымается во мглистых глубинах дня грядущего... Ворочаются, ни на миг не успокаиваются под штормовыми ветрами века сего пучинные, океанические силы твоей великой страны, твоего Отечества... И слышно лишь о новых и новых штормовых предупреждениях...

Чем может жить, прежде всего, в таких напряженно-грозных днях русская поэзия, всегда дышавшая единым дыханием со всей Россией, всегда чутко отзывавшаяся на все тревоги и смятения ее, на все опасные для нее вызовы в ре м е н и? Ответ легко обнаружим в книгах любого великого или просто значительного, крупного русского поэта. Ответ очевиден. А уж в наших-то днях, когда со всех сторон накатывают на тебя грозные гулы и ревы Апокалипсиса, сам вопрос этот оказывается почти чисто риторическим. Однако посмотришь «окрест себя» и странную узришь картину: многие литераторы (особенно из числящих себя «по поэтическому цеху») с очевидностью сей находятся в весьма прохладных и далеких отношениях. Вроде бы ничего особенного и не происходит в данных им днях. Можно пописать о том, о сем, можно жить плетением словесных кружев, соприкасаясь с суровой явью лишь на уровне нынешних с л е н г о в и ф е н ь, на уровне современного «образного ряда», современной символики, так сказать, в остальном исповедуя полную непричастность к современности подлинной, перенаполненной мотивами воистину трагическими. Есть, есть в кругу таких стихотворцев как бы некий сговор — относиться ко всему в этом мире не с полной серьезностью, чуть ли не с обязательной иронией, с таким авгуровским подмигиванием друг другу. У них свои меры и законы, которые они хотели бы превратить в меры и законы абсолютные.

Вот предо мной книжечка стихов, вышедшая в Костроме в позапрошлом году. В кратком авторском слове к ней читаю: «Поэзия — изощренная безделка, придуманная человеком в диком приступе инфантилизма и эгоизма». Какое самообнажение и как все, оказывается, просто!.. А я-то полагал, что поэзия, рядом с молитвой, есть искание и нахождение высшей жизни, доступной тут, на земле, человеку, что она — отнюдь не «придумана человеком», но дарована ему Самим Богом, Который Сам есть Величайший Поэт — Творец Вселенной, этой грандиознейшей поэмы. Святитель Григорий Богослов

именно так определил окружающий его мир — как «дивную великую книгу Божию». Напомню: греческое слово «Пиитес» (Поэт) и означает «Творец», «Создатель». Эти высокие наименования часто заменяют православному человеку слово Бог. Так вот: поэзия, по высшей сути своей, есть велич, данный Богом-Поэтом человеку-поэту — к прочтению этой великой книги, этой Божественной поэмы.

Наш современник Архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) пишет в своем небольшом слове «О поэзии»: «Поэт «милостью Божией» имеет власть превращать воду человеческих слов в вино, а это вино обращать в кровь Слова. Таково высшее назначение поэзии, ее смысл е в х а р и с т и ч е с к и й. Поэзия есть возвращение человека к началу вещей». Далее у него же читаем: «Проза говорит о б ы т и и . Поэзия есть это б ы т и е, открывающееся человеку, когда человек скитается вдали от истины, мир становится для него запяленным и пы л е о б р а з н ы м . Мир человека надо непрестанно п р о в е т р и в а т ь , иначе в нем можно задохнуться. В нем задыхаются люди. Доставлять чистый воздух горнего мира человеку дано молитве. И молитва поручает поэзии быть ее помощницей».

Вот как высоко и точно определены в этих словах суть и смысл, поэзии подлинной. Такая поэзия никогда не переступит предела, положенного пред нею Богом, предела, за которым начинается область гордыни, где все червато проявлением индивидуализма, эгоизма и своеволия. Подлинная поэзия по всей своей глубинной сути является х р и с т и а н с к о й . Она исполнена трепета и тихости, дабы улавливать сокровеннейшее и тончайшее в «дивной великой книге Божией», она живет глубоким состраданием и сочувствием человеку, она радуется всякой душе человеческой, обретшей путь спасения, и плачет о погибающих вне этого пути. Ее невозможно было «придумать» ни в каком «приступе». Придумывают, выдумывают что-либо искусственное, недолгожизненное, не имеющее в себе силы для самостояния. Поэзия изначально была с человеком. В Раю дано было Адаму разумение — нарекать именами все, сотворенное Богом. Он был с о т в о р ц о м Самого Бога в этом великом даре н а р е ч е н и й, ибо в даре этом было дано ему глубокое разумение з а м ы с л а Б о ж и я о всякой твари, т.е. он свободно читал «дивную великую книгу Божию», в чем мы и видим изначальную суть поэзии, суть не преходящую.

Когда художник не знает Бога, он, по сути, играет «в искусство», считая себя абсолютно свободным в этой опасной игре, и тогда начинаются откровенно-формальные, поверхностные отношения с миром, тогда на первое место неизбежно выходят самость, своеволие, тогда ему кажется все вполне пригодным для того, чтобы быть «предметом творческих исканий», материалом для с а м о в ы р а ж е н и я . Живем во днях, в которых столько всего наговаривается, набалтывается, выкрикивается... Эпатажное, откровенно-циничное, не брезгающее и грязным словом, неприкрыто-кощунственное, нарочито-дурашливое — все это сегодня в нашей х у д о ж е с т в е н н о й л и т е р а т у р е имеет весьма широкое применение. И за всем этим — странная, глухая отстраненность от тревог, тягот, скорбей, переживаемых народом... И отстраненность эту, оказывается, вполне можно оправдать. Автор упомянутой, хотя и не названной мною, книжечки, в том же предисловии к ней пишет: «Даже хороший поэт, берущий на себя роль общественного переустроителя и бичевателя дурных нравов, моментально перестает быть хорошим». Какая удивительно простая

метода отыскана для определения «хороших» и «нехороших» поэтов! Вот написал, к примеру, А.С.Пушкин стихотворение-отповедь «Клеветникам России» и... моментально перестал быть х о р о ш и м... А уж что говорить об А.К.Толстом, о Н.А.Некрасове — поэтах, не стеснявшихся слыть «бичевателями»?!. Эти-то по данному признаку и вовсе не достойны именоваться поэтами...

«Потому-то и велики святые, что научились духовной мудрости от опыта и боли сердечной», — пишет в одном из писем иеромонах Анатолий, широкопочитаемый среди русских православных людей старец Оптиной пустыни... Вот ведь какая истина открывается в этих словах: духовной-то мудрости научаются «от опыта и боли сердечной»! А если есть это в человеке, в полной совокупности, так сказать, то неужели же он «под спудом» обязан оставить все это, как бы п р о с а м о г о с е б я , п р о с в о ю ч е с т ь ?.. Воистину мудро только любящее сердце, имеющее опыт б о л и. Но сердце такое обязательно попытается помочь. Все и здесь определяется религиозной этикой, нравственным законом, от чего поэзия никак не может быть свободной. Все решается на уровне сердца; на другом уровне, о чем и как ни пиши, — все будет «изошренная безделка».

«Русская поэзия, — пишет Архиепископ Иоанн (Шаховской), — еще не нашла своего высшего выражения. В ней недостаточно «различения духов». Поэты еще хранят с райским духом и преисподний, забавляются им». И добавляет: «Не любят Бога по одной причине: Его не знают». Так это важно понимать, что человек — посредник между его миром и другой силой. Еще более важно понимать — какой силой: Богом или Его противником. От нас зависит: какое посредничество мы будем исполнять, а стало быть, и то, в какое состояние придет этот мир — эта великая поэма Бога. Многие литераторы сегодня находятся на распутье в своем духовном, а значит, — и творческом выборе. Многие даже и этого распутья еще не достигли, оставаясь на прежних кривопутьях, даже и не догадываясь о том, что, не зная Бога, оказываются всего лишь «слепыми поводьями слепых». Критика наша об этом г л а в н о м, все определяющем выборе пока еще не сказала своего веского слова, видимо, не накопив для такого разговора достаточного опыта и знаний. Есть пишущее духовенство, среди которого сегодня отыщутся и профессиональные писатели. Эту роль они должны взять на себя. Есть профессиональные авторитетные писатели, давно и крепко утвердившиеся в православии. Несомненно, и они могут сказать свое слово, которое поможет их собратьям сделать верный духовный выбор и утвердиться в нем. Писателю, как никому другому, пожалуй, необходимо знать, помнит слова Спасителя: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда» (Матф.12,36). Если поэзия для тебя, называющего себя поэтом, — «изошренная безделка», то занят ты празднословием, за которое надо будет держать «ответ в день суда».

Архиепископ Иоанн в своем слове, на которое я уже несколько раз ссылался, определяет поэзию так: «она есть высшее цветение человека в мире». Таковой она была изначально.

Священник, член СП России  
В.Шапошников.



## Священник Вячеслав Шапошников

### ВИДЕНЬЕ-СОН

И видел поле я в глухой ночи,  
святое поле — без конца и края,  
где каждый колос огоньком свечи  
мерцал и трепетал, не угасая.

И голос был, спокойный, как восход  
над этим морем трепетного света:  
«Вот так пускай восстанет твой народ —  
во исполнение Моего Завета!..»

\* \* \*

Ты — русопят. Тебе дана  
душа — судьбы первооснова.  
С кого еще-то столь сурово  
ответа требует она?!.  
Иным забыть о ней — с полгоря,  
а вот забыть попробуй ты...  
Она воздыбится, что море,  
среди полночной черноты  
и сбросит все, что ты над нею  
нагромоздил забвенья для,  
и уподобится молению  
вся жизнь воскресшая твоя.

### НА ИСХОДЕ ВЕКА

Оторвусь от листа под ночное  
забытье и вгляжусь в черноту.  
Но не взглядом в окно дождевое —  
вопрошающей думой вראсту.

Есть еще там — во мраке — Россия?..  
Или в этой ночи горевой  
от нее уцелело лишь имя,  
как единственный оклик живой?..

И в змеящейся, угольно-черной  
пустоте, где лишь капель пролет,  
в пустоте ледяной, безопорной,  
растворился мой русский народ?..

Лишь один я остался?.. Последний?..  
Дождь? Иль — в плаче безудержном вись?..  
Ну-ну-ну! Что за странные бредни?!  
Крестным знаменьем осенись!

## ВТРОЕМ...

Вдруг породнился с местом ты печальным,  
где жизни еле держится тепло,  
на малый срок, и то — почти случайно,  
как говорится, в е т р о м з а н е с л о ...

Тяжелым, стылым словом з а п у с т е н ь е  
пронзил тебя осенний вечер вдруг.  
И сам ты — что пустынное растение,  
одно из шелестящих тут — вокруг...

И кто-то, зоркий, ходит за тобой,  
поглядывая на тебя с укором.  
И под тревожным неотступным взором  
свидетеля сего ты — сам не свой.

Сопровождает, холодком дыша...  
И понялось: погубленного края  
к тебе прибилась скорбная душа,  
в своем сиротстве горьком ледяная.

Взошел на холм ты. За тобой — она,  
и, как поземка, шепчет: «Виждь и внемли!..»  
И в горести за плечи вдруг объемлет.  
И третьей тут — с в я т а я т и ш и н а ...

## В ЗАЛУЖЬЕ

Сторона глухая, свежая  
(тут неволью усмехнусь:  
потому что не-про-ез-жая?).  
В общем — глубьевая Русь.  
Старичонко — при завалинке.  
Старушонка — при окне.  
Запинаясь, некто пьяненький  
шестьует, как бы во сне...  
Жизнь... Она тут обезглавлена.  
Ребятишек не слышать.  
Крепкая на всем поставлена  
умирания печать.  
В полдне чудится смеркание,  
предночное забытье...  
Жизни, жизни убывание,  
иссякание ее...  
Вон — церквушечка со школою.  
Глухи двери там и там.  
Что ж ты, школа, невеселая?!  
Что ж ты скорбен, Божий храм?!  
Соблазненная химерою,  
обезумев от ума,  
поборолась школа с верою:  
на лопатках — жизнь сама...

## В АЛТАРЕ, ПЕРЕД РАССВЕТОМ

### 1

В зимней утренней церковке — тишина.  
В алтаре — только я да святой покой.  
В окнах — отсветы (нет, не заря видна:  
семисвещник затеплен моей рукой).

В алых отсветах жертвенник и престол.  
Тени зыбкие молятся по углам.  
Светлый Ангел-хранитель мой, ты привел  
из студеной-то тьмы меня в теплый храм.

Рождество с Воскресением здесь со мной,  
Благовещенье кроткое и Покров...  
Тут, к чему ни притронусь в тиши рукой, —  
ощущаю: коснулся седых веков...

Будто все это было всегда при мне.  
Будто я не блуждал в ледяной ночи.  
Вон — в окошке — звезда, словно в полынье  
(ох, во темной, ночной!) — огоньком свечи.

Слышу — шепчет ее кроткий чистый свет:  
«Не погибла ты, Русь, не пропала, м а т ь!..»  
Вот и мне Господь дал на склоне лет  
стать священником, да — иереем стать...

Ох, в родстве-то каком мы с тобой, мой храм!  
Изувечил он нас — отошедший век...  
Ох, досталось-то в нем от безбожья нам!..  
Оба выбрались мы из толпы калек...

### 2

Тишиною какой ты сегодня тих...  
Может, вспомнились д н и о к а я н н ы е?..  
Проходил я в тех д н я х мимо стен твоих,  
слышал визги да выкрики пьяные...

Был «общагой» ты, храм, «коммуналкой» был,  
обезглавленный, ох, обесславленный...  
Над тобой кружил рой бесовских сил.  
Ох, народец тут жил, о х, о т ь я в л е н н ы й!..

Позади у нас путь — вся душа в снегу...  
Плен буранного там бездорожия...  
Просветленье одним объяснить могу:  
милость Божия тут, воля Божия!

Даден ныне Руси на прозренье срок.  
Но и тьма — то бесовская — вся при ней...  
Сколько гибнет блуждающих без дорог,  
сколько вьюгой залеплено там очей!..

Что ты вздрогнул вдруг, храм? Не беда пришла,  
не вернулось то наше страдание —  
дверь морозная крепко хрястнула:  
прихожане то, храм, наши ранние.

И они все, родной, и они — как мы:  
все — из той же зимы, где пургою — грех,  
все, как есть, ох, из той же лихой зимы...  
Помоги, Господь, — отогреть их всех!..

## МОЙ 65-Й НОЯБРЬ

День в паутинистом весь серебре!  
«Сумерки года»?.. Иль что-то я путаю?..  
Больно светлы нынче дни в ноябре!  
Не на свет ли бы зимушку лютую...

В небе давно — ни «курлы», ни «кли-кли».  
Ясно-спокойное бездны зияние.  
Время прощания голой земли  
с радостной высью — с лазурью-сиянием...

Так же вот, так же вот обнажена,  
солнышку робко душа улыбается.  
Бедная, бедная: ей еще блазнится,  
будто на празднике света она...

## МЕЧТА-НАДЕЖДА

Проснуться на заре и вдруг понять,  
что больше нет вокруг беды и боли,  
что распростерла крылья благодать  
на вольной воле.

С ликующим и плачущим лицом  
метнуться за порог: «Очнитесь, люди!..»  
И мир, еще объятый мертвым сном,  
мой крик разбудит.

И вдруг о том, что мы — в родном краю,  
не на чужбине, каждый русич вспомнит.  
И вольный легкий воздух грудь мою  
впервой наполнит.

И сердцу так отрадно будет знать,  
что вновь родные светят нам святыни,  
что Родина — не мачеха, но мать  
для нас отныне...

## КОРЕНЬ ЛЮБВИ

День своего крещения я хорошо помню. Память отчетливо сохранила его с мельчайшими подробностями. И чем дальше годы отделяют меня от этого события, тем чаще я возвращаюсь туда, в свое детство. Порой восстанавливается забытый эпизод, как звено из разорванной цепи. И я с радостью вставляю его на место. Почему-то чаще вспоминается тот далекий день в церкви. Хотя крестили меня не в ней.

— Доживем до лета и в дорогу, — мечтала бабушка. — Путь не близкий, но и тянуть больше нельзя. А была бы не нарушена наша церковь, все было бы сделано вовремя. На некрещеного человека, как на придорожную траву, вся нечисть липнет. Потому что Богом не защищен.

Мне нравились бабушкины разговоры о Боге. Сказки ее я уже выучила наизусть. Я росла, а репертуар бабушки был все тот же. И он мне стал неинтересен, а вот рассказы о Боге всегда были разными. Особенно таинственными и загадочными они казались вечерами, когда мы забирались с бабушкой на печь сумерничать. Это когда день завершен, дела все управлены, а время зажигать лампу еще не настало. В доме темнота. Только белеют окна, да потрескивает фитилек лампы, освещая в красном углу лики святых. Уютно и тепло лежать рядом с бабушкой. Если она станет рассказывать что-то страшное, то страх быстро проходит, стоит только посылней прижаться к бабушкиному боку.

— Ну что, цыпушка, испугалась? Не бойся.

И переводила разговор на что-то другое.

— Мать-то хоть когда крестится? — интересуется бабушка.

— Мама молится немного, а долго ей некогда, — защищала я вечно занятую мать.

— Да, матери твоей нелегко: ребята, дом, мужик-инвалид и колхозная ляпка. Мы от Бога отстали, и он нас забыл, — вздыхала бабушка.

...Но не получилось у нас паломничества. Зимой бабушку помял бык. Ушиб сильно, да еще вдобавок наступил на ногу. Нога долго болела. И ходить бабушка стала с палкой.

Без «батого», так называла бабушка палку, она не могла ступить и шагу.

— Так, видно, и не побывать во храме. И ты живешь без божьего благословения. У батки твоего лошадь в руках — мог бы свозить. Сам себе голова. Председатель — куда уехал, никому и дела нет.

Потом бабушка поняла, что в церковь нам одним не добраться и на чью-то помощь не стоит рассчитывать. Повела меня в соседнюю деревню Петухи. Прошел слух, что там появилась монашка. Собрались мы рано утром. Я такая нарядная. В новом платье, где на поле белом васильки цветут. А в волосы бабушка вплела ленту. В ней она шла под венец. Бабушка и сама принарядилась. И мы тронулись в путь.

Помню, светило солнце. Цвели цветы, трещали кузнечики. Стрекали в траве, пересекая тропинку, мелкие лягушата. Они так занимали

мое внимание, что я не раз уже прыгала за ними. Но, вспомнив о своем наряде и боясь испачкать новое платье, снова чинно направлялась вслед за бабушкой. Она шла медленно. Часто останавливалась, опираясь на палку. Отдыхала. А я, как юла, вертелась около нее.

В перелесках на нас накидывались пауты, словно ждали нашего появления.

— Сотворил же Господь такую гнусную тварь. Никому житья не дают, — возмущалась бабушка.

Но напрасно мы проделали не очень легкое путешествие. Монашка пришла в свою деревню, чувствуя свой конец. Она лежала на кровати, а около нее сидели старухи-товарки.

— Года, как вода, пройдут — не увидишь, — сокрушались подруги. — Своя сторонushка к себе позвала.

Всю обратную дорогу бабушка молчала. В деревне она свернула не к своему дому, а к тетке Дарье.

— Крести, Дарья, внучку. Вся надежда на тебя. Вот крещенская вода. Наталья принесла. Сама отойдет, сердечная, скоро.

— Полно, Агрепина. Зачем я буду брать грех на душу?!

— А тебе греха не будет, вот если не окрестишь, вере корень подорвешь. Господь не Мекеша, может и потешить, — строго сказала бабушка.

— Да нет у меня прав на это, — отказывалась Дарья.

— Коли власть дуроломничает: церкви нарушила, так и нам тоже самое творить? Детей и внуков от веры отучать? Вот это — грех. А я прошу благое сотворить. И ты обязана сделать, — твердо убеждала бабушка.

Я очень боялась, что тетка Дарья откажет. И я не смогу носить крестик. А он такой красивый и блестящий. Бабушка снова спрячет его в сундук.

Но опасения оказались напрасными. Тетка Дарья сдалась.

— Зови Марию. Будет внучке твоей крестной матерью, да и молитвы читать мастерица.

Может, дорога меня утомила, а может, время стерло, но ритуал крещения запомнился смутно. А вот бабушкино пение поразило крепко.

— Алилуя, алилуя, — пела она высоким чистым голосом, а глаза светились радостно. Она вся сияла, стала такой молодой и красивой!

— ...Крестится раба Божия... — строго читала тетка Дарья из толстой книги, и я зажмурилась — больше не смела любоваться бабушкой. Меня забил озноб, и я поняла тогда важность происходящего.

В тот же день мы отправились с бабушкой собирать целебные травы.

— Просто так ничего не живет и не растет на белом свете, — поучала меня бабушка.

Мне нравилось бегать по цветущему лугу. Бабушка показывала нужную траву, я ее то рвала, то выдирала с корнем. И вот, видимо, на место вырванного растения заронился корень любви к этой земле. И тянет, и зовет она к себе. Корень любви вырастает в землю на родине по особым таинственным законам веры, надежды, любви. Повинуюсь этим законам и молюсь...

\* \* \*

Люблю помолчать под звездами ночью  
И о земле люблю подумать.  
Люблю, когда филин дико хохочет —  
Зловещий, таинственный и угрюмый.

Во тьме он зряч, а я и при свете  
Слишком мало еще разглядела.  
Люблю холодный российский ветер,  
Когда он горячее студит тело.

Люблю осеннее бездорожье  
И бессонниц черную мету  
Под глазами.  
И — до дрожи —  
Соленую горькую землю эту.

\* \* \*

О, вещая душа моя!

Ф.Тютчев

Стряхнуть с души удушье и испуг,  
Прислушаться к небесному звучанью,  
Услышать и узнать, прозревши вдруг,  
И ветра вздох, и голос мирозданья.  
Очнуться, как от обморока.

Вновь

Прильнуть к ручью, от жажды умирая,  
Услышать, как бушует в венах кровь  
И как душа от горя польхает.  
Россия! Имя горькое твое,  
Твое святое имя я услышу  
И выбегу на колкое жнивье —  
Под дождь, под снег из-под уютной крыши.  
Здесь Русью веет с четырех сторон,  
Здесь жаворонок в небе пропадает,  
Здесь русской крови в венах вещей звон  
Сквозь душу русской песней прорастает.

\* \* \*

Очистится душа от суеты.  
Желанный миг милее дней лукавых.  
Душа чиста, и помыслы чисты,  
И не томит тщеславия отрава.

И можно просто веровать и ждать  
Стихов, любви, улыбок щедрых лета,  
И на любовь — любовью отвечать,  
И на приветы — отвечать приветом.

Как ясен мир в любви и доброте,  
Когда душа прозрела и созрела!  
Пусть даже так — распятой на кресте,  
Но ввысь она летит голубкой белой.

\* \* \*

Шагну из автобуса в слякоть и в грязь.  
Привычно, о чем разговор!..  
Какая бы нами ни правила власть,  
Закон здесь лишь водка да вор.

В грязи увязая, до тропки дойду,  
Тропинка та к дому ведет.  
С собой не всегда мы бываем в ладу,  
Но дом от себя нас спасет.

Когда из души рвется детский вопрос  
Что делать и кто виноват, -  
Под благовест тихий российских берез  
Забудусь, как вечность назад...







*Юрий Кузнецов*

## **ОТЕЦ В СОРОК ЧЕТВЕРТОМ**

Не сняв ремней, он спит на нарах твердых,  
На кулаке, что вмят в глубокий сон.  
Играет славу год сорок четвертый,  
Раздавливая клавиши погон.

Из пустоты бежит прожектор криво  
И вырывает наугад года.  
Я снюсь отцу за два часа до взрыва,  
Что встанет между нами навсегда.

От той взрывной волны, летящей круто,  
Мать вздрогнет в тишине еще не раз.  
Вот он встает,  
идет,

еще минута —  
Начнется безотцовщина сейчас!

Начнется жизнь насмешливая, злая,  
Та жизнь, что не похожа на мечту...  
Не раз, не раз о помощи взывая,  
Огромную услышу пустоту.

*Анатолий Передреев*

## **Я УЧИЛСЯ ПИСАТЬ**

В.Астафьеву

Я учился писать...  
Мимо школы — колонны, колонны  
Кольхались рекой  
И впадали в невидимый фронт...  
Я учился писать  
Не спеша, с нажимом, с наклоном.  
И скрипело стальное  
Защитного цвета перо.  
Я учился писать...  
Лихорадочно били зенитки,  
У войны отвоевывая  
Островки тишины,  
И таскал я в карманах  
Тяжелые рваные слитки,  
Как горячие метеориты войны.  
Я учился писать...  
Где-то плавилась танки,  
Где-то люди кричали,  
Умирая в огне и в дыму...  
Я учился писать  
Изложения о Каштанке,  
Я учился страдать  
Над судьбою Герасима и Муму.  
Я учился писать,  
И хрустящие хлебные карточки  
От себя отрывала  
По клеточке  
Мать,  
Чтоб меня не тошнило,  
Чтоб меня не шатало за партою...  
Я учился писать!..



«ВОТ ПОЭТОМУ Я ПЕЧАЛЕН...»

Документальный триптих

1. ВОЗВРАЩАЙСЯ СКОРЕЙ

Помню недоступный детскому пониманию день всеобщей небывалой тревоги. Под грозовой устрашающе низкой тучей разгоряченный белогривый конь спасительно скакал ржаным полем к деревне — домой! Нам было не тесно в одном седле, ты прижимал меня к груди левой рукой, а правой высоко держал поводья. Вихрились березовые перелески, косо падали под них сбитые с полета птицы. Весь посевной хлебный простор то белесо застывал на мгновение, то вновь порывисто волнился. Вихревыми столбами поднималась над дорогой пыль. Сзывая людей, словно на пожар, кто-то барабанил возле бригадного дома. Конь скакал во весь дух, но ты все равно подгонял: «А ну, вперед, вперед! Никто за нас, только мы сами! Никто, только мы, братишка...» Теперь я знаю, в каком смятении была твоя душа, Сережа, о чем ты думал тогда.

Мы с тобой, когда страшно, когда твои ровесники забывают о тех, кто уже не придет никогда, не встанет на защиту, не устыдит. Ты возвращаешься, когда трудно в полосе одичания, нельзя рассчитывать на порядочность, когда проповедуются подозрительность и насилие. Молчание твое, даже молчание возвращает чувство чести и достоинство. Молчать — верить самому себе и любить. В основе всех добрых, справедливых дел и поступков лежит любовь. Правда, никто за нас, только мы сами. Мне помогают твои слова. В минуты молчания для других разговариваю с тобой, и ты понимаешь меня. Мы с тобой...

Душа вздрогнула и оглянулась... Сережа, старший брат... Все известно. И место рождения. И год призыва. Мать многие знают и отца. Сестер и братьев. А он, Сережа наш, без вести пропавший. Писали, искали. Никакого ответа. Где захоронен? «Скажите, дяденька начальник...»

Гулко и грозно проползла над жестяной крышей низкая свинцовая туча. Кабинетный сумрак постепенно расслоился, тягучим табачным дымом поплыл в окно, застрял меж близких ветвей черемухи и, прошитый сеяньем зачистного дождика, превратился в клочья тумана. Человек в новенькой военной форме положил «беломорину» на край стеклянной граненой пепельницы, поскрипывая хромовыми сапогами и портупеей, вышел из-за массивного двухтумбового стола, чтобы искусственно смягченным, сочувствующим голосом повторить сказанное минуту назад:

— Все проходит... Понимаю, памяти не прикажешь. Много пережито, в документах мало значится. Да, был, призывался. Но архив районный сгорел, область раньше другая была — Горьковская. Запращивали: ни в живых, ни в мертвых не обнаружен. Как теперь без вести пропавшего искать? Под Москвой-то тяжело складывалось... Разве это горе только твое, малец? Разве только ты брата своего не можешь найти? Сколько их без вести полегло, потеряно — не учтем... Другой человек, с восковато блестящим лицом, старается утешить.

Мы рядом стоим у распахнутого окна, видим памятную дорогу из-за реки к приземистому, несуществующему уже, военкомату. Она не такая горная, как прежде, на другом берегу едва проглядывает тропиночкой узкой. И тропа эта скоро исчезнет: вместо тридцати девяти тысяч жителей в предвоенные годы теперь в районе всего-то около семи тысяч. Исчезает тропа, в нежилых деревнях потерялась.

Расстаемся до встречи в надежде: может быть, кто-нибудь знает, видел, помнит моего брата в том огненном подмосковном году.

Когда я очутился за рекой — оглянулся: мой ровесник все стоял на берегу, будто ждал, что оглянусь и посочувствую ему. Отца и старшего брата все еще ждет он с войны... Он понимал меня — и короткий взмах руки его многое мне сказал...

Неспешным шагом миновал я четыре растерзанные отчуждением и беспамятством деревни, а перед следующей настигла лохматая, взбудораженная гряда облаков, ведущая за собой повторную устрашающую непогоду.

Облака нависали, ослабляя свет. Постоянно казалось: кто-то цепко следит за мной, будто бы читает мои мысли, предугадывает каждое мое движение. Страшно было оглянуться, но и впереди подозрительно качались, потрескивали кусты, взметывались напуганные птицы, тенью прошмыгнул какой-то страшный зверь. Даже в детстве не приходилось так настораживаться на привычной тропе. Не робость охватывала меня, не страх за собственную жизнь колотил в виски, а нечто большее, всеохватное властвовало надо всем вокруг и надо мной... Но ударил по вершинам берез тугой ветер, облаком вскружил желтую листву, раскачнул нависающие над тропой мрачные лохмотья высоченных елей — сразу стало свободнее, светлее. И деревня родная увиделась на взгорье. Жилая, давняя. Голосистая хромочка вывела песню за околицу, будто старший брат играл... А ноги не слушаются — не могу на взгорок взойти.

Вижу себя маленьким, будто бы стою на широкой скамейке под зеркалом. В избе, вдруг ставшей холодной и тесной, полно взволнованных, но странно молчаливых людей. Незнакомые, да добрые вроде бы. Все они из разных деревень, через наше Тюково шли, зачем-то в нашем доме собрались. И под окнами — люди. Ждут... Кто-то сказал: «Собирайся, Сергей, пора», словно на работу позвал. А Сережа и заторопился.

Вот он прощается. Таким я его никогда не видел: голова наголо стрижена, на щеках блестят дорожки от слез. «До свиданья, бра-

тишка, — говорит он. — Ты только не реви, не надо. Не надо реветь, ты — мужчина». О, сколько раз потом без него приходилось утешаться такими словами, когда обидчики давили несправедливостью, ложью, подтасованными подозрениями, когда невинного обвиняли, над безотцовщиной и бедностью издеваясь.

Женщины просят Сергея поиграть на прощание. Он берет нашу родную гармонь с красными мехами, с белыми и черными кнопочками с одной стороны, с желтыми да красными пуговками — с другой. Ремешок — на плечо. Разошлись, раскраснелись меха, кое-где по ним беленькие цветочки. Играй, хромочка, прощального, играй последний раз. Печально получается, до слез печально.

Брат глядит на меня, будто завидует, что я дома с мамой остаюсь. Он и на маму прощально взглянул. «Ой, Сереженька! Ой, сыночек! Вслед за отцом уходишь...» — заголосила мама.

Хромочку с плеча опустил, пискнула она растяжисто... Сережа маму приобнял и успокаивает какими-то ласковыми словами. Что он шепчет — не понять и не догадаться: не бывало у нас такого прощания. С братьями и сестрами стал прощаться. А потом снова про меня вспомнил, берет на руки и шепчет:

— Не скучай без меня, братик. Как доеду, письмо пришлю с рисунками. И стихи напишу новые. И ты мне пиши, хоть по буквое утром и вечером — вот и получится хорошее письмо. Осенью, как только снег выпадет, я и приду. Во-о-он оттуда, как раз из этого окна дорогу видать...

— И папа с тобой придет?

— И папа. Ты в окошечко гляди. — Он поставил меня на скамейку возле того окна и «луночку» на запотелости протер, чтобы лучше было видно. — Я сейчас во-о-он туда пойду. Ты гляди, я тебе от березы рукой помашу. Ладно? А на улицу не бегай. Только не плачь, не расстраивай маму...

Дождь ли хлещет, вьюга ли гуляет, туман ли утренний приподымается — всегда, если даль в нашем поле непроглядна, кажется мне, будто бы Сережа в зеленой тужурке напористо идет обратно против жестокого ветра, домой идет... Сколько раз, обманутый видением, выбегал я в поле встречать, стоял в холодном напряженном одиночестве часами и ждал, порываясь навстречу при всяком ветровом шевелении кустов вдали... Иногда приходила почталыонка. Оттуда приходила. Но не было писем, долго не было первого письма. А потом такое было (теперь думаю, как же надсмотрщики его пропустили, этот «треугольничек?»): «Дорогие мои родные... Теперь я совсем другой. После лагерей нас погнали на передовую, а ветром шатает. Со мной друг из Васяялова, Николаем его звать. Помнишь, мама, он в Преображенскую у нас ночевал. Все бы ничего, да есть хочется по ночам. Сейчас бы загорелую корочку после Миши...».

Мало было писем. Да и те пожаром отняло. Осталось свидетельство о рождении да маленькая фотокарточка. Старший брат. Молодой, красивый, бравый. Веселый, улыбчивый взгляд. Скрученная челка достает до левой брови. Широко разложен воротник белой рубашки.

Значки с цепочками — на пиджаке. Листочек бумаги в нагрудном кармане полосочкой белеет, и карандашик торчит. Наверно, красный карандашик. Сережа любил красный цвет, флаги да землянику рисовал. Учительница рассказывала: «Все давалось ему. Способный... А сочинять начнет — любо послушать. И поет. И спляшет. И сыграет хоть что, быстро на слух брал».

Каждое лето хожу той тропой от одной несуществующей деревни до другой в сторону райцентра, где не сохранился старый военкомат. И слышится мне в порывах сочувствующего ветра голос хромочки, на которой Сережа играл. Где она, хромочка с красными мехами? Кто на ней играет? Знаю, Сережину хромку мама тайком от нас променяла в сорок седьмом на три буханки городского манящего хлеба да на фунт сахара, похожего на синий вешний лед.

Был Сережа. Кто-то видел его там, на передовой. Кто скажет, что видел его, восемнадцатилетнего связиста...

Часто оглядывается душа на тропинки детства. А память выводит брата зримо в мой самый родной дом, которого давно уже нет. Мы встречаемся там и, все понимая, глядим друг другу в глаза. Мы знаем, кого винить, но не сгорела в нас терпеливая способность прощать. Помнить, понимать и, стиснув зубы, скрывая слезы, прощать!

Се-ре-жа! Тебе еще все восемнадцать... Что ждало тебя в этой жизни? Какие были бы у тебя сыновья, внуки и правнуки? Друг твой тоже не вернулся оттуда... И ровесники почти все не вернулись. Жизнь горька. Правят ею оставшиеся, непризванные или уцелевшие. Или дети уцелевших. Безотцовщина, сам знаешь, чем красна... Все еще надеюсь на чудо, дорогой мой... Спешные военкоматовские записи по каким-то причинам проскочили тебя. Обещано в дополнительном томе обозначить отдельной строкой. Может быть, кто-нибудь что-нибудь знает. Родителей наших давно уже нет. Мама до последнего часа ждала тебя. Много раз по ночам слышал, как она причитала:

— Сережа, сыночек. Кровиночка моя. Отписали про тебя: без вести пропал... Как же так, без вести, раз в убитых не нашли? Может, жив ты, Сереженька, только лиходеи далеко запрятали. У Марьи Витюшка тоже долго пропадад, да вдруг отыскался, пришел, только изломатый весь. Ох, сыночек, сыночек...

Как в детстве, закрываю глаза плотно сжатыми ладонями, чтобы не разреветься...

---

Все еще повторяет, повторяет душа через невзгоды и расстояния:  
— Возвращайся скорей, возвращайся скорей, Сережа. Очень трудно в этом мире без тебя, мой старший брат.

## 2. СИВЕРКО

Деревни давно уже нет, только высокий пенёк сломленной в бурю березы напоминает, где стоял родительский дом...

Трактор перепахал еще одно одворье, закрыл его влажными пластами тяжелой земли. Вывернулась на поверхность обшарпанная коричневая досочка. Может быть, она была от того кухонного поставца, на верхней полке которого мама прятала зеленые лепешки из липовых листьев и клеверных головок, чтобы дети не растаскали «безо времени», а только вечером разделили поровну и съели, запивая синим обратом. Отчетливо привиделись на высоком поставце деревянные ложки, глиняная кринка с молоком. И кухонное окно обогрилось отсветами пламени, играющего в печи. А мама возвращалась домой, спешила, чтобы варить еду на большую семью. Перед самым крыльцом бригадир охрипшим голосом предупредил, что правление накажет за самовольную кошенину осоки в дальнем углу выгона, и за то, что ночью по заморозку привезли траву на корове Комолене, и за то, что раньше колхозной выкопали картошку на своем огороде.

...Туман закладывался над белесой травой вокруг перелесков. Не в низинах и оврагах, как обычно, а на взгорке в первую очередь. И от этого казалось, что деревья подпрыгнули, оторвались от земли, как будто застыли в воздухе.

Такие вечера приходили, когда устанешь от летних забот, когда заметишь, что теплые дни промелькнули. С полей прибрано; скотина нагулялась, начала привыкать ко двору; свезены под навес и в сарай плуги, бороны, сеялки, жатки, замолчала на току барабанная молотилка; близкий лес просветлел; речка — словно стекло меж приливанных берегов. Возле родного дома еще много дел, с утра до вечера всем работы хватает, но дети все-таки иногда отлынивали, вроде бы случайно это получалось — так много вокруг интересного. А мама всегда в хлопотах. Вот опять дотемна просидит на крыльце, связывая в большие пучки-гроздьи крупный оранжевый лук. Возле ног в старых подшитых валенках — ворох обрезков и шелухи. Рядом, на ступеньке, — жгуток свежего мочала, серп, воткнутый в березовый краж. Этим серпом отрезает она луковые перья и мочальные слоинки, чтобы связать пучки. А Митя стоит в отдалении посреди улицы: и деревню видно, и маму на крыльце. Только что она рассказывала, как и откуда прилетает предзимняя птица Сиверко. Рассказала и снова поет по-своему медленно и печально: «Синенький скромный платочек...» Теперь понятно: она так вспоминала мужа... Когда он был на войне, дети часто слышали эту песню. В этот раз на всю песню у мамы не хватило сил, она тяжело вздохнула: «Видно, Сиверко летит. Это уже пятый».

Мите хочется увидеть сказочную птицу, потому и всматривается в густеющие над лесом сумерки. Напористо потянул ветер. Слышится шорох перьев в огромных размахнутых крыльях. Жутковатый холод

наполняет грудь, и Митя готов крикнуть: «Мама! Правда, летит Сиверко! Быстро летит!» Но что-то удерживает его, в нерешительности он стоит с приоткрытым ртом.

«Скучно без отца», — думает мальчик и вспоминает...

Зима была холодная-прехолодная. Отец в ту зиму работал на лесозаготовках, приезжал домой по субботам. Подарки, гостинцы привозил. Ждали его, зная, что никакая непогода не задержит. Мама топила баню и в доме наводила порядок.

Отец приезжал поздно, и мама мыла детей одна, Митю, самого терпеливого, — в последнюю очередь. И все приговаривала: «Заявится отец — не узнает, какой большой ты стал». Надела на него свежую полотняную рубаху, сказав, что в эту рубашечку отец, когда был маленький, только по большим праздникам наряжался. Полотенцем с вышитыми разноцветными петухами голову закутала, ноги в отцовские шерстяные носки спрятала и завернула сына в тулуп с огромным лохматым воротником. Вынесла в предбанник. Промерзшие скрипучие санки на снег выставила, подложила на них солому. Усадила разомлевшего мальчика.

«Не замерзнешь?»

Нехотя ответил: «Не замерз-ну-уу».

«Поехали».

Скрипел снег под полозьями. Превращался этот скрип в музыку. Словно бы отцовская гармонь играла.

Через щелку в гнездо луна взглядывала. Она даже дразнила, раздувая свои круглые щеки.

Он не обиделся, попросил луну: «Свети, свети ярче, чтобы папе светлее было по лесу ехать».

Звезды на снегу перемигивались. Он правую руку высвободил, стал ловить звезды, но поймал только несколько снежинок, которые тут же исчезли, пробежали сквозь пальцы, а руке от них сделалось тепло.

Мама торопилась по узенькой тропке и, не поворачиваясь, без конца предупреждала: «Не вылезай, смотри».

Когда отец неожиданно преградил ей дорогу, она весело рассмеялась, — и смех ее показался похожим на блеск снежинок, а лицо — на луну.

Отец поднял сына и понес прямо на санках в натопленную избу, освещенную десятилинейной лампой с новым стеклом.

Он положил сына осторожно в постель, потрогал пятки, — может, пощекотал шаловливо. Правда, щекотно было — Митя с трудом удержался от смеха и ждал, что папа еще раз прикоснется к его ногам. Он был уверен: открыв глаза, увидит стоящего рядом отца, большого, доброго, сильного, с пышными усами, подкрученными кверху.

Отец, конечно, поверил, что сын заснул; приложив палец к губам, предупредил маму: «Тише. Он уже спит».

Продолжение той музыки, которую Митя слышал по дороге из бани, не давало ему заснуть.



Родители долго просидели рядышком за столом, тихо разговаривая между собой.

Митя спал и не спал. Спать-то хотелось, но все думал, что они вот-вот вместе подойдут к кровати, чтобы смотреть на него и о чем-нибудь хорошем говорить.

«Расти быстрее, сынок», — мечтательно скажет отец.

«В отца весь, — скажет мама. — А характером терпеливый — в мать. Вот увидишь».

---

Поздним вечером вместо крыльев таинственной птицы нависли над лесом тяжелые набрякшие облака, вместо шороха слышались отчетливые шаги, хотя они были легки и осторожны. Мальчик скоро познал: зима не прилетает, она подкрадывается. Она подкралась насовсем.

И что же, он больше не верит в сказочных птиц из-за синь-морей? Разве его уже не радует приближение долгой холодной зимы с бодрящими морозами, закаляющими ветрами? Неужели не радует? А тот давний искристый снег, а та давняя музыка из-под легоньких санок? Повторилось бы снова — для сыновей, внуков и правнуков...

### 3. «БУДУТ С ГОРДОСТЬЮ ВСПОМИНАТЬ...»

Студенты ярославского педагогического института ехали на практику по геологии. Пароход с названием «Рабочий» под вымпелом канала «Москва-Волга» доставил их к месту назначения на восходе — «солнце вставало где-то за городом». Бувелянин Юрий Баранов записал в дневнике: «И над домами поднимался дым, было прохладно, стучали колеса машины, мерно плескалась вода. На солнце светились главы костромских церквей. Вот я увидел устье нашей любимой Костромки, Ипатьевский монастырь, потянулись белые дома Костромы, полого сбегаящие к реке... Город мне показался каким-то близким, почти знакомым...»

Вот она — Кострома, город, связанный с именем Лоры.

Добрый день, Кострома. Наконец я с тобою знаком.

Девушка из Буя — «самая обыкновенная девочка, всегда наигранная, с поверхностной (по книгам и фильмам) заграничностью. Но весьма неглупая» — войдет в его дневники, письма, стихи надолго. Войдет в его жизнь и станет любимой. Валерия Лебедева... Он ушел с этой любовью учиться, работать на литейном заводе, воевать под Калинином и Тулой, командиром взвода — в бой под Новгородом...

Было много писем одноклассникам и одноклассницам, друзьям, дневниковые записи с 1936 по 1942 год. Дневник начинался в

школьные годы, в заветной тетради записаны стихи, поэмы, отрывки прозы. Название одной поэмы соединяет начальные сочетания букв фамилии и имени кареглазой одноклассницы Нины Григорьевой — «ГРИНИ»...

Нина Николаевна Корнева (Григорьева) сообщала по просьбе Евгения Федоровича Старшинова, бережно и с любовью собиравшего эпистолярные материалы для книги-возвращения:

— 1939. Обычный учебный год. Школа, уроки, изредка — кино. Зимой после уроков или в выходной — катание на лыжах. Юра все свое свободное время отдавал шахматам, много читал. Он уже не принимал участия в ребячьих забавах и проделках... На экзамены за десятый класс часто ходили вдвоем — Юра, Вера Весновская и я, мы были в одной подгруппе. У меня есть фотография — перед экзаменами по русскому языку. После выпускного вечера разошлись около 6 часов утра. Шли по набережной реки Костромы с шутками и песнями. Днем ходили за документами в школу, и очень не хотелось расставаться. Дурачились. Бегали друг за другом. Потом пошли играть в волейбол. Это был последний день, когда мы были все вместе. А потом как-то получилось, что каждый пошел своим путем: надо было готовиться к экзаменам в институт.

Дыхание жизни из тех предвоенных лет чувствительно трогает читающего книгу «Голубой разлив». Вышла она только в 1988 году. Помнится наша общая радость, вызванная таким редким изданием. Кроме всего самого важного, эта книга свидетельствует о нашем сочувствии, о нашей печали и боли утрат.

Герой этой книги был мало кому известен, имя его появлялось на страницах ярославских предвоенных газет. Стихи, письма, дневники сохранили родные и друзья Юрия Баранова. Участник войны костромской писатель Евгений Старшинов близко к сердцу принял судьбу талантливого ясномыслящего мальчика. Перед войной — так случилось по каким-то высшим закономерностям — в литературном альманахе были напечатаны рядом стихи Ю.Баранова и Е.Старшинова. Вернувшийся с войны поэт и писатель, автор многих книг и романа «Левый фланг» считал своим долгом вернуть не пришедшего с войны к нам, чтобы он помогал оценивать происходящее, остро чувствовать историческую правду. Сегодня, завтра, всегда. Автор предисловия Игорь Дедков в свойственной ему пронизательности писал, что здравый, непричастный к политической казуистике ум провинциального мальчишки точно фиксирует нелепость больших и малых событий сталинской эпохи. «Эта книга доказывает: наш был мальчик и даже больше наш, чем, скажем, те, кто допрашивал и убил его отца или отца его школьного друга... Если, разумеется, под нашим понимать не личную рабскую преданность вождю, а верность революции, ее незамутненному октябрьскому свету, ее нравственным идеалам. Понимаю, что мальчик посредством таких именно слов не думал, — написал критик. — Понимаю, что эта книга ничего никому доказывать не должна. Она должна явить образ мальчика, потом юноши, и ничего более».

Но обыкновенный мальчик, юноша не имел никаких иллюзий по поводу собственного будущего, он чувствовал: война близка. Он догадывался, что победа достанется большой кровью. Он жил в серьезной увлеченности интересами общества, знал самое важное. Удивляет его собранность, устремленность, желание жить серьезно и правильно. Проявлена энергия юной жизни, способная преодолеть хмурое, суровое, страшное.

...Открытка, извещающая о том, что он стал лейтенантом, — последняя весточка Юрия Федоровича Баранова, ушедшего после училища на фронт. В день гибели был в разведке под Новгородом. Талантливый мальчик, шагнувший в Великую Отечественную. Поэт и солдат. Теперь мы знаем и помним его, чувствуем характер, предполагаем творческую судьбу. И заносим на счет добрых дел писательской организации память о непришедших мальчиках, память о тех, кто не вернулся, но до сих пор в наших рядах. Для меня эта судьба имеет особое звучание еще и потому, что в ней немало сходства с судьбой моего старшего брата Сергея, который по каким-то каверзным обстоятельствам даже не попал в изданную «Книгу Памяти» (долгие годы он значился по спискам без вести пропавшим).

Они не пришли... Но память о них жива. Горькие строки Бориса Слуцкого мы еще не раз повторим: «Писатели вышли в писатели, а ты никуда не вышел... ты просто пророс травой». Не только памяти Михаила Кульчицкого были посвящены эти строки. Целому поколению...

Вновь и вновь смотрим на эту судьбу. На эту юность.

Школьная жизнь не заслонила огромного мира. В буйской деревне на берегу Костромки Юра устраивал с мальчишками фантастические путешествия, живописуя подвиги своих героев. Фантазия его не знала границ: работал над поэмой о конголезце, воображал себя сподвижником отважного Кука, под влиянием событий в Испании «проигрывал» поэму «Месть Хасимо», пересказывал накануне написанное о героических полетах советских летчиков, о поджоге рейхстага. Не признавался и самым близким друзьям в том, что потрясенный семейным несчастьем записал в дневнике: «Папу арестовали по обвинению в самом страшном — во вредительстве».

Интенсивные школьные годы были омрачены ожиданием суда над отцом. Тот суд состоялся. В октябре четыре дня шло судебное разбирательство по законам 1937 года. Отца приговорили к расстрелу. «Мама уехала в Москву, подала телеграфное ходатайство во ВЦИК и Верховный суд. Дело может поправить только постановление правительства об увеличении возможного срока заключения для вредителей до 25 лет, — так записывал мальчик на пятнадцатом году жизни. — Как тяжело это писать, — пометил он. — Постараюсь забыть хотя бы на время». Не по этой ли причине он прервал дневниковые записи? Но возможно ли такое забыть когда-нибудь?.. И все же он сказал в дневнике: много событий произошло за это время. Самое главное то, что лишился своего друга. «Утром приехал грузовик, и всю их семью выслали неизвестно куда».

В такие годы формировалось мировоззрение ученика средней школы. Подозрительность окружающих была чувствительна, но не перечеркивала юношеских устремлений. Футбол, шахматы, литература, рыбалка. Мечтания. Дружба. Интерес к мировым политическим событиям. Перепись малограмотного населения за Вексой, гулянья «с девочками на улице». Фантазерские игры. И вдруг опять запись: «Недавно от папы пришло письмо. ВЦИК заменил расстрел 25-ю годами лишения свободы. (Как это хорошо!)». А чуть ниже — другая печаль: «Отца В.Ш. уже расстреляли. Жаль В.Ш.». Были и такие записи: «Школьный турнир по шахматам окончился. Мне — первый приз... Хороший парень был Чернышевский. Он и стихи писал. Я написал оду ему в подражание. Думаю, что неплохо («Несутся на запад монгольские орды»)». Вчерашний вечер был вечером воспоминаний. Написал много стихов. Подражаю Надсону... Писал письменную по литературе «Чем ценен и дорог мне Некрасов?». Я вообще Некрасова не очень люблю (я так и написал), но стихи его уважаю».

После десятилетки Юра поступал в МИФЛИ, а потом был доволен, что не попал в этот «гордый» институт. И утешал себя: «Педагог важнее, чем инженер, к примеру». Он был доволен учебой в Ярославском педагогическом на географическом факультете. Как тут не вспомнить его романтические увлечения, поэмы о путешественниках.

31 декабря тридцать девятого года познакомился с Марком Лисянским. Тогда ходил в редакцию газеты «Северный рабочий» к литконсультанту Сергееву, который хотел опубликовать стихи. Лисянский подарил Юре книгу «Наши люди» с надписью: «Юрию Баранову от одного из авторов этого плохонького сборника. М.Лисянский». А рукопись посмотрел — «и разнес до буквы». «Я прочитал «Прощание со школой», — это ему понравилось». Ярославцы приняли в литобъединение. На первой встрече он читал:

Приятную тяжесть рыбацкой котомки  
Я испытал на плечах.  
Много бродил берегами Костромки  
С удочками в руках.  
Многих ручьев проследил движенье  
И каждый измерил плес.  
Знаю закатов и зорь значенье,  
Приметы ветров и гроз.  
Знаю немало лесных дорожек,  
И деревень, и сел.  
В семье рыбаков у речных сторожек  
Я лучших друзей нашел.

Юрий Баранов начинал студенческую жизнь как поэт и романтик. Неустрашимый арктический путешественник Нансен был для него примером. Юра чувствовал, что будет война. Но и в тот день он готовился к экзамену по геологии...

С печалью вслед за Евгением Старшиновым проглядываю эту интересно начатую жизнь. Наперекор трагическим обстоятельствам будущее представлялось юноше завораживающе прекрасным. И каж-

дый день наполнялся любовью к родине, уважением к друзьям, большой литературой, о которой мечталось. Постепенно приближался к ней и своим сочинительством. В праздничные майские дни сорок первого явилось у него пророческое стихотворение «Голубой разлив».

Сколько нас погибнет в сраженьи!..

А годов через сорок пять

Наше светлое поколенья

Будут с гордостью вспоминать.

Но, — прекрасно все понимая,

Но, — готовый идти на рать,

В этот солнечный вечер мая

Я совсем не хочу умирать.

Вот поэтому я печален,

Вот поэтому я молчалив.

.....  
Ой, какие светлые дали,  
Ой, какой голубой разлив!

Начинался интересный поэт. Мне кажется еще, что начинался в то же время интересный прозаик, способный на лирическое и эпическое повествование. Чувствуется, угадывается это в письмах и дневниках.

Юрий Баранов, талантливый и юный, смотрит на нас — военная фотография надолго сохранила его облик. Серьезное и твердое лицо. В этом лице, по замечанию известного критика, спрятано горе, но есть и ясное предчувствие будущего, и все-таки надежда на жизнь, несбывшаяся надежда. Нам кажется, «что это лицо собранного, целеустремленного человека. Он старший в разрушенной семье, и ему не на кого было рассчитывать. Он жил серьезно и правильно, он хотел и дальше жить серьезно и правильно, а это в иные времена — героическое стремление» (И.Дедков).

Вчитываемся в единственную книгу Юрия Баранова «Голубой разлив», в которой старанием фронтовика Евгения Старшинова собраны свидетельства жизни буйского — нашего мальчика. И снова думаем о тех, кто не вернулся с войны, давно «пророс травой»... Моя дума об этих ясномыслящих мальчиках: жаль, что они не дожили до наших дней, может быть, при них, при участии таких ясномыслящих и честных людей, наши судьбы сложились бы иначе...



## Владимир Костров

\* \* \*

Мы — последние этого века.  
Мы великой надеждой больны.  
Мы — подснежники.  
Мы из-под снега,  
Сумасшедшего снега войны.

Доверяя словам и молитвам  
И не требуя блага взамен,  
Мы по битвам прошли,  
Как по бритвам,  
Так, что ноги в рубцах до колен.

И в конце прохрипим не проклятья —  
О любви разговор поведем.  
Мы последние века.  
Мы братья  
По ладони, пробитой гвоздем.

Время быстро течет по маршруту,  
Бьют часы, отбивая года.  
И встречаемся мы на минуту,  
А прощаемся вот навсегда.

Так обнимемся.  
Путь наш недолог  
На виду у судьбы и страны.  
Мы — подснежники,  
Мы из-под елок,  
Мы — последняя нежность войны.

\* \* \*

В лютый год  
страна с врагами билась,  
крохами с детишками делясь.  
Меж людей тогда установилась  
доброты отзывчивая связь.  
Кровный сын  
Отчизны этой милой,  
я хочу,  
чтобы она цвела,  
лишь бы сытость нас не разделила,  
обеспеченность не развела.  
Да минуют беды и печали  
каждый колосок родной земли,  
лишь бы в счастье мы не растеряли  
то, что в горьком горе обрели.

## ТРУБА

Из архива писателя

В 1946 году зарбарак областной больницы города Саратова располагался неподалеку от берега Волги в какой-то длинной одноэтажной кирпичной постройке, побеленной снаружи известью. По всем приметам, до революции здесь были купеческие рыбные ряды, а также склады под разнообразные товары, которые доставлялись сюда на баржах как с низовья, так и от истоков великой реки. Дырявые перевернутые лодки, ржавые якоря, разбитая тара, разошедшиеся бочки, тросы, какой-то скарб и разное корявое железо были видны из окна, к которому подходили ставшие на ноги и каким-то чудом выжившие тифозные больные. Прозрачно-бледные, как замогильные тени, они появлялись в длинном коридоре и тихо бродили мимо белых платных дверей. Из этих дверей каждое утро, ровно в восемь, выносили покойников, чаще покойниц.

Большую смертность женщин доктор объяснял тем, что они откашиваются от уколов — противотифозных, весьма болезненных, прививок. Иные визжат, ругаются и не подпускают к себе. «И вот, пожалуйста, — сетовал доктор, — те, что по мобилизации, еще выживают. Там с ними не миндальничают. Не сделаешь прививку — статья, саботаж. А вольные — те, что с фабрик, из деревень, из пригорода, — все не привиты и, как правило, мрут».

Противотифозный укол не давал полной гарантии от заражения, но больной переносил тиф легче и, повалявшись месяц-другой, все-таки выживал.

К тем немногим «колотым» — так называли привитых — принадлежал и я. Противотифозную прививку мне делали два года тому назад при первой учебной мобилизации, — иммунитет ослабевал, и, вероятно, потому я заболел, но сознания почти не терял, а если и терял, то скорее всего от голода.

Моя больничная койка стояла у самой входной двери в первом углу. Я лежал ногами к выходу. Поутру двери в палатах распахивались для проветривания, наводились уточнения по количеству покойников. Было видно, как санитары таскали на носилках мертвых женщин, одеревенелые руки которых свисали по сторонам и плескались, будто усталые крылья.

Мне было непонятно, с чего я заболел: то ли от водопроводной воды, то ли подхлестнули голод и слабость. По осени, в конце октября, мы, артельные, непрописанные в городе, без продуктовых карточек, рыскали по любым заработкам. Понимая нашу гражданскую неустойчивость, прорабы и завхозы помыкали нами как хотели. Родителей не было, имущества — никакого, у некоторых из нашей полубродячей артели положение было особое: кто только что отсидел за воров-

ство или мелкую спекуляцию, кто сбежал от трудовой мобилизации, кто скрывался без паспорта от колхоза, имелся даже один «псих», которого за «не так подумал» упрятали в психушку, откуда он, притворившись паралитиком, благополучно сумел удрасть. Был среди нас и некий Вовка-Чудодей (таково уж было прозвище) — невероятно везучий парень. Здоровень, нескладный, гоготун и бабда. Опекал его ангел-хранитель, двойник астральный, как ребенка малого, за простоту, за беззлобность, за дурацкую невинность. Иначе чем и объяснить: свалился этот Чудодей с шестого этажа новостройки в яму под жидкий бетон. Яма громадная, воронкой. Соскользнул он в эту яму по наклонной вниз и вылез весь залепленный, глазами моргает. Другому в этой яме не разбиться — так утонуть, а он сел на отвесный край, в бетоне весь, и говорит: «Жрать хочу».

Летом мы ночевали на третьей дачной остановке в заброшенном сарае или за кладбищем на первой даче в старом дощанике, а по осени кантовались на железнодорожном вокзале под лавками. Милиционеры знали нас всех наперечет, но брать не брали, потому что мы не воровали, а к тому же нас можно было всегда использовать как рабсилу задарма. Послевоенный Саратов от прошлых немецких бомбежек был во многих местах покорежен. Начисто сгорел завод крекинга нефти, пострадал завод шарикоподшипников, у железнодорожного вокзала развалило часть домов, а булыжную мостовую, которую здесь укладывали заново, порой приходилось мостить и нам. Среди ночи, где-нибудь часу в первом, вытягивал тебя за ногу из-под лавки милиционер и отправлял на площадь таскать камни при свете слабеньких прожекторов. Бывало, улизнешь куда-нибудь в тень — за тобой и не гонятся: знают, что завтра снова будешь на вокзале под лавкой. Впрочем, днем работу весьма добросовестно делали пленные немцы — такого у них натура: не могут дурака валять, работают равномерно и четко от звонка до звонка. В ту пору многие из них пользовались полусвободой — могли ходить по городу до определенного часа, только на работу выходили из зоны строем во главе с офицером в черном плаще. Кормили их не лучше, чем нашего брата. Глянешь на иного — согбенный, в своей желтоватой шинелишке — тоже солдат, подневольник. К пленным привыкли и уже их не кляли, как в первое время. И все же помнится случай.

Осень, стынь, к шести вечера уже темно. Тусклые фонари. Холодина. Трамвай пустой. Еду, а в уголке трамвая хилый, тощенький фриц притулился: пилотка — на уши, руки — в рукавах, переступает ботинками на босу ногу, весь в тревоге — надо к сроку в зону успеть, а платить за билет фрицу нечем. Налетела кондукторша, мощная такая: «Ах ты, фриц, фашист поганый! Пошел вон! А вот я ты на ходу пинком вышибу!» Нащупал я последний двугривенный в своей солдатской шинельке — я шинельку тогда на базаре купил — ну и сунул кондукторше. «Это, — говорю, — за него». Фриц по-русски мало-мало кумекал. Затряслись у фрица губы, нос утер, всхлипнул еле-еле: «О, русь зольдат...» Вздохнула кондукторша: «Ладно, черт с ним, — пусть задарма, что ли, проедет...» — и двугривенный мне вернула.



Несмотря на прививку, полагаю, со всех разных превратностей я тифозную заразу где-то и подхватил. До сих пор считаю: виноват прораб. Рыли мы в одном коммунальном дворе траншею под водопровод. В те времена экскаваторов почти и не видели, была даже основная профессия — землекоп. Роем, грунт со щебенкой, сверху лед, а снизу — вода. Вот и выдал прораб нам спецовку — рваные резиновые сапоги. Новье-то наверняка загнал на базаре, а нам худые резиновки дал. Застыл я крепко с ног, ослабел, и вечером затряс меня под лавкой на вокзале жуткий жар. Думал, простуда.

Подобрали меня поутру совсем уж мутного. В больнице заставили зонд глотать, чтобы желчь для анализа взять, и крови в шприц насосали. Из лаборатории через два дня, что ли, дали точный ответ: «Тиф-брюшник у парня» — и тут же перевели из изолятора в заразный барак, уложили возле двери на железную, ребрастую с боков, койку. Небольшая палата и без меня была забита. Лежали семеро, но могли втиснуть и восьмого. Этим восьмым оказался я. К моей транспортировке сюда кто-то на той кровати успел помереть, и потому мне досталось место в палате — не в коридоре. Место рискованное: дверь в палату открывают — весь холод из коридора на меня. А холод для тифозника — дело гиблое, потому что тифозника воспаление легких быстро прихватывает, в таком случае — это верный каюк.

Из восьмерых в палате, скажу сразу, выжило нас двое — я да парнишка пятнадцати лет. Как он выжил, и представить невозможно. Дело в том, что у брюшнотифозника кишки истончаются, разными язвами их разъедает; бывает, при легком, даже не очень резком, движении, а то и просто так, они прорываются. Кого так вот изнутри проткнет, — крик он поднимает страшный: боль его одолевает так, что он уже не в себе. А с прободением кишечника везут тут же на операционный стол: если удачно прооперируют — снова живи, если выживешь. Лечения толкового к тому времени против тифа наука еще не нашла. Давали бактериофаг в сутки по рюмочке: соленой водички с какими-то там противотифозными инфузориями, разве для того, чтобы микроб испугать. Или постоянно делают переливание твоей же собственной крови для повышения устойчивости организма: из вены возьмут у тебя кубиков десять и в ягодицу эту кровь большущей иглищей введут. Помню, у меня к выходу из барака весь зад был в синяках.

Так вот выжили пока — парнишка пятнадцатилетний да я. Особенно жаль мне было одного парня: здоровень — красавец. Привезли без сознания. Покипел в температуре три дня — и заглох. А дед один — так тот по дурасти помер. Его уже на выписку почти что снаряжали, а он блатной такой: анекдоты один похабнее другого травил.

И было еще нам такое лечебное средство — гимнастика для оклемавшихся, но еще лежащих, — это чтобы воспаление легких предупредить. Приходила к нам для той помощи студенточка из мединститута (явно ради грошовой платы в зарбарак пошла) и показывала, как руками справа налево шевелить, глубже вдыхать и прочее. Вот наш дед поутру и расхулиганился — начал выпендриваться, да на восемь-

десять первом-то году, да лежа на кровати. Пузо тощее выпятил, гармошкой ребра выставил и начал «мостик» на кровати делать: уперся за головой руками, в коленках поднатужился да как вдруг заорет — кишки лопнули у балды старого. Враз в операционную, а оттуда — в морг.

Про себя помню: все куда-то провалилось в первые дни — в страшный гул и темь, где сам я будто маленький и сжатый, тряусь в лихорадке, всего коробит. Помню и то, что в этой тьме меня куда-то несли, а куда — не знаю. Очнулся где-то под белым потолком. Вот тогда и кишку резиновую заставили глотать. И кровь взяли. И снова я с белого света ушел во тьму с какой-то там проклятой чертополосницей — то с огнями, то с провалами. В себя пришел уже в палате на койке у самой двери. В палате другие бредили, а я все смутно понимал: мокрее утопленника, скрюченный весь, тряусь под жидким одеялом с «критичкой» — это температура в сорок один градус. Такой градус — критическая черта, за которой, если свыше, белок в клетках организма начинает свертываться, и тогда ты такой недосваренный и отправляешься на тот свет. От жару этого и парень-красавец через трое суток помер. За ним еще какой-то невзрачный мужик лет сорока последний вздох издал. А как и что дальше — все перемешалось, не установишь порядок: в таком случае тебе ни до кого. А на койки опустевшие других сразу приносили из какого-то запасника без отопления. Тот запасник, говорили, для санитаров очень удобный был, потому что располагался рядом с мертвецкой, и санитарам не приходилось таскать покойников далеко.

Лежишь в полубреду: то жар тебя душит, то озноб корчит. Вдруг вскрик страшный — прободение у кого-то, и везут бедолагу в операционную. Вот где казнь так уж казнь, а тебе не до того: ты сам совсем в ином непонятном мире. Так что я, можно сказать, милостью божьей обошелся: и живот не был вспорот, и остался живой. Правда, как сказать, живой или полуживой, немощный: через два месяца в той палате просвечивался весь. Кожа тонкая стала, вроде вощаной бумаги для компрессов.

Пролежал я так месяц: сначала все в температуре накалялся, а потом остывать стал, и разум мой прояснился. Узнал, что «стариков» в палате осталось только двое — я да тот парнишка пятнадцатилетний. Выжил бы и тот охальный дед: да нет же — начал перед молодой бодриться, пупком кверху выпираться — вот и смерть сам себе нашел. Ну пожил бы этот старик еще годок-другой возле своей старухи, постонал бы, поохал и тихо бы отбыл, а тут, можно сказать, проявил рыцарский дух, на который он и за всю жизнь не решался. Натура проявилась, такие выкрутасы на койке лежа начал выделять: и пузо кверху, и ноги к потолку, и кулаками махать. Ну для меня такой пример не подошел. И соседа-юнца сберець надо: не вздумал бы стариковским манером хорохориться. Страшно за парнишку пятнадцатилетнего: три прободения пережил, а выжил. И себе, и мне на радость. Судьба. Лежит прозрачный, как медуза, и глаза у него такие ясные, ласковые, — думать жутко, что и он помереть может.

Страшно хотелось тогда чего-нибудь кислого или соленого. Но ничего такого не давали, и есть такое было совершенно нельзя: кишечник мгновенно воспалится, и тут уже тебе прямая дорога на тот свет. Я однажды даже губу себе надкусил, чтобы собственной солонатово-кислой кровью хоть на минуту утолить эту адскую потребность. Однако настал и мой самый горький час: грохнул рецидив, возврат болезни. С чего он взялся — не знаю. Только нахлынул вдруг снова жар, и припекло к кровати так, как будто тебя всего к земле адским магнитом тянет. Лежишь на спине, а тебя неотступно куда-то сквозь кровать плоско так подтягивает. У кого по-легкому, а кому — это последний день и час. Думаю, все-таки моя койка возле двери со сквознячком сделала свое.

...В тот день, по заведенному порядку, в шесть утра двери палат открывались и проветривались, потому что есть утверждение: тифозная зараза передается даже по воздуху. Да и то сказать: духота в наших палатах бывала такая, что свежий человек на пороге в обморок мог упасть. Потом всем градусники ставили. В восемь приходили санитары, похмельные, мрачные, — покойников выносить. Муторная служба — не каждому привычно. Носилки санитарные узкие, складные, с брезентовой натяжкой. Покойника несут, а руки у него по сторонам, и он этими руками, в такт шагам, отмахивается — вроде бы: «Пока, братва, до скорой встречи!» И еще одна вреднейшая штука в палатах ежедневно появлялась — дух мертвецкий. Живой человек как ни хворает, а от него этой тяжести не исходит. А отдал богу душу — и пошла эта слащаво-тошнотворная духотища. Зависнет в палате и даже через открытую дверь от какой-то непонятной тяжести не выползает. От этой духостойкости, бывало, на карачках уползти хочется, а куда ты денешься, мил человек? Лежишь ты тут не по собственной воле — судьба тебя в свой оборот взяла.

И вот чудо: настал и мой черед предстать перед вечною тьмою. Но что любопытно — страха нет, и тоски тоже; есть только ото всего отрешение: все какое-то мелкое и далекое стало вокруг тебя, и ты один в какой-то точке собран, будто раскаленный уголек во тьме. И во всем ты непонятен и недосягаем ни для кого. Человек — тело, душа и дух его — не вымысел. Тело —местилище для души, а дух — то живое сущее души и тела, тончайшая материя... Как видно, в трудный час в последнем уголке свечения душа и держится, как говорят, еле теплится, и она еще пока в тебе, в твоём теле. В чем ее суть? Знать нам не дано, но именно в ней таится дар нашего бренного земного бытия, и мы должны оберегать ее и честными поступками, и здоровьем данного нам тела. Кто-то, кажется, даже взвесил душу человека в граммах, а я в это не верю. Душа снимает часть нашего веса, если она в тебе имеется. Не зря про иного говорят: «Легкий он человек». Мертвый да бездушный всегда тяжелее тянет, и не столько весом, сколько давлением твоей души. Впрочем, мертвый зверь и тот тяжелее живого. А вот где помещается душа наша — вопрос вопросов. Я так полагаю: разлита душа наша по всем клеткам нашего тела при верховном значении головы и сердца. Страшно ду-

мать о людях с пересаженным сердцем, ибо они уже не люди, а существа, созданные человеком с той степенью глобального искажения, где земные чувства их сердца обрублены хирургическим ножом, а духовные, потусторонние, раздвоены бесцеремонным вмешательством в единство души и тела.

Как бы то ни было, но вдруг я снова остался один на один с точкой, ушедшей от внешнего мира. Какая-то искорка, какой-то уголек еще светился во мне, и этот уголек уже совсем сдвинулся в мизерную иглолочную величину и, кажется, готовился вывернуться наизнанку, чтобы вспыхнуть в обратном направлении. Я еще чувствовал тело, которое будто бы вскипело каким-то отвратительным ощущением вспузырившейся массы в каждой клетке и мельчайшими бугорками кожи, как это бывает, скажем, у спелой малины. Я до отвращения не хотел этого и между тем понимал, что это мой последний час, который всего несколько минут тому назад я воспринимал с полнейшим равнодушием. И вдруг тьма — и снова свет: я был куда-то втянут помимо своей воли, совсем в иное осязание мира. Я лежал на чем-то мелкобугристом, ровно и плоско, медленно и потихонечку стронувшись с места ногами вперед. Руки мои были строго вытянуты вдоль тела, а свет исходил из-под меня, — вернее, это был огонь, пламя, но не жгущее и такого цвета, которого я в жизни никогда не встречал. В грубом определении, это был свет кирпично-оранжево-красный, освещавший довольно просторный туннель — всю эту трубу до пламенеюще-ворсистого потолка, до которого я мог бы дотянуться рукой, но где не мог бы встать. Там будто бы просматривалась какая-то кладка, вернее, мерцающие блики этого никогда не виданного мною огня. И вот сейчас я думаю: не потому ли к людям пришел в сознание «адский огонь», «очистительный огонь», через который пропускается душа и очищается от скверны, и не отсюда ли представление — «вылететь в трубу», и не потому ли зародился обычай погребального костра у индусов? Ведь это было так похоже: лежу, а из-под меня это пламя. Красно-оранжево-малиновое кипение пламени все сильнее и сильнее освещало туннель-трубу, и я все быстрее и быстрее втягивался туда, где в конце (это я точно знал) был обрыв и тьма пространства. Предчувствуя впереди необъятную тьму и стремительную скорость, которая вот-вот выбросит меня в безбрежное пространство, я вдруг закипел отвращением ко всему этому: к этому огню, движению и какой-то мучительной сдавленности, из которой нет выхода. Я уже мчался бешено к выходу, и вдруг — удар, снова тьма, все куда-то рухнуло, и мои глаза почувствовали мутный дневной свет.

Я ощутил, что меня кто-то поднимает с пола, и вскоре увидел, что передо мною стоит нянечка, наблюдавшая за мной в тревожном ожидании. Потом мне рассказали, что поутру я задергался, зрачки мои расширились, а пульс исчез. Нянечка вдохнула: «Ну вот и еще один». Но спустя минуту-две я вдруг вздернулся над кроватью четверти на две, перевернулся и ударился левым боком о железный край. Доктор объяснил так: удар встряхнул мое сердце, и оно снова заработало. А когда шмякнулся с кровати, то и задышал.

Не знаю, что тут верно, а что предположительно. Однако рецидив моей болезни пошел на убыль, и через месяц меня выписали из больницы. Только жить мне стало трудно: я теперь видел людей, как говорят, насквозь. Идет, скажем, навстречу хам, вор, подлюка или респектабельный гад, и я сразу это в нем вижу; идет страдалец-честняга, и я с ним душою маюсь. Помню, один деятель прямо-таки взвился, когда я глянул ему в глаза, а другой всего за единственный мой взгляд намеревался меня убить. Ненавидели меня многие, но и многие ко мне стали ласковей, добрее. И вот еще что утвердилось во мне: я считаю преступлением обязательное вскрытие тела после смерти человека, мне кажется, что вскрытие мертвых — это второе убийство.

Спустя полгода мое ясновидение начало притухать, и я стал жить, как все люди. Иногда бывало еще, что под какое-то особое настроение другой человек казался мне будто бы высеченным по своей сути: с его нарочитой храбростью или трусостью, с его честностью или коварством. Я старался не смотреть людям в глаза, и даже если шел следом, не смотрел в затылок, потому что люди оборачивались. Правда, девчонки и женщины (за редким исключением) не боялись моих глаз. Я был убежден, что через мои взгляды они понимают меня, как и я понимаю их, — по-доброму. Может быть, потому что я был молод и еще не успел полюбить, а только ждал этого.

1947-49 гг.



*Виктор Лапшин*

## МУЗЫКА

Единой музыкой жива —  
Душа стихии бессловесней.  
Не благо — жалкие права  
Случайною сказаться песней.

Поет и ветер верховой,  
И резвая струя речная...  
Во всем — немых созвучий строй,  
Их прирожденною игрой  
Обнажена тщета земная.

Когда б страданье обожгло  
Его целительной отравой —  
Не искушало б нас число  
Гармонией своей лукавой...

\* \* \*

Тебе я старым добрым слогом  
Хочу сказать еще о многом,  
Как повелось на Руси:  
Под спудом правду мы не держим,  
А если будет кто рассержен, —  
Виниться боже упаси!

Стой на своем неколебимо,  
Ведь та душа неистребима,  
Что ратует не за себя;  
А если каяться охота,  
Горюй, что не успел кого-то  
Взрастить — достойнее тебя.

Для нас нет времени и дали!  
Века отнюдь не миновали,  
Досель — воочию они;  
И предки, властелины Славы,  
Свободным нашим словом здравы, —  
На волю их не посягни!

## РАССВЕТ

Тоска. Ненастье. Путь окольный.  
Потусторонний вопль ворон.  
Наносит ветром колокольный  
Медлительный и грозный звон.

Летучей искрой мысль мелькнула —  
И мглой ее заволокло.  
Темно и глухо. Ночь минула,  
А солнце так и не взошло.

## СТРАХ

И мнимые, и явные  
Свои я знаю вины;  
Душа-то своенравная:  
Не любит середины.

Не чудные созвездия  
В ночной душе влачу я,

Но ангела возмездия  
Над головою чую.

Но мне не вестник мщения  
Непостижимо страшен,  
А вечные мучения  
Вдали от райских башен.

## АРКАША

Мать, куда тебя носило?  
Живо жорево готовь!  
Сальцем ты побалуй сына,  
С чесночком потри морковь.  
Похмелиться не мешало б!  
По пятьсот — на каждый глаз!  
Забрюжжала! Хватит жалоб!  
Слышал я их тыщу раз.  
Что это такое в блюдце?  
Шпиг? Резина из резин.  
Иль с тобою мы не люди? —  
Двигай, бабка, в магазин!  
Не гляди, как на дракона,  
И зубами не скрипи.  
Лососины и бекона,  
Ананасов накупи.  
Мне, старушка, «Черной смерти»,  
«Амаретто» — для самой.  
Загуляем — сдохнут черти!  
Не соскучишься со мной.  
Говорю, к прилавку быстро!  
Три шага не одолеть?

Пензия — как у министра,  
Так чего ее жалеть?  
Как же, matka, ты упряма,  
Напрочь хоть волосья рви!  
... Да не плачь, не плачь ты, мама,  
Свет Фроловна, не реви.  
В гастроном слетаю мигом:  
Хватит, чай, на маргарин,  
А вернусь — тоску на выгон,  
По душам поговорим.  
Убери свои деньжата,  
Как богата — знаю я.  
Без вины ты виновата...  
Эх, родная ты моя!  
Подогрей, хожу покуда,  
Чайник, — я воды принес.  
Водки дернуть бы не худо!..  
Ну, опять! Не надо слез!  
Сварим супу-рататую  
Из какой-нибудь фигни...  
А бутылку-то возьму я,  
Ты меня уж извини.

## ЛЮБОВЬ

В туманах табачного дыма  
Гранитно стучали стаканы,  
И месяц струил нелюдимо  
Табачного дыма туманы.  
Сидели вечерние люди,  
В сердцах матерились, галдели;  
И в зеркала тусклой полуде  
Вечерние люди сидели.  
За стойкой сияла красotka  
В захватанном скучном халате,  
Она терпеливо и кротко  
Спешила вино наливати.  
Все были на деву в обиде:  
«У телки поехала крыша».  
Она и глядела, не видя,  
И слушала, как бы не слыша.  
По третьей когда выпивали  
И нехотя рвали сеledку,  
Обиду они забывали,  
Но не избывала красотку.  
Седой, скособоченный дядя,  
Юнец, повзрослевший напрасно,—

Все видели деву — не глядя,  
Не слушая — слышали ясно.  
И только один, в уголочке,  
В зеленых трусах по колени,  
Уткнулся в газетные строчки  
И мямлил: «Потрясно! До фени!»  
На стойку он взглядывал смутно,  
На буйных соседей незряче  
И пиво тянул поминутно,  
Мохнатые ноги коряча.  
Знать, пиво-то было сладимо  
Иль, может, нашептано девой:  
Она с парня глаз не сводила,  
Подернутых слезною плевой.  
И кружка, и две — и десяток.  
И взоры, молящие взоры.  
Со стен закоптело-дощатых  
Отвеялись дымом узоры.  
Ушел, на нее и не глянул.  
Вскричала буфетная дверца.  
И вечер томительно канул  
В мое бесприютное сердце.

## ПОД КОМЕТОЙ

Надоели мне вымыслы-бредни  
Изощренного в слове ума!  
Лучше вспомним давай, как намедни  
Лютовала зазноба зима.

Как рассветная стужа, наглея,  
Город зыбила сизою мглой  
И слепая комета Галлея  
Нависала над бедной землей.

Под хвостатым, под призрачным дивом —  
Вдоль по уличным темным извидам  
Молодайка бежмя да бежит!  
Знать, нужда на нужде спозаранок, —  
Под полозьями быстрыми санок  
Шлак скоргочет, снег звонко визжит.

В пух удушливый глухо замотан,  
Закулеман мальчоночка, вот он —  
На салазках, родной человек.  
...Жив ли, дышит ли — слушает робко,  
Подоткнет одеяльце торопоко  
И опять приударится в бег!

По горбам да по наледи катит, —  
Хоровей полушалок косматит;  
От морозу набрякла слеза;  
На запястье отчаянно глянет,  
На обочину в страхе отпрянет:  
За спиной верещат тормоза...

В вихре-облаке черного смрада  
Громыкает машинное стадо, —  
Хоть в сугробе застынуть тебе!..  
Пес кидается чертом с панели!..  
Руки-рученьки окоченели,  
Саднит трещинка на губе.

Эх, сестренка! Грозны наши годы,  
Но поверь же и ты горячо,  
Что тому и даются невзгоды,  
Кто их может взвалить на плечо.

Все обиды твои, укоризны —  
Занесет очистительный снег...  
За тревогами милой Отчизны  
Мы тебя не забудем вовек.



## ВСТРЕЧА

Галине

### 1

Раскрасавиц ты не краше,  
Но дорожке дорогинь.  
Не оставь зимовье наше,  
Нашу тайну не покинь.

В вихре дней моих унылых  
Ты — вечерняя звезда.  
Прежде — верных, нежных, милых  
Не встречал я никогда.

А мечтанья — что скитанья:  
Тщетный пыл, напрасный жар.  
Тем, кому судьба свиданье,  
И разлука — Божий дар.

Лихолетья ли морока,  
Суеты ли маета —  
Ты живешь во мне глубоко,  
Незабвенна и чиста.

### 2

Когда бы не ты, дорогая,  
Не знаю, что стало б со мной.  
Глядит на меня, не мигая,  
Старуха с кровавой косой.

О тайных утратах и винах  
Коса мне забыть не дает:  
В зазубринах и щербинах  
Возмездия вихорь поет.

Что наше — давно уж не наше,  
С годами чужое родней,  
И жизни милее и краше  
Печальная память о ней.



## ПЛЕННИЦА ВРЕМЕНИ

Летом памятного пятьдесят третьего года небольшая партия геодезистов работала в горно-лесном районе Грозненской области.

Дело в том, что после сталинского «переселения народов» порядка в тех местах навести так и не сумели. Остались обезлюдевшие аулы, зарастающие пашни и гложущие сады.

Только изгнанные горцы и знали, как управляться с этой неласковой землей. Новые поселенцы с нее сбежали.

Однако попытки освоить землю заново не прекращались. Потому и шли сквозь свирепые заросли иглицы русские геодезисты.

Хотя довольно быстро поняли: Советская власть в этих местах — до захода солнца. После — неизвестно чья.

... Так и набрали уже на обратном маршруте на развалины какого-то маленького поселения. Всего пять домов, точнее — лачуг. Никого. Старые груши и сливы роняют на землю, как медленный дождь, ненужный никому урожай.

Подобные селения геодезисты уже встречали. Но здесь под вековой грушей бродила девчушка лет трех, дочерна измазанная землей и сладким соком.

Мужчины настороженно замерли: не ловушка ли какая? Знали, что «абраги» в этих местах не переводились еще с царских времен.

Но в партии был мальчик десяти лет, сын одного из рабочих, уроженец далекой северной Костромы. Не спрашивая разрешения, он подошел к малышке. Она вцепилась в его штанину обеими ручонками и залопотала что-то — горячо и непонятно.

Начальник партии, человек бывалый, знал местные диалекты, но только покачал головой.

— Эту никто не поймет. Горская еврейка. Станный народец. Бог весть, кто они на самом деле? Евреи их не понимают и за своих не держат. Остальные тоже. Неведомо откуда пришли и неизвестно, какому Богу молятся... Их не любят и боятся, считают колдунами. Кто угодно мог их жилье разорить. А эта... вишь, уцелела.

Девчушка между тем продолжала что-то рассказывать, время от времени показывая на север.

— Правильно, — сказал опять начальник. — Если это были «абраги», то они оттуда и пришли. Там горы не как здесь — чащоба непролазная. Что же теперь делать-то будем? Не бросать же кроху...

В общем, поскольку маршрут был почти закончен, решили сворачиваться и идти обратно.

Довольно долго пытались выяснить, как зовут это Божье подаренье? Вроде бы Зария или Закия... Короче — Зара. На том и остановились.

Зара была сообразительна, остро чувствовала настроение окружающих, но признавала только мальчика Колю. Он ее умело вымыл и приспособил какие-то свои одежды вместо ее лохмотьев.

Отец объяснил, что в семье у них пятеро детей и двое — младше него, Коля привык ходить в няньках.

Когда Зару отмыли, оказалось, что у нее необыкновенной красоты волосы: густые, упруго вьющиеся волнами, орехового цвета. А глаза под сросшимися бровями, как морская вода на мелководье, со светлой зеленцой. Однако большой, горбатый, как бы наспех вылепленный нос и толстые губы навсегда лишали ее права на красоту.

Когда прибыли в город, началась бесконечная волокита: «Откуда? Почему? Имя-фамилия ребенка? Возраст?»

Все это время девочка жила с Колей и его отцом на квартире — в тесной комнате старого рабочего барака. Удивительно быстро училась русскому языку. Иногда казалось, что она вообще все понимает, но почему-то не хочет говорить. Ела, что давали, но всегда немного и очень аккуратно. Спала на полу под боком у Коли.

И ему стали сниться диковинные сны. Он говорил:

— Я точно кино смотрю... Только красивее, такого не бывает!

Пытался рассказывать, но доставало слов.

Отец Коли засобирался на родину.

— Побыл я на этих югах — хватит! Денег тут не заработаешь, а фруктов всех не приешь. На чужой стороне рубль — копейка, а на своей и копейка — рубль.

Тут вмешался Коля:

— Папа, возьмем Зару! Она здесь никому не нужна, ты же видишь!

Это Сергей Демьянович видел. Словно неодолимая стена выросла между их найденкой и властями: ни туда, ни сюда. И широкая русская душа не выдержала: ладно, не объест, чай. Где пятеро, там и шестому кусок хлеба найдется.

Так появилась на многодетном костромском дворе странная девочка, которую немедленно окрестили Арапкой.

Как ни странно, появление ее в семье Зотовых взрыва не вызвало. Ахнула, всполохнулась было измученная собственными отпрысками Лидия Николаевна, но как-то быстро успокоилась. Одежки чуть более старшей дочери, Нелли, оказались впору Заре. Как-то все устроилось.

Семья эта на обычном коммунальном дворе, состоявшем из населения двух бывших дворянских домов, выглядела наособицу. Глава ее, Сергей Демьянович, был вечным «отходником», владевшим массой специальностей. Носило его по всему необъятному Союзу, но деньги он отовсюду присылал и привозил исправно. Детей, не в пример иным, они народили кучу, но жаловаться на них не приходилось: ни одного дурака, однако и звезд с неба не хватало. Обычные ребята.

Их мать, Лидия Николаевна, в молодости работала медсестрой, а теперь ходила по зажиточным домам делать уколы. Иначе не получалось, деньги в доме нужны были всегда.

Почему не взвилась на дыбы, увидев диковинную сиротку, Лидия Николаевна сама не могла понять.

И что вскоре произошло — тоже сообразили не сразу: в доме стало много тише и спокойнее.

Прежде близкие по возрасту братья и сестры Зотовы постоянно выясняли отношения. Шум, гам, жалобы матери...

Теперь только заспорят — скользнет между ними Зара, глянет пристально, без слов «морскими» своими глазищами — все стихает.

И на дворе ее, хоть и кликали Арапкой, не обижали. Заметили: в отличие от других детей, она охотно слушает стариков. Безотказно исполняет все, что ей поручат. Но даже и посторонние видели: интересуется ее только Коля. Попробовали дразнить — не прижились дразнилки.

А Коля... думал о Заре меньше всех. Жил своей мальчишеской жизнью, в которой, до поры до времени, места девчонкам вовсе не отводилось. На Костромке при впадении ее в Волгу прыгал по «живулькам» — несвязанным плотам. Плавал на другой берег — на Стрелку. Ловил рыбешку. Ходил со старшими за грибами. Чем занимались сестры, а вместе с ними и Зара, он просто не знал.

Среди прочих увлечений было у мальчишек лазанье по чердакам и крышам домов. Взрослые шугали их оттуда, если видели, да разве уследишь? Между тем пожарная лестница, что вела на крышу Колиного дома, по возрасту самому дому не уступала. Давно уже собирались ее свалить и пустить на дрова, да ни у кого руки не доходили. А бывшие барские хоромы состояли из двух высоких этажей с полу-подвалом — костей не соберешь, упали с той лестницы.

И вот однажды, когда Коля уже почти поравнялся с крышей, сломались сразу две ступеньки. Непонятно, каким образом парнишка успел ухватиться за боковину и беспомощно повис на ней. Бестолково заголосили на дворе женщины, завизжали дети. Отец Коли кинулся к лестнице. Но выдержит ли она его вес и хватит ли времени?

Среди всеобщего переполоха одна Зара застыла неподвижно, молча смотрела вверх на Колю. На нее саму, естественно, никто внимания не обращал.

Когда отец и сын благополучно спустились на землю, лестница, словно того и ждавшая, рухнула с треском. Но у обоих осталось странное ощущение: и когда Коля сорвался, и когда отец лез за ним, оба они как бы лишились веса. Потому и удержались.

Все это выглядело так странно, что даже и говорить об этом с посторонними не стоило.

...Годы бегут быстро. В школе Зара обратила на себя внимание одной особенностью: то, что ее почему-то заинтересовало, запоминала мгновенно, неинтересное пропускала мимо ушей навсегда. Оценки ее не волновали, она не соревновалась ни с кем. Только тихо говорила:

— Это мне не нужно...

С годами возросла грубость черт ее лица, зато запоминалось оно с первого взгляда.

Учительница истории говорила коллегам:

— У этой девочки очень древнее лицо. Иногда мне кажется, что-то подобное было в Вавилоне. Еще меня пугает, если можно так выразиться, подспудный слой ее знаний. Откуда в таких подробностях ей известен совершенно забытый ныне способ орошения висячих садов?

— А тригонометрия в пятом классе? — вступала математичка.

— Вот если бы еще и правописание, — вздыхала «русачка».

Но вот как раз то, что частица «не» пишется с глаголами раздельно, Зару нисколько не интересовало. Как и очень многое другое.

Руки у нее оказались замечательные: очень рано она выучилась всему женскому обиходу. Зара все делала лучше сводных сестер, но каким-то образом умела и тут не вызывать зависти.

Коля же окончил СПТУ и стал трактористом-бульдозеристом. Отслужил в армии, после работал на стройке. Появились у него и девушки, но пока случайные: одна-другая. О них знали сестры, а домой он их не водил.

Что-то в нем, с виду наиобычнейшем парне, было не такое, как у всех. Кого выглядывал он в тесноте танцевальной «клетки» или неразберихе молодежной компании?

Братья женились, и все шло у них как у людей. Старшая сестра укатила с мужем в сытую Венгрию. Кого искал он?

...Той осенью долго шли дожди, леса залило. Но Коля с двумя друзьями все же отправился на заветное моховище за клюквой. Ездил и прежде, дело обычное.

Сильно постаревшая Лидия Николаевна и Зара мыли на кухне банки под ягоду.

Вдруг смуглое лицо Зары побледнело до синевы. Она молча села на стул и уставилась в одну точку нестерпимо разгорающимися глазами.

Лидии Николаевне стало страшно. Хотела перекреститься, но рука отяжелела и не поднялась.

Зара откинулась на стуле, погасила взор.

— Все... Все хорошо... Они придут...

Вернувшиеся парни прежде всего наперебой начали рассказывать, как, собирая клюкву, угодили в заросшее болотное «окно». Не чаяли спастись, трясина засасывала, да в последний момент подвернулось под ноги затонувшее дерево. Выбрались кое-как. Все ахали. Зара молчала. Почему-то и Лидия Николаевна тоже.

...А на другой день Николай привел в дом Нину — свою «настоящую девушку». Она оказалась сестрой одного из тех, с кем он ходил на болото. Нина работала парикмахершей и, в отличие от моды, носила косу. Лицо простенькое, сероглазое, курносое, но с крутым волевым подбородком. Повадка несуетливая — уважающего себя и других человека. Подкрашена, но так осторожно, что сразу и не заметишь.

Как мастер, тут же обратила внимание на необыкновенные волосья Зары:

— Это же свои, не крашенные? Первый раз вижу живой тон «красное дерево»...

Но на том их разговор и закончился.

Зара пошла на кухню за «фирменным» яблочным пирогом. Но почему-то долго не возвращалась. Лидия Николаевна незаметно пошла за нею.

Девушка стояла возле стола с благоухающим пирогом. Незряче смотрела в окно и словно бы за кем-то невидимым повторяла непонятные гортанные слова.

Обернулась. Смуглое ее лицо похорошело, но было бесконечно печальным и мудрым. Лидию Николаевну взяла оторопь.

Зара кивнула ей, улыбнулась, медленно возвращаясь к самой себе — привычной Арапке.

— Все прошло! Не надо беспокоиться. Это только опоздание... Сколько их впереди? Время бесконечно...

— О чем ты, доченька? Я ничего не пойму...

Кажется, только теперь Зара окончательно опомнилась. Взяла пирог.

— Ни о чем. Забудьте!

И верно: об этом случае на кухне Лидия Николаевна вспомнила лишь много позже и при особых обстоятельствах.

...А жизнь шла. Нина оказалась девушкой не только волевой, но и дальновидной. Несколько беспечного и балованного (младший брат в семье!) Колю она быстро прибрала к рукам.

Родители ее остались в деревне, но сама она сделала твердую ставку на жизнь в городе. И хотела обставить ее с наивозможным комфортом. Как ни печально, именно Зара встала ей поперек дороги.

Из всех юных Зотовых с родителями оставались теперь лишь Коля, младшая сестренка Неля и Зара.

Однако у Нелли имелся жених — ожидающий выпуска лейтенант. Она собиралась с ним ехать, куда бы ни послали его после училища. В трехкомнатной квартире с большими, некогда барскими, комнатами можно было отлично устроиться со стариками, да вот найденка эта черномазая под ногами путается...

Нина только обдумывала, как бы подступиться к разговору и что привести в качестве причины, когда Зара сама остановила ее однажды возле дверей. Посмотрела непроницаемо.

— Выходи за Колю спокойно. Я вам не помешаю. Мое время истекает...

И не сбежала, а как бы спорхнула с лестницы — всегда она двигалась легко и бесшумно.

Нина, поразмыслив, решила никому о словах Арапки не говорить.

...Свадьбу затеяли среднюю. По деньгам. Продукты привезли из деревни родители Нины, люди тоже расчетливо-деловитые, трезвые. Платье купили с рук по объявлению, но Зарины руки превратили ширпотреб в некий шедевр искусства.

Машины принадлежали друзьям, а изукрасили их, как сумели, сами. Двор помогал и сочувствовал.

В заброшенном саду за домом цвела сирень, и ее ветви устлали дорожку от порога до ворот, охупками легли на капоты машин. Все обратили внимание на платье Зары: длинное, узкое, из кремовой одноцветной льняной ткани. Казалось, что в таком и шагу не ступишь, но ей платье не мешало, а неожиданно придало величавость.

Неведомо где добыла она и блестящий обруч как бы из двух скрученных змеек. Из-под него на плечи летел водопад роскошных медных кудрей.

Приехавший на свадьбу старший брат, Дмитрий, ныне торговый моряк, только ахнул:

— Господи помилуй... И это наша Арапка?!

Произошло мгновенное легкое замешательство, отмеченное всеми на дворе. Будто бы в клетку с курами залетела райская птица...

Но вот все расселись по машинам, и кортеж тронулся.

Зара со сводными сестрами ехала во второй, те косились на нее, словно на незнакомку. Но на ее словно бы окаменевшем лице ничего не отражалось. Девушка чего-то ждала.

...МАЗ вывернул из-за угла внезапно. В какую-то бесконечную секунду всем стало ясно: столкновение его с головной машиной неотвратимо.

Неля, сидевшая рядом с Зарой, увидела, как та подняла руку и коснулась обруча на лбу там, где свивались головы змеек. Пронесся как бы пахнувший грозой ветерок. Неведомая сила буквально отшвырнула МАЗ к обочине и освободила дорогу. Весь кортеж вкривь и вкось остановился.

Все тут же бросились к машине жениха и невесты, но там ничего не произошло. Только Нина всхлипывала у Коли на плече от пережитого страха.

Когда вернулись во вторую машину, оказалось, что Зара мертва. Лицо ее в смерти — неузнаваемое, величественное — поражало нечеловеческой красотой.

...Вышли вместо свадьбы похороны, но к осени и свадьбу сыграли. Не хуже, чем у людей. И зажили молодые именно так, как хотелось Нине.

Одна беда: Коля начал «задумываться» и в такие дни выпивать. А приняв «дозу», все пытался рассказать отцу те давние детские сны-картины. Вроде выходило, что он жил там в неведомых странах и обличьях и рядом всегда оказывалась удивительная женщина, похожая на Зару. Не на эту, живую и некрасивую, а на ту — мертвую и прекрасную...

Но слов у Коли с годами прибавилось мало, из рассказов его немного выходило путного: одно «понимаешь — нет?» да маханье руками.

Нина злилась и гнала мужиков с кухонных табуретов на диван в комнату — смотреть телевизор.

...Когда родилась Машенька, стало не до посиделок. Только еще в роддоме Нину словно бы кипятком обварило: личико у дочурки беленькое, курносенькое, самое русейшее, а на голове — шапка темных волос, уже и теперь отливающая ореховой красниной...

«Та» все-таки напомнила о себе. К добру или злу — неведомо.

Леонид Попов

\* \* \*

Круто золото взметну — тополя.  
Зябкой синью обнесу — небеса.  
Для тебя, дружок, грязюка — земля,  
Для меня — итог! Любава, краса...  
Что-то осень не долга, не долга.  
Что-то очень холода велики,  
И не ладится упрямо строка,  
Не поется мне никак, не с руки...

\* \* \*

Из давящей из чащи	Шагнуть! И как проснуться,
На ненаглядный свет	Все страхи отряхнуть,
(Где соснычок ледащий	О солнышко запнуться —
Бежит за тропкой вслед)	И в путь, и в путь, и в путь...

\* \* \*

Что, неволюшка жить на краю,  
Средь заморского смрада и срама,  
Где, картавя, «пророки» поют —  
Вопиют! — что не надо нам Храма?..  
Ах, народ, ты устал от щедрот  
Подлой власти, от водки и браги,  
От плакатов, зовущих вперед,  
Прямо в пропасть — под красные флаги.  
В церкви ярые свечи горят.  
Хор поет! Все стройнее и краше...  
Не одни же монахи стоят  
Перед Богом за горюшко наше?!

\* \* \*

К себе — чего там! — состраданье,  
стыда укол.  
Искал я в жизни оправданье  
и — не нашел.  
Порыв слезы — позорный! — скомкав,  
я зорче стал  
и увидал: надежд котомка  
пустым-пуста.  
И ни одно окно не светит  
(не для спанья!),  
и ни одной душе на свете  
не нужен я.  
Кого винить? Одни страданья  
другим дарил,  
и потому для состраданья  
нет больше сил...



## ВИТИНО СЧАСТЬЕ

### I

Поздно вечером возвращался Витя Мальцев со сплавного стана в свой поселок. Везде уже погасли огни, густая наволочь стерла с неба редкие звезды, и кругом шумела зябкая, какая бывает на Коренной в пору половодья, ночь. Запозднился он из-за корреспондентки районной газеты, долго засидевшейся в береговом общежитии сплавщиков. Была она на лесосплаве первый раз, и все, что видела и слышала, брала на карандаш. А рабочие в свою очередь расспрашивали гостью о районных новостях. Были и жалобы.

Сторож, хроменький Ефимыч, обижался, что в поселке неладно с общественными заведениями. К примеру, недавно закрыли библиотеку. Новые хозяева говорят, будто нет денег на ее содержание. А без нее как быть человеку? Внучонку вон понадобилась книжка о небесном изгнаннике, все уши прожужжал — найди да найди. Для занятий в школе понадобилась.

— Забыл только название и кто написал, — добавил Ефимыч.

— Возможно, «Демон» Лермонтова? — предположила Галина (так звали молоденькую газетчицу).

— Кажись, он самый, голуба.

Кто-то, правда, возразил, что хватит, мол, разных бесов и без книжных.

— Хо! А ты послушай, послушай... Может, книжные-то как раз предтечи теперешних, живых, будь они неладны. Ну-ка, милая девушка, — обратился сторож к Галине, — обскажи, если знаешь, помоги. Не все помнишь?.. Ах, беда!.. А все-таки...

— Только уж что могу, — согласилась она.

Мальцев некоторое время еще оставался у машины, наводил порядок в кабине — сколько за день-то натаскали в нее грязи на своих сапожищах разные ездоки. Потом зашел в помещение, остановился у приоткрытых дверей и тоже стал слушать. Голос у Гали был звонкий, приятный. Иногда она поглядывала на двери. Не его ли уж заметила?

Сам Витя давно, с появления в поселке, приметил ее. Синие с искринкой глаза, слегка вытянутое обветренное лицо, тоненькая, ладная — совсем-совсем молоденькая девчонка. Он тоже был молод, подвижен, только ростом не вышел. Лицо же портили веснушки, высыпавшие в изобилии.

Все Гале не удалось пересказать — пришел кашевар и заторопил сплавщиков на ужин. Сторож подошел к ней, поклонился и растроганно произнес:

— Спасибо тебе, дочка! Беспременно опять приезжай сказывать.

— Приеду с книжкой и свежими газетами. Я буду писать о вас, — ответила она и снова посмотрела на двери.

Нет, Витька тут был ни при чем, ждала она технорука Владлена Васюкова, который хотел заглянуть в общежитие. Да вот не явился. Почему?

Нравился Галине этот громогласный молодой технорук. С наступлением сплавных работ он перебирался сюда, в отдельный береговой домик, поближе, как он говорил, к делу. Был он рослый, энергичный, жил по моде. Отрастил черную бороду, густые усы. После первых же встреч с «заезжей синеглазкой» он предложил ей свое «верное сердце», зовя объединиться под одной крышей. Немедленно, без всяких проволочек. «А не придешь, — сказал как-то, — одной темной ночью выведу тебя. Ясно?» — и засмеялся раскатисто.

Такая прямота пугала Галину.

Когда общежитие опустело, засобиравшись и она. Витя тотчас побежал к машине, завел мотор и открыл дверцу для своей попутчицы.

Галина как села, так и ткнулась в ладошки. Обычно улыбчивая, веселая, порой казавшаяся беспечной, сейчас она была тиха.

Вырулив на дорогу, Витя осторожно проехал по низкому мосту через старицу, по размятой пойме, затем немного прибавил хода, когда вымахнул на гравийку, но и тут вел «газик» так, чтобы не трянуло. Оберегал Галинку, задумавшуюся, притихшую. Хотелось, правда, заговорить с ней, но не находил нужных слов.

Молчал Витя. Не подавала голоса и Галинка. А такой случай!.. Вместе ведь, рядышком едут... Он порой ощущал ее локоток. Господи, какой же это локоток! Кажется, даже через толщу рукава куртки отдает от него теплом. Эх, с ветерком бы погнать машину!

Но нельзя, вдруг при первых же толчках на ухабах спугнешь ее, вдруг она обидится. Что позволил себе Витька, так закурить. Уж очень хотелось затянуться разок-другой, чтобы унять волнение. И в тот самый момент, когда он поднес к сигарете зажженную спичку, Галинка подняла голову.

— Где мы едем? Ой, половины еще не проехали... — и усмехнулась: — Хрусталь бы тебе возить, Витя.

Он погасил спичку, смешался.

— Так ведь вы... Как же?..

— Заботливый...

— Такая работа наша, — ответил он, глуповато ухмыльнувшись, тут же досадуя на себя за то, что не умеет держаться с этой девчонкой. — Вообще-то, — поправился он, — я хочу оставить «газик». Какая это работа — быть извозчиком?.. Попрошусь на грузовую, и — в лес.

— В лес? И не побойтесь? — подковырнула она.

— А чего бояться? — со всей серьезностью ответил Витька, не обратив внимания на эту подковырку. — Потяжелше. Зато больше пользы делу. Там кубометры. Можно прямиком, минуя сплав, везти хоть на городскую мебельную, хоть к строителям. Пожалуйста, везде лесу рады.

— Выходит, у меня последние деньки наступили? Прощай, «газик», — да?

— Будут возить другие. Вам-то не все ли равно?

Как-то резковато ответил, о чем пожалел. А Галинка опять опустила голову в поднятые ладошки. Ясно: грустно было ей и вовсе не интересно сидеть тут рядом с ним, таким неловким. И сетовал, сетовал Витька на себя.

С шоферней, со свойскими ребятами он держался как надо, а с этой приезжей не может — смущается, говорит невесть что. Скорей бы уж поселок. Нечего и осторожничать: действительно, не хрусталь везет, не разобьется. И он нажал на педали. «Газик» рванулся как оглашенный, разбрызгивая по сторонам грязь, громко урча.

— Наконец-то! — воскликнула Галинка, вздрогнув от толчков.

— Тогда держитесь! Могу еще поднажать, — осмелел Витька.

— Гоните!

Она вскинула голову, встрепенулась вся. Чувство удачества, необыкновенной прыти овладело ею.

Только при въезде в поселок Мальцев сбавил ход. Остановив машину у крыльца маленького бревенчатого дома, в котором квартировала Галинка, он все же не сразу открыл свою и ее дверцы: так вдруг захотелось еще хоть несколько минут побыть с нею, может, и правда — в последний раз. Она сделала движение к выходу, но Витя остановил:

— Погодите немножко.

— Зачем же?

— Так... просто... То есть... нет. Хочу спросить. Не знаю только...

— Витя, не тяни!.. О чем?

Он мялся. Спросить прямо о ее чувствах к Васюкову? Но это невозможно. Бестактно. Гадко даже. Как быть?

Галинка нетерпеливо пожимала своими узенькими плечами. Молчать Витьке дальше было нельзя. Ничего, он начнет с ее чтения. Да, с «Демона».

— Хорошо вы рассказывали.

— Спасибо за похвалу! — Она кивнула головой. — Но откуда же узнали? В общежитие ведь не заходили...

— Я там у дверей стоял. Слушал. Видел, как и сплавщики слушали. Устали после тяжелой работы, а вот... Видел, как вы и на двери взглянули... Все видел, все слышал... — Витька передохнул. — Демон и любовь. Так клялся, ну прямо в дрожь... «В любви, как в злобе, верь, Тамара, я неизменен и велик. Тебя я, вольный сын эфира...» И дальше...

— ... «возьму в надзвездные края; и будешь ты царицей мира, подруга первая моя...»

— Сильно! Но «в любви, как в злобе...» Возьмет ли в «надзвездные»? О демоны, красавчики!..

— Витя, ты философствуешь. А мне пора. До свидания.

Она открыла дверцу и выпрыгнула из «газика». Вышел и он. Пока Галинка оглаживала помятую куртку, Витя смотрел на нахмурившееся небо.

— Кажется, соберется дождь. Но все равно надо ехать. — Потолкал ногами колеса. — Надо.

— Опять? Куда? — на секундочку обернулась к нему Галинка.

— Так в район за техноруком, туда он уехал. Застрял... А технари не любят долго ждать...

В ответе фар она увидела, как Витино лицо покраснело, покраснело до того, что веснушки, казалось, вот-вот вспыхнут.

## II

Ночью Галинке не спалось. Забудется на несколько минут и опять откроет глаза. Все ей чудилось, что в окно с улицы кто-то тихонько стучит, как бы зовет ее. Владлен? Но он же, наверное, еще не приехал. Да и зачем ему вызывать ее так поздно? Галинка подходила на цыпочках к окну, вглядывалась в темноту. Никого.

Но постукивание продолжалось. «Господи, да это же дождь! — догадалась она. — Спать, спать надо». И все же не спалось. Растревожилась. Хотя вроде бы и причин не было. Владлен? Ну приедет же он.

Вспомнила, что надо еще написать письмо маме в город. Небось волнуется. А и надо-то маме всего два слова: жива, здорова. Мама у Галинки пенсионерка. Теперь она без нее одна-одинешенька. Письма только и успокаивают. А приехать, пуститься в такую дорогу без провоза того Галинка побаивается.

Из всех родных у Галинки осталась только мама. Владлену лучше: у него, кроме матери, жив отец, который занимает какую-то большую должность в городе. Как-то Владлен сказал, что и сам он не век будет вековать на дальней сплавной реке, где, кстати, и сплав скоро прекратится — экологи требуют дать реке отдых. Что ж, он может, он своего добьется.

А под утро Галинка почему-то вспомнила Витю. Тот тоже, наверное, не спал. Из-за поездов. Чудной все-таки он. Как вчера заикался, когда она сказала, что хрусталь бы ему возить, и как потом погнал свой «газик». Здешний он или тоже приезжий и тоже одинокий? Хотя, остановила себя Галинка, что ей-то до Вити? Чудной какой-то... Стеснительный.

В то утро за Галинкой не заехала машина — угнал ее начальник сплава участка, добиралась на попутной. Как и рассчитывала Галинка, Владлен был на месте. Встретил ее с обычной громкой восторженностью, и это ее обрадовало.

Весь день она провела на реке, пополняя свой блокнот записями, наблюдениями. День был холодный, дождливый, дул сильный ветер, река бурлила. Но она до конца выстояла на стане, видя, с какой напряженностью работали сплавщики. Завтра Галинка будет писать первую заметку в газету о них, мужественных людях.

Не заметила Галина, как и вечер подкрался. Засобиралась домой. Но Владлен заремел: нет, теперь уж не отпущу. Поздно, мол, да и машины нет.

— Подожду попутку.

— А если не дождешься? Ночуешь здесь, у меня!

— Нет, нет! Не могу, — потупилась девушка.

В ее глазах Владлен прочитал чувство стеснительности, испуга. Нахмурился, закусив густые усы. Потом кивнул на лодку.

— Садись. Сам перевезу через реку.

... Темень. Ничего не видно и ничего не слышно, кроме шума реки. И вдруг, когда лодка оказалась на середине реки, донесся предостерегающий крик: «Держитесь левее! Ле-ве-е!..»

Кто кричал — неизвестно. Да тогда и гадать было некому. Если бы Владлен не успел повернуть лодку, она неминуемо напоролась бы

на лесины, вырванные, вероятно, из запани и быстро гонимые течением. Что больше всего запомнилось Галинке, так это то, как она впиалась тонкими пальцами в борта вздымавшейся на крутых волнах лодки. К счастью, все обошлось.

... И в другой раз Витя Мальцев не мог захватить за ней. Ожидались работники автоинспекции для техосмотра машин. Весь замазанный и закопченный, носился он в своей брезентовой куртке и резиновых сапогах по гаражу в поисках то одного, то другого. Хотя и ухаживал он за «газиком», но постоянные поездки изнашивали машину, требовалась замена некоторых деталей, а попробуй-ка найди теперь их... Нервничал, ох нервничал Витька.

Дни шли за днями. Река тем временем разливалась все шире и шире — пошла верховая вода из лесных урочищ. Затопило подъезды к запани, к стану, где скапливалась древесина для формирования в плоты. Первые готовые плоты можно было бы уже отправлять, если бы не бушевала широко разлившаяся река. В одну из ночей снесло мост через старицу, и стан оказался как бы отрезанным.

Галинке, как и некоторым рабочим, что жили в поселке, теперь приходилось перебираться через старицу сюда только на лодке. На берегу в наскоро сколоченной дощатой будке дежурил перевозчик, седой дед, всегда встречавший ее с оговоркой:

— Не боисси? Ну дак садись, переброшу...

Он прибыл на перевоз тоже из поселка, где жил неподалеку от дома, где квартировала Галина. Знал всех жителей наперечет. Иногда справлялся у нее, почему не видно Витюхи Мальцева. Галя отвечала что-то про техосмотр.

— Хм, осмотр, — недоверчиво повторял дед. — Ладно ли у него с начальством?..

Последние дни она и с Владленом виделась редко, зачастил в район. «Дела, дела...» — отвечал ей Владлен при встречах и кивал на скопище леса, на тысячи кубометров древесины, поднятых большой водой: вот, мол, за все он в ответе.

### III

После техосмотра Витя Мальцев передал машину другому шоферу. Правда, по просьбе новенького пришлось съездить еще раз в район за Васюковым. Поездка оказалась нервная. Приехал Витька в городок под утро, тотчас постучал в боковушку сплавконторы, где обычно ночевали приезжавшие с участков. Вышла уборщица, ухмыльнулась.

— Для молодых да ловких есть и получше ночлег.

В общем, послала на квартиру к одной конторской учечнице. Витя разыскал эту квартиру, но войти постеснялся, стал ждать на улице. Долгонько ждал, стало уже светать. Никого! Уж не подшутила ли уборщица? На всякий случай погудел. Вскоре открылась калитка. Красный как рак выскочил Васюков и набросился на Мальцева: что, дескать, вылупил, разорался на всю улицу?

Витя почувствовал, как у него от такого крика загло лицо. В сердцах бросил:

— Ночуете-то где...

— Что — «ночуете»?.. Я, может, сведения брал... — громыхал Васюков, не подобрал рейсы в спешке более убедительной отговорки. — И вообще, какое тебе дело до меня? По какому праву приехал? Ты же уволен, уволен!

Витька не стал объяснять, что приехал по просьбе новичка. Решил не подводить доверчивого парня.

Но теперь все кончено! Прощай, красавчик, любитель «ночных свиданий»!

... Витя Мальцев поступил на лесопункт, получил грузовую машину. Дальние тяжелые рейсы не пугали его. Настоящая работа! Вот только встретит ли он теперь Галинку? Неужели не увидит ему больше эти синие глаза?..

Когда Витя выезжал со своим грузом на гравийку, он непременно останавливался у развилки, откуда не так уж далеко было до реки, до сплавного стана. Вспоминал знакомых сплавщиков, безотказных тружеников. Где-то там, наверное, и она, Галинка. Наступит перерыв, и станет она читать сплавщикам газету, где ее заметки, статьи, будет снова расспрашивать о делах, заботах... Потом побежит к лодке — прыткая, веселая. Провожает ли ее теперь Васюков?

Ох, Васюков! Витя с грохотом хлопал дверцей кабины и гнал свою машину дальше.

Витькины рейсы были самые точные. Никогда он, несмотря на остановки у развилки, не выбивался из графика. Но однажды...

Возвращаясь из очередного рейса, Мальцев увидел впереди разогнавшийся «газик». Сомнений не было — машина, бывшая когда-то Витькиной. Догнать ее он не мог — слишком тяжелым был груз. Однако, подъезжая к развилке, Мальцев заметил: «газик» на полном ходу остановился, шофер выскочил из кабины, поднял капот и сунулся к мотору.

Витя притормозил.

— Что случилось? Помочь? — крикнул он водителю.

Тот поднял голову, вытирая рукавом куртки пот со лба.

— А, Витек! Ничего, выберусь. За начальником поехал. Надо. Доберутся ли вот только они? Видишь — ветер-то. Река бурлит.

— Кто «они»? — спросил Витя, хотя уже догадывался, что это не иначе как Галинка с Васюковым. И когда шофер подтвердил, что они, мол, когда услышал сочувственное, что-де сапожонки-то у нее махонькие, а там затопило низину, Витя, не раздумывая, вырулил на обочину и кинулся к разливу. Он еще не отдавал себе отчета в том, что предпримет, когда увидит Галинку и Владлена. Бежал, не выбирая пути, по раскисшей грязи. Услышал только вдогонку, чтобы он передал корреспондентке, что к ней мать приехала, ждет. Это еще больше подстегнуло Мальцева.

К низине подбежал запыхавшийся.

Не узнать было старое русло реки, которое еще недавно спокойно лежало в высоких берегах. Теперь все было под водой, незатопленной оставалась только узенькая полоска, отделявшая старицу от разлива.

шегоса поляя. Здесь, на этой черной полоске, он и увидел Галинку с провожатым.

Они стояли озадаченные, не зная, как перебраться к дороге. Заспорили. Как понял Витька, Васюков настаивал вернуться обратно. Галина отрицательно качала головой, указывая на невидимую за разливом дорогу. Он не отпускал Галинку. Переправляться же можно было только вброд. Страшно!

Но до Галинки уже доносились Витины слова о приезде матери. Как зов. Она вырвалась из рук Васюкова, решительно зашагала к разливу и зашлепала по воде. У кромки было неглубоко, хватало ее коротеньких сапожек. Витька тем временем в своих резиновых «вездеходах» шагал навстречу. Это воодушевило Галинку.

Васюков нервничал, привычно покусывая усы: такая упрямая девчонка! Искушается ведь... Впрочем, самому Васюкову ничего не грозило, одет и обут он был хорошо. Злило только, что Галинка не послушалась его. Спыхватится!

А она и вправду чуть не выкупалась. Оступилась и сапогами зачерпнула воды, сразу ознобившей ее. Витька заметил, закричал, чтобы она остановилась, подождала его, ведь впереди лывина. Бросился к ней, но вдруг как бы потерял опору, покачнулся и ухнул, да так глубоко, что вода окатила его с головой. Галинка от испуга даже глаза зажмурила.

Но ничего, отфыркиваясь, Витя выбрался из лывины, опять, как бульдозер, двинулся напролом, только брызги летели во все стороны. Вот уже совсем немного осталось до ожидавшей его Галинки.

— Держись! — кричал ей. — Я сейчас, сейчас!..

Последние усилия. Самые тяжелые, самые болезненные. Как ни старался Мальцев, но холод сковывал его движения, тянула вниз промокшая одежда. А ветер не утихал. Хорошо, что в свисте ветра терялось шумное Витькино дыхание, которое могло бы испугать девушку.

Ну наконец-то добрался! Вот где встретились они, Витька и Галинка. Он подхватил Галинку на руки и понес к дороге, в теплую кабину, понес сквозь разгул стихии, оказавшейся бессильной перед тем, кто может бороться.

---

В этот день Мальцев получил от строгого начальника выговор за опоздание с рейсом. Но парень не огорчился. Более того, выслушал выговор с улыбкой. Ему все еще мерещилось, как изумленно глядела на него Галинка, как, придя в себя в теплой кабине лесовоза, она прелегла дрожащей рукой по его мокрому лицу, нежно погладила веснушки и сказала, что таких золотистых она еще не видела...

Начальник не знал, что к Мальцеву, этому тихому человеку, встретившему с улыбкой выговор, привалило такое счастье.

## ЦЕЛИННЫЙ КОЛОДЕЦ

поэма

Колодцы в Казахстане глубоки,  
А этот был, наверное, бездонным.  
Внутри его еще с зимы висела  
Квадратная большая глыба льда.  
Она образовалась постепенно:  
В морозы, что порой под пятьдесят,  
Озябшие казахи и казашки  
Спешили  
    и расплескивали воду,  
Которая тотчас же намерзала  
На стены сруба.  
    Если по-хозяйски,  
То надо было просто взять топор  
На длинном и надежном топорище  
И в месяц раз хотя бы лед сколоть.  
Ну, а кому охота это делать,  
Когда колодец общий и ничей,  
А бригадир живет в другом ауле?  
Вот и сшибали кромками ведра  
Тот лед, с трудом проталкивая ведра  
Через ледовый узкий коридор,  
Кляня при этом все, что есть на свете,  
Но больше всех морозы и начальство,  
Которые всегда всему виной.  
И мялись ведра. И ломались дужки.  
И обрывались ржавые троса.  
И ведра долго-долго громыхали:  
Летя от стенки к стенке, вниз, к воде,  
Пока ее не «целовали» днищем.  
При этом звуке вздрагивал невольно  
Владелец злополучного ведра  
И шел домой, теперь уже поверив,  
Что вот и все: ведру пришел конец,  
И утешаясь тем, чем все соседи:  
Не я, мол, первый и не я — последний...

Мы в том ауле были в первый раз  
В начальный год целинной эпопеи,  
И дело наше было непростое:  
На весь совхоз наш баню истопить.  
Мы понимали, что совсем недаром  
Нас пригласил товарищ Гайдуков,  
Директор наш, и лично дал задание —  
Устроить баню: позарез нужна.  
Четыреста обветренных, чумазных,  
Горластых ленинградцев и кубанцев,  
Имея в сутки литр воды на брата,



Работая подряд по две-три смены  
В жару, в пыли, — они имели право  
На эту роскошь: на простую баню  
С горячей и с холодной водой,  
К тому же больше месяца не мылись...  
Мы были неразлучными друзьями:  
Морозов Виктор, я и Африкан  
Малухин —

Витька, я и Марек —  
Все трое—ленинградцы.

О как часто  
И в те года, и много лет спустя  
Мне говорили:  
«Только, ты рехнулся!  
Из Ленинграда?

Сам?

По доброй воле?  
Имея постоянную прописку?  
Не может быть!

Наверно, натворил  
Чего-нибудь такого на работе?  
Иль соблазнил трехмесячный оклад,  
Что выдавали в качестве подъемных?  
А может быть, в любви не повезло —  
Невеста, скажем, вышла за другого?  
Отчаянье?

Романтика?

Порыв?

Патриотизм?

Заставили поехать  
Как комсомольца?»  
Что сказать в ответ?  
Скажу одно: я искренне жалею  
Тех, кто стоял тогда в очередях,  
В бесчисленных райкомах комсомола,  
Порой, как я, почти по двое суток,  
И то, за чем стоял, не получил.  
Нас было шесть; три парня, три девчонки  
Из АТС.

А очередь к дверям  
Дзержинского райкома комсомола  
Тянулась со двора

в подъезд,

затем

По длинному, как поезд, коридору  
В конец всего второго этажа.  
А что нам было надо?

Очень мало:

Всего лишь комсомольскую путевку  
На целину, которая тогда  
Была для нас Магниткой, Днепрогэсом,  
Амурским Комсомольском, Братской ГЭС,

А говоря короче — правым флангом,  
Передовой.

Вот в этом вся и соль.

Но — ближе к бане.

От палаток наших

До первого казахского аула  
Езды примерно полтора часа.  
Мы все нашли, что надо: небольшую  
Саманную приземистую баньку,  
Которая внутри была такой же,  
Как и у нас, в России, в деревнях:  
Предбанник, согреваемый лишь паром,  
Прорвавшимся случайно из парилки  
При входе и при выходе кого-то,  
У стенки — деревянная скамья,  
Под ней — дрова,

над ней — гвоздей с десяток:

Одежду вешать, а в стене — оконце,  
Прикрытое дырявым зипуном, —  
При всем желанье тут не засидишься.  
В парилке справа — кадка или чан  
И прочая нехитрая посуда,  
А слева — печь, что каменкой зовется,  
Не потому, что сложена из камня,  
Нет, сложена она из кирпича,  
А камни сверху, горкой, вроде крыши,  
Истопишь печь, плеснешь на эти камни  
Ковша два-три, не более, воды  
И — лучшая проверка силы духа:  
Один, кряхтя, залезет на полок  
И веником начнет себя волтузить,  
Другой — присядет или убежит  
В предбанник.

Я — из первых

И, признаюсь, не очень доверяю  
Тем из друзей, кто вынести не в силах  
Уже такой ничтожной перегрузки.  
Ну разве их, таких, на подвиг хватит?  
А подвиг — это, говоря абстрактно,  
Всего лишь только перегрузка духа.  
Стой, критик, стой! Я допускаю случай,  
Когда во всем умеренный товарищ,  
Любитель не парной, а, скажем, ванной,  
Однажды вдруг преподнесет нам подвиг.  
Но... Либо в этом ты ему поможешь:  
Подашь красиво, как иную книгу,  
Иль на него глядели сотни глаз,  
Иль просто он не знал, чем пахнет дело.  
Ну, а по мне, единственно достоин  
Всеобщего людского уваженья  
Лишь подвиг,  
Что свершен на благо людям  
Осознанно. Иных не признаю.

Иные все — случайность или фарс.

Случилось так, что лопнул ржавый трос.  
Бадья с водой, конечно, утонула,  
Воды для бани нет и полцистерны,  
И ведер у казахов тоже нет.  
Что было делать?

Мы решили так:

Кому-то, значит, нужно лезть в колодец.  
Мы выбрали полено поровней  
И, трос к нему надежно привязав,  
По очереди «кресло» испытали,  
И каждый отходил и говорил:  
«Качели да и только! Можно лезть».  
— А может, обойдемся?

— Что ты, Марек?

Срамиться перед всеми — ну уж дудки! —  
Воскликнул Виктор.

И тогда я понял,  
Что вот сейчас он сядет на «качели»  
И, улыбаясь, скажет:

«Опускайте!

Ну что стоите?»

Виктор не успел.

— Чего тут думать, — я сказал  
спокойно, —

Полезу я: давно хочу проверить,  
Действительно ли видно из колодца  
Дневные звезды. Или только врут?

Мы смастерили «кошку». Это просто:  
Достаточно к веревке привязать  
Железный прут, согнув его, как якорь...  
Чтоб не крутиться на тросу, я тихо  
Перебирал ногами по стене,  
Как будто шел ступенька за ступенькой  
В земную глубь. И это походило  
На то, как от скалы к скале спускались  
По кругам ада Данте и Виргилий.  
Одну из стен я чувствовал спиной,  
Другие — видел. Скользкие, сырые,  
Метровые березовые бревна  
Так выгесаны были топором,  
Что мог бы позавидовать рубанок.  
Их шлифовали, и полировали,  
И красили темно-зеленым цветом,  
И черным лаком глянец наводили  
Не мастера, а Время и Вода.  
На них росли колонии грибов,  
Похожие узором на рисунки  
Художника по имени Мороз  
На стеклах окон у плохих хозяев.  
И слабые цветные блики света  
На них плясали, будто наверху

Сияла и покачивалась люстра.  
О что я вижу!

Прямо надо мной —  
Дневные звезды! Яркие, большие,  
Расцветенные, как в калейдоскопе,  
Они летят ко мне — в лицо,  
в глаза!

Я догадался: это было Солнце.  
Оно прошло сквозь ледяную призму  
И раздробилось на себе подобных,  
И каждое переливалось всеми  
Лучами спектра.

А еще ко мне  
Иные сверху устремлялись звезды —  
Тревожные глаза моих друзей.  
— Ну как, не стра-а-шно?  
— Не-е-ет!

А было страшно  
Висеть на ржавом тоненьком тросу  
И тихо падать.  
Позже я не раз  
Висел на тонких парашютных стропах  
Не за десятки, а за сотни метров  
От самой из надежнейших опор —  
Земной поверхности —

и падал на нее  
Во много раз быстрее, чем в тот колодец:  
Со скоростью четыре с лишним метра  
В одну секунду.

Да еще казалось,  
Что слишком тихо.

О, теперь я знаю:  
Лететь с земли куда страшней, чем с неба!  
На что бы встать?

Оглядываю стены.  
Здесь, у воды, они еще сырей,  
Еще черней и глаже.

И не видно  
На них ни мха, ни плесени грибной,  
Ни пятен света: все осталось выше.  
Мои глаза освоились настолько,  
Что видят лучше даже, чем вверху,  
Хоть здесь темней.

Я вижу, как сочится  
С той стороны березового сруба  
Местах в пяти или в шести вода,  
Стекая вниз тихохонько, не капнув,  
Как сок по коже раненой березы.  
На что же встать?

Ага, вот и ступенька!  
Едва ли не в полметра от воды  
В одной из стен бревно, видать, подгнило

И, слабое, внутрь сруба подалось.  
Я пробую ногами этот выступ —  
Упор что надо!  
— Эй! — кричу друзьям, —  
Ослабьте трос!

И вот мои «качели»  
Уже в воде.  
Отвязано полено —  
Пусть плавает. А мне пора за дело.  
Сначала «кошкой» измеряю дно.  
Оно теперь не так уж и далеко —  
Два с половиной метра.  
Где ж бадья?  
Ага, попалась! Ну-ка, ну-ка...  
Ух ты?  
Вместо бадьи — железное ведро!  
Ну что ж — сгодится.  
— Эй, а ну тяните!

И вот уже ведро гремит о сруб,  
А «кошка» снова лезет за добычей  
На дно колодца.  
Ба! Еще ведро!  
Да не одно, а два — сцепились дужки.  
Видать, их прорва там лежит на дне.  
— Еще тяните!

И ребята тянут  
И, вытянув, хохочут до упаду.  
И я, конечно, тоже хохочу.  
Мы наловили ведер штук пятнадцать  
И нашу, разумеется, бадью  
Достали тоже.

А внизу, в колодце  
(Я все еще об этом не сказал),  
Такой был холод, что сводило ноги,  
Сводило и, в конце концов, свело.  
Переступить бы — негде.

До полена  
Не дотянуться — тотчас упадешь.  
— Ребя-я-ята! Бра-а-атцы!..

— Толик! Слушай, Толик!  
Держись! Я лезу,—сверху донеслось.  
Спускался Марек.

Виктор был сильнее,  
Но как же он один удержит трос,  
Когда вдвоем они едва сдержали?  
Об этом — позже, ведь в колодце —  
Марек!  
В таком же «кресле», только не верхом,  
А стоя на полене, чтобы легче  
Нам разминуться.

Он уж надо мной.

Чуть отвожу его рукой в сторону,  
И вот уже мы рядом, я — спасен!  
Еще секунда — и качаюсь в «кресле».  
— Мне легче, Марек...  
— Вот и хорошо,  
Теперь — подъем.  
— А ты?  
— А я останусь,  
Мне тоже ведь охота увидеть  
Дневные звезды...  
Верьте: он увидит!..  
Мой взлет был тише моего падения,  
Но, наконец, я снова на Земле!  
Лежу.

Встаю.

Иду и вижу Витьку,  
И он меня целует, чертыхаясь  
И улыбаясь, а лицо у Витьки  
Счастливое, горячее, в поту.  
А руки, руки...  
— Витька, что с руками?  
О боже! Руки Витькины — в крови...  
А он смеется:  
— Трос, — кричит, — проклятый!  
Брезент и тот не выдержал — сгорел.  
Жаль рукавиц,  
а руки — что! Отмою...



*Олег Каликин*

## КАТЕР

По весне прислали в рыбколхоз катер. Первый за всю полувековую жизнь артели. Капитаном поставили Генку Буторина: в армии на торпедном служил. Приволокли катер со станции на тракторных санях, спустили на воду; председатель дал Генке неделю освоить и обкатать новую технику.

Всю неделю Генка ходил шальной от счастья. Наскучило ему со стариками невод тянуть да крылены проверять. А катер — своя родная стихия, любовь и радость.

— Посудина — что надо! — хвастал он рыбакам. — Мотор — сто семьдесят сил! Мощь! Водометный! Толкается и управляется струей! Сплошь автоматика! Нечего делать!

С рассвета дотемна с инструкцией в зубах елозил Генка по катеру, блестящему свежей краской, во все винтики-гаечки вникал, до всего своим умом доходил. Случалось, и кой-какие недоделки, недоглядки, на заводе допущенные, исправлял: где контакты поплотнее прижмет, чтобы не отошли невзначай, где тросики управления подтянет, где смазки добавит.

А то просто откроет люк в машинное отделение, встанет над запущенным мотором и любит его серебристым сверканием, слушает ровное биение, звенящий посвист двигателя, жадно вбирает сладковатый запах нагретого масла, солярки. Нет для него на свете милее и роднее этого запаха.

В первые дни народу на катере перебивало уйма. Считай, вся Рыбная слобода поглазеть приходила. Да еще городские. Сам первый секретарь райкома партии Лаврентьев Иван Васильевич приезжал на черной «Волге».

Вместе с председателем прокатил их Генка по озеру. Лихо, с ветерком прокатил. Доволен секретарь остался, на прощанье руку Генке крепко-крепко стиснул.

И от своих работяг-рыбаков Генке теперь первому почет и уважение. Отбою нет. Просят, кланяются:

— Генаша, ты меня на пляж, на пески, как-нибудь подбрось всей семейкой: у тещи ноги что-то отказали!

— Служба морская! Мне дом-то из-за озера сплывишь? Купил я там по дешевке... На дрова сгодится... Да еще на баню выберу...

Правится домой Генка веселый и гордый. Запахи весенние ловит... Запахи разные, переменчивые в родной Рыбной слободе. Особенно в ветер. Да если он крутит... Случается такое, когда туча из-за озера находит. Озеро ее не пускает, на части рвет... Вот она и мечется из стороны в сторону, ищет обходного пути... И ветер разгульный поминутно меняется... То с озера рванет и окропит лицо водяной пылью, слизнет пенные гребни с волн-беляков. От этой пыли свежестью пахнет, волнами и камышом... То с холма Балчуга поворотит, и в лицо сочностью молодой травы повеет... То в сады и палисадники заскочит, облачко других запахов прихватит. Обволочет, закружит голову настоем цветущей сирени. Тонкий, нежный запах яблоневого цвета ветер почти весь растеряет по дороге, донесет капельку. Есть и другие запахи в слободе. Подсоленной да подвяленной рыбой тянет с рыббазы, где за вымазанным известкой забором громоздятся горы пустых бочек с ржавыми обручами.

Протарахтит по мостовой телега, груженная двуручными корзинами, прикрытыми рогожинами в перламутровых блестках чешуи, — свежерыбным духом наполнится улица: нынешний улов в ларек повезли. У ларька, что рядом с церковью, очередь из женщин и ребятшек протянулась.

Недолго продержится в воздухе рыбный дух. Перебьет его густой и едкий запах навоза: рыбахи начали месить навоз да огуречные лунки ладить.

Хорошо, утешно Генке по вечерам домой правиться... Только чем ближе к своему дому подходит, тем ноги неохотней переставляются. Прежде домой из-за одной тещи идти не хотелось — теперь и Танька взъелась... И все из-за катера... Невзлюбила его... Лютой ненавистью к нему пропиталась... Одной ненавистью с маткой своей — Пелагеей Христофоровной... Вначале виду не подавала, что катер ей поперек горла стал. Только каменела лицом, когда он речь о нем заводил.

А потом прорвало...

Похвастал Генка, какой модный радиоприемник установлен на катере — все волны берет: заманивал Таньку к себе.

А теща возьми да и съязви:

— А на кой ляд вам этот катер в колхозе? Музыка слушать?

— Как на кой? — вскинулась Танька. — А баб катать! На зеленую с начальством ездить! Нешто без музыки можно? Знаю я! Не маленькая!

Генка к жене кинулся — обнимать, целовать принялся.

— Что ты! Что ты, дуручка моя! Какие бабы? Катер нам на всякий пожарный случай нужен! Рыбаков, скажем, в бурю таскать... Начальство на промысел подбросить...

Татьяна и слушать не захотела.

— Еще бы не дуручка! Вот за дуручку меня и считаешь! Поди другую сыщи! Не дуручку! Я не держу! Только на носу заруби: или я, или твой катер... Выбирай, с кем лучше... Иначе жизни у нас не будет... Я тебе говорю!

Глянул Генка в помутневшие глаза жены и попробовал с другого бока поддыхать:

— А ты подумай, в материальном положении на катере лучше работать ... Не сравнишь! Круглый год по сто сорок платить положили... А в рыбаках то густо, то пусто. Весной и по шестьдесят рубчиков выходило... А здесь как на производстве... Ставка постоянная.

— Накругло у тебя в месяц по сто семьдесят рубчиков вышло в этот год! — отрезала жена.

— Все подсчитано! Нечего делать! — вздохнул Генка и отправился спать на сеновал.

Жизнь у них с этого дня пошла безрадостная. Мужа к себе Татьяна близко не подпускала. Ко всякому пустяку цеплялась, беспрестанно корила за безделье и леность...

Сегодня после работы стали лунки ладить в огуречнике. Перед этим жердей березовых Генка навозил, восстановил начисто срезанный льдом настил над водой. На него черной озерной земли — лывы — накидал. Тоже сам привез на лодке. А лунки лепить он не умел и ушел домой.

Вдруг Татьяна влетела разъяренная, тещей небось натравленная:

— Не стыдно тебе, лодырь несчастный! Мать-старуха спину гнет! Из последних сил выбивается! Лунки лепит, а он себе прохлаждается. Замучился, беденький, со своим катером! Глядите-ка! Худо ли ему за бабьими спинами жить! Не скажи! Ломят другие, и больно хорошо!



Генка подивился, откуда у его жены, молодой женщины, такие обидные, вьедливые слова берутся... Ей ничего не сказал и отправился в огуречник. Такую лунку-уродину сляпал, что теща в ужас пришла:

— Господи! Отсечь бы эти руки непутевые... Нешто это лунка?

— Огурцы все равно вырастут! Им наплевать на красоту! — буркнул Генка.

— Ко-о-онешно! Вырастут! У них глаз нету... А что люди добрые скажут? И не скажут, так подумают! — пела свое теща.

— Не для людей делаем — для себя! — крикнул Генка.

— Ну нет, милый зятек! И для себя надо все уметь делать! — обрезала теща и руками принялась разорять лунку.

А Танька коршуном налетела, ногами мять-топтать принялась. Светлые глаза ее сузились, затенились бровями, темно сверкнули гневом. Губы кривились, шептали обидное:

— Не можешь — не совался бы... Без тебя управимся, капитан с разбитого корыта!

А Генка залобовался женой. Танька и в гневе была хороша и желанна. Сильные ноги с бронзовыми от раннего загара икрами, сунутые в резиновые сапоги, упруго пританцовывали, спина красиво прогнулась, высокая грудь подрагивала, припухло круглый животик приметно натягивал сарафан.

Засмеялся Генка, развел руки пошире и двинулся к жене.

— Брось ворчать! Пойдем, я тебя на своем катере промчу... Всю дурь ветром изгонит! Черт с ними, с этими лунками! Проживем без огурцов!

— Катай уж других! Уйди к лешему! — Танька смазала мужа по щеке рукой в навозе.

В глазах у Генки разноцветные круги заплывали. Развернулся он и зашагал из огуречника. Шел слободой, и один запах у него в носу стоял — запах навоза.

Безлюдно было, тихо на улицах. Только вырывался на мгновение откуда-то многоголосый шум и тут же стихал. Вроде как радио с футбольным репортажем включает и выключает.

Генка догадался: это дверь рыбнослободской кандейки, что у переезда, распахируется, выпускает «сытых», суббота сегодня.

Туда, к кандейке, понесли его ноги.

Она стояла на бугорке по-над берегом.

Начал было Генка к ней подниматься, да глянул на свой катер. Сиротливо прижимался он к боку горкомхозовской пристани, жалостливо смотрел на Генку глазищами-иллюминаторами, словно понимал, как ему сейчас тяжело, и, желая утешить, манил к себе, в уютную и покойную каюту. Плонул Генка в сторону кандейки и повернул к своему верному другу, из-за которого приходилось так много терпеть в семейной жизни...

Прошелся редкой аллеей из молодых ветел, посаженных по обеим сторонам дамбы, ступил на дебаркадер, сваренный из железных понтонов, и перемахнул на свой катер. Нашарил в кармане ключ от рубки и открыл дверцу. По лестнице спустился вниз.

На стенке висел бушлат, что из армии привез, — теперь он во всем флотском ходил. Ткнулся Генка лицом в мягкое родное сукно и закрыл глаза. Плакать ему захотелось: не поняли его душу. Самые близкие люди не поняли. Погоревал Генка и прилег на боковое сиденье, пристроив бушлат под голову.

Чмокала в борт сонная волна. Слабо покачивался катер, баюкал Генку. Тихо поскрипывала веревочная чалка, пела ему колыбельную...

Генка не заметил, как задремал...

Проснулся рано. Солнце только-только из-за холма Балчуга высунулось, заглянуло в озеро. А оно, тихое и паркое, не шелохнулось... Нежилось в теплых лучах. У камышей рыба плескалась.

Вышел Генка на палубу в одних плавках. Зарядку сделал. А потом перемахнул с катера на загудевший под ногами понтон пристани, разбежался и кинулся в воду вниз головой. В стылый и вязкий ил по плечи вонзился, вынырнул, отплевался и на глубину саженками замахал. И так бодро, свежо себя почувствовал, что петь захотелось. Вспомнил вчерашнюю ссору с Танькой, и такой глупой показалась история с лункой-уродиной, что рассмеялся и повернул к берегу.

Молодые плотные камыши против солнца казались черными. А зеркальный плес польхал в глаза отраженными лучами, да так огнисто, слепко, что Генка зажмурился, сунул лицо в воду и некоторое время плыл так.

Потом вскинул голову и обомлел: на пристани стояла девушка и смотрела на него. Не Танька — это он сразу понял, а разглядеть хорошенько не мог: солнце глазам мешало.

В тень от понтона вплыл — снизу вверх на девушку глянул.

Она от края понтона отступила, юбочку к коленям прижала, а сама шейку тянет, на Генку заглядывает, улыбается приветливо.

— Хорошо? — спросила громко, и чистый звонкий голос далеко поплыл над тихой водою.

— Сила! — кивнул Генка и пустил изо рта фонтанчик. Окунулся с головой, а всплывая, пригладил волосы. Толкнулся ногами в понтон и поплыл к своему катеру.

Каблучки в его сторону застучали, и Генке радостно сделалось. Ухватился за борт и на палубу вымахнул. Попрыгал, капли стряхивая, и на пристань одним глазом покосился.

Девушка стояла против катера, смотрела на Генку восторженно и завистливо.

Генка спустился в рубку, сорвал с гвоздя полотенце и принялся растираться.

Девушка не уходила от катера, и Генка рассматривал ее в иллюминатор.

Была она юная, тонкая, с густыми, измятыми за ночь волосами и бойкими зеленоватыми глазами, не отпускаявшими Генку.

Он натянул тельняшку, надернул широкие флотские клеши и вышел из рубки. Загремел ведром на веревке, ловко метнул за борт, поддел полное воды, выбрал веревку и окатил палубу. Еще зачерпнул...

А потом взялся за швабру и принялся с азартом драить свою посудину.

— Скажите, а давно здесь этот катер? — раздался за спиной у него голосок. — Я прошлый год его не видела...

Генка разогнул спину, приставил к ноге швабру.

— Недавно...

— Правда? Я так и думала. Совсем новенький. И какой хорошенький! Вы его любите? — девушка не сводила с Генки ласковых пытливых глаз.

— Хм, — застеснялся он. Глаза девушки будто в душу ему глянули.

— А вы здесь тоже недавно? — продолжала она расспрос.

— Без году неделя... — нахмурился Генка.

— Прямо из армии? С флота?

— Ага! Отстудова! — кивнул Генка, ему не понравилась прилипчивость незнакомки.

— Вы сегодня на катере у себя ночевали? — не уловила она издевки в его голосе.

— На нем! Нечего делать! — подтвердил Генка и взялся за швабру.

— А я в ожидалке! Совсем рядом! Надо же так! Вчера на катер опоздала... На этот! — девушка кивнула в сторону горкомхозовского переправочного катера «Аскольд», занимавшего место по центру причала. Генка не отозвался. Шаркала, хлесталась по палубе швабры. Булькала в камышах рыба.

— Как здорово вы устроились! На все лето? — снова полюбопытствовала девушка.

— На все! И даже больше! — буркнул Генка.

— А чей это катер?

— Рыбколхозовский!

— А вы меня не подбросите под тот берег? Хорошо бы прямо под Сынково по Вексе! — Девушка прищурила на Генку глаза, и они стали игриво-просительными. — «Аскольд» к нам не ходит... На Вексе, говорят, заповедник сделали... А от Толтунова мне ой сколько еще пеша тащиться!.. Хорошо бы, с почтой уехать... Да ту придется ждать до полудни...

— А что? Могу и под Сынково подбросить! Нечего делать! Мне пути нигде не заказаны... Потому рыбколхоз! — возгордился Генка.

— Ой, как здорово! — захлопала в ладоши девушка. — Я сейчас вещички принесу...

Она прискоком кинулась к ожидалке, сколоченной из досок на берегу. Генка заулыбался и покрутил головой. Прибрал ведро и швабру. Глянул на пристань.

Девушка, скособочившись на правую сторону, тащила чемоданчик. К ручке был привязан красно-синий резиновый мячик в сеточке.

Генка ухватился за кормовую чалку, потянул на себя, упершись ногой в кнехт. Чалка и свая заскрипели... Корма подалась, подвалила вплотную к причалу.

Генка принял из рук девушки чемодан — он действительно был тяжелый, словно камнями набитый, — и провел ее в рубку. Девушка осмотрелась и воскликнула:

— Господи! Как хорошо тут у тебя!

Она шагнула к диванчику, на котором спал Генка, и подавила обшивку пальцем.

— Ой, как мягко! Здоровски спать было!

— Нечего делать! — кивнул Генка. Он поставил чемодан к стенке, рядом с железной печкой. Увидев ее, девушка опять всплеснула руками:

— Ой, и печка есть! Здесь жить можно!

— Оставайся, не ездь в свое Сынковое, — пошутил Генка.

Девушка сверкнула на него зелеными глазами, отчаянно тряхнула головой:

— А что? И осталась бы, если не одно дело! Я люблю морячков!

Генка отвернулся и полез на палубу отдавать чалку. Когда вернулся, девушка восседала в кресле рядом с капитанским. Встретила Генку шаловливой улыбкой и резко крутанулась на вращающемся сиденье.

Длинные красивые волосы взлетели с плеч и описали круг по воздуху. Легкая юбочка, открыв белую нежность ног, отпахнулась очень высоко. Девушка не оправила ее, только взглядом скользнула по коленям и, видно, решила, что так допустимо...

— Да, говоришь, морячков любишь? Где же ты их видела? — Генка встал к штурвалу и включил мотор.

— В Костроме по Волге плавают... Такие, как ты... А больше в кино, — засмеялась девушка и запрокинула голову. Волосы свесились до сиденья.

— Понятно... Нечего делать, — кивнул Генка и покраснел от прилипавших к каждой фразе глупых словечек.

Он, дав тихий ход, крутанул штурвал влево.

Катер медленно отвалил от пристани, обогнул дремавшего «Аскольда», и Генка переключил скорость.

Вода за кормой забурлила, заклокотала, судно дернулось вперед и понеслось по тихой глади. Вспоротая носом катера, она разваливалась по бортам, шипела и пузырилась.

Генка приподнял смотровое стекло. В рубку ворвались шум и плеск, свежий запах воды и растаявшего тумана. Залетали редкие брызги.

— Как хорошо! — Девушка прикрыла глаза, подставила лицо ветру. Ноздри ее жадно вбирали воздух, губы приоткрылись в полуулыбке, обнажив стиснутые зубы. Над виском билась прядка волос.

Генке захотелось нагнуться и поцеловать ее в губы. Он отвернулся и стал смотреть в боковое окно на Рыбную слободу.

Огуречники тянулись сплошь вдоль берега. С озера они были наглухо зашторены серыми, из сухого камыша, матами. В каждом — калитка на озеро. От нее деревянные мостки — воду на полив черпать. У мостков дремали на цепях лодки. Когда волна от катера подбира-

лась к ним, они начинали волноваться, вскидывали носами, дергали цепи, прося, как кони, повода.

Генка отыскал глазами тещину лодку, смолисто-черную, бокастую, на красной крашеной цепи, скользнул взглядом по огуречнику, по белым занавескам в окнах дома и отвернулся: туда его сейчас не тянуло.

Рука крутанула штурвал влево. Генка повел катер в озеро. Плоское, туго натянутое, оно пласталось широко, раздольно.

Девушка открыла глаза, счастливо засмеялась.

— Как чудесно-то, а! Прямо настоящий корабль! И вы капитан!

Она зацепила Генку восторженным взглядом, посмотрела в окно и струсила.

— Ой! Мы не туда едем!.. Понимаю! Вы решили меня покатать по озеру? Спасибо! — Она широко улыбнулась Генке, глаза ее заблестели.

— Можно и покатать! Неча делать! — согласился Генка, подброешил газу и включил радиоприемник, настроенный на волну «Маяка». В лодку ворвался бурный голос певца:

Потолок ледяной,  
Дверь скрипучая...

Девушка запритопывала каблучками, задергала головою, подпевая:

За шершавой стеной  
Тьма колючая...

Генке сделалось весело. Быстро летел навстречу высокий противоположный берег. Ровной гладью стелилось под катер озеро. Генка принялся резко поворачивать штурвал из стороны в сторону. Катер валился с одного бока на другой, срезал носом завитки воды, швырял в окна рубки. Брызги сверкали на солнце, темными крапинами метили Генкину тельняшку и кофточку пассажирки, холодили лицо.

Девушка звонко смеялась, лихо крутилась вместе с креслом, хлестала волосами Генке по плечу.

Он вдруг нагнулся, крепко обхватил ее за плечи и поцеловал в мокрые горячие губы.

Девушка замерла на мгновение, задохнувшись от его внезапного поцелуя, а потом рванулась изо всех сил, приложила ладонь к опаленным губам. Смотрела на Генку загнанно пропаще.

— Сдурел? Что делаешь-то, нахал? Я к жениху еду! Из армии он у меня вышел! Осенью свадьба у нас!

— Да ну? Вот оно что! Ай-яй-яй... Неча делать! Ни за что бы не подумал! — Генка покрутил головой и повернул катер под Сылково. — Ладно... Прости... Не знал я, — сказал он виновато.

— Чего не знал?

— Ну, что у тебя жених! К нему едешь... Уж больно симпатичная! — польстил Генка.

Девушка уступчиво заулыбалась:

— Ладно уж! Прощаю...

Он высадил ее за узкие ольховые мостки под высоким берегом,

молча подал чемодан и остался на палубе. Смотрел, как трудно взбирается она по тропинке в гору. Жалел ее.

Девушка остановилась, поставила чемодан, чтобы сменить руку, и обернулась. Увидела Генку и помахала ему на прощанье.

Он ответил и, веселый, нырнул в рубку. Озеро пролетел и не заметил как. Только у берега сбросил скорость. Катер крался к пристани на самых малых оборотах. Генка вгляделся в одинокую фигуру у перил понтона: мнилось в ней что-то знакомое и близкое.

— Неужто Татьяна? Видно, нигде от нее не скроешься. На земле и на воде отыщет, — шептали сердитые губы, а сердце застучало радостно.

Генка окончательно уверовал, что его поджидает Татьяна, и повернул штурвал чуток влево, делая вид, будто собирается идти на стоянку колхозных неводных лодок.

Татьяна метнулась по понтону за катером, затрепыхала рукой отчаянно, протестуяще.

Генка привернул катер к пристани, и он ткнулся носом в понтон.

Танька поднырнула под перила, скакнула на палубу, ворвалась в рубку, упала перед Генкой на колени, оплела ноги.

— Прости меня, глупую! Невесть чего вчера тебе наговорила! Плюнь, забудь все! От ревности это я... Люблю тебя очень... Даже к катеру твоему ревную...

Генка стиснул зубы, крепился.

— Вчера, как ушел, места себе не находила. Всю ночь не спала... Мучилась... Сейчас побежала к вашим, думала, там ночевал. Говорят, нет. Все у меня внутри оборвалось... Не помню, как и сюда домчалась... Всего, всего надумалось... — Татьяна поймала Генкины руки, ставшие вдруг безвольными, прижала к мокрому от слез лицу, осыпала короткими поцелуями, счастливо зашептала: — А нам теперь только жить да жить... Ребенок у нас скоро будет... Вчера собиралась сказать... Да гляжу, из-за катера не до чего тебе стало... Дума-ла, и ребенка, скажешь, пока не надо... Вот и психанула...

— Дура! Дурочка моя! — Генка опустил на колени и стал целовать жену.

Пол слабо покачивался, катер сносило в озеро, но они не замечали.



\* \* \*

Чародейка зима, чародейка.  
Но обидно: в который уж раз  
У нее прохудилась бадейка.  
Что-то мерзкое каплет на нас.

Что таится в приземистых тучах?  
Что сулит клочковатый туман?  
Описать не сумел бы и Тютчев,  
Хоть не лазил за словом в карман.

Погодите. А стоит ли плакать?  
Сяду на печь, сухарь погрызу.  
Ах, люблю я январскую слякоть!  
Как и майскую, впрочем, грозу.

Потянусь, подавляя зевоту,  
Дерну кошку за жиденький хвост.  
Не пошлет бригадир на работу,  
Сам на печку забрался, прохвост.

Тараканы на тютчевском томе  
Для себя же нарыли могил.  
Хорошо бы и выпить, но в доме  
Ни хрена, кроме грязных чернил.

\* \* \*

Зима. Хорошая погода.  
Сиянье снега. Тишина.  
Я на тебя смотрю полгода  
Все из окна да из окна.  
Влюблен без памяти? Едва ли,  
Никто мне повод не давал.  
А на окне цветы завяли —  
Давно я их не поливал.  
Не скажут мертвые герани,  
Как душу грешную спасти.  
Моя зима не за горами...  
...Твоей весне еще цвести.

\* \* \*

Я на хуторе живу,  
Наречен бездельником,  
Не завел себе жену,  
Зарастаю ельником.

Кроме галок да сорок,  
Никого полмесяца  
Не привлек мой хуторок,  
В пору хоть повеситься.

Жду гостей, пеку блины,  
Крашу стулья венские.  
Навестить меня должны  
Крали деревенские.

Приползла одна змея,  
Не сердитесь, девочки,

Нужен ей совсем не я,  
А мои поделочки.

Показал какой-то фрукт  
Их по телевизору.  
Я с порога: хрюк да хрюк,  
Приходи по вызову.

Не судьба так не судьба  
Вырыть в роще келию.  
Проще вызвать на себя  
Вражью артиллерию.

Ангел мой ни в зуб ногой,  
Только греет задницу.  
А на кой он мне такой?  
Прибегайте в пятницу.

\* \* \*

Ни грусти, ни скорби, ни боли.  
Как лебеди, руки белы.  
Пора переклеить обои,  
Пора перекрасить полы.

К окошку диван передвину.  
В прихожей устрою сквозняк.

Совсем эту «гавань» покину,  
Смешной сухопутный моряк.

Решительно выйду из дома  
В открытое настезь окно.  
Услышу: «Куда ты, Ерема?»  
Не знаю, но мне все равно.

\* \* \*

Н.Голоднову

Где ваш походный саквояж?  
Он собран? Вы в пути, в дороге?  
Лишь укажите точно сроки,  
Открытым будет мой шалап.

Душа тоскует без гостей.  
Нет у меня папаши ближе.  
О чем вздыхает клоун рыжий  
В кругу русалок да чертей?

Уже разлив речной широк.  
Напишем про него, напишем  
И свежим воздухом подышим,  
Когда подует ветерок.

О, сколько же за мной грехов!  
Лицо зато свое, не в гриме.  
Авось подборочку стихов  
«Юманите» к печати примет...



\* \* \*

В.Бокову

Вы ласкали когда-то цыпленка,  
Излучая божественный свет.  
Кадры эти хранит фото пленка,  
Только счастья и радости нет.

Ожидания ваши сбылись:  
Резвый птенчик уже оперился.  
Упираясь ногами в перильца,  
Беззастенчиво смотрит на лис.

Окажите пернатому честь,  
Киньте корочку, дайте водицы.  
Отощавший, куда он годится?  
Вы бы знали, как хочется есть...

Умоляю, не надо сердиться.

\* \* \*

Вот снега и растаяли.  
Я уже и не чаял.  
«Жемчуга с горностаями»  
Только снятся ночами.

Светозарными ливнями  
Смыты сажа и копоть.  
Птицы крыльями длинными  
Могут сутками хлопать.

Что еще примерещится,  
Раня сердце бандита?

В каждой лужице плещется  
Солнце и Афродита.

Пиво льется и пенится,  
Убегая из кружки.  
Сук осиновый женится  
На березовой стружке.

Под небесными арками  
Гомон, как в балагане.  
«Изумруды да бархаты»  
Попираю ногами.

\* \* \*

Нет, не сбился я с дороги,  
Забредя в свое болотце.  
Душу ловят осьминоги,  
Но она им не дается.

На болоте хвощ да ряска,  
Родничок водой снабжает,  
На болоте жизнь, как сказка,  
И оно не замерзает.

Стороной обходят лисы,  
Серый волк не посещает.

Исполнять свои капризы  
Мне никто не запрещает.

Вот расхвастался, негодник.  
Все прекрасно? Неужели?  
А в кого тогда охотник  
Из берданки старой целит?

Удивительный обычай:  
Пташек бить, хоть сыт, зараза.  
Куличок — его добыча.  
Но промазал, гад, промазал!

## ЩУКА

### Отрывок из повести

В тот день Сергей во всю ивановскую крестил и себя, и своих друзей-рыболовов. Накануне они наперебой рассказывали ему про небольшую лесную речку, про то, что щуки и шурята в ней косяками, будто голавли, ходят и хватают все подряд. Гвоздь кинь, уверяли друзья, не побрезгуют и всей стаей набросятся.

И рассказывали об этом так убедительно, что Сергей сразу принял все за чистую монету и раскатал губенки на небывалый улов.

— Как пить дать — наловишь, — в один голос утверждали они. — А не повезет, что вряд ли может случиться, к Маньке-Щуке зайдешь. У нее этой рыбы всегда бочонками солится. Она без рыбы не живет. Чуть что, так и поделится — старуха не скопидомная...

— Какая Манька? — заинтересовался Сергей, хотя когда-то уже слыхивал о ней краешком уха.

— Да там деревушка на берегу стоит. Жителей почти никого, только Манька-Щука да еще одна старушенция. Зайди — познакомись, рыбы соленой отведаешь...

К этой рыбалке Сергей готовился основательно и просидел до полуночи, а утром поднялся ни свет ни заря и вышел на большак. Голосовать долго не пришлось — первая попутка остановилась, подбрала. И через полтора часа он уже был на устье той самой речки, где, как рассказывали ему, щуки кишмя кишат.

Первые забросы блесны он делал с большим трепетом и ожиданиями, что вот-вот из-под коряжины или нависшего над водой куста выскочит шуренок или даже щука и затрепыхается, забьется на остро заточенном тройнике, пытаясь освободиться и вырваться на волю. Но поклевки не было. И надежды на удачу таяли и таяли, растворялись вместе с поднимающимся к небу густым вязким туманом.

Прошло уже часа два. Сергей поднимался все выше и выше по реке. Тропинка, протоптанная рыбаками вдоль берега, становилась все менее приметной, а затем кончилась вовсе. Идти дальше стало труднее. Но он упрямым быком продирался сквозь густые заросли крапивы и ивняка и пьянящие ароматом раскидистые кусты черной смородины. Одолевали комары и мелкая мошкара. Надежд на какой-либо улов у Сергея уже не осталось, но он не пропускал ни одной бочажины и ни одного травянистого переката — простреливал их вдоль и поперек блесной. Но река оставалась безмолвной — ни всплеска, ни буруна от выскочившей на приманку рыбины. Не помогла и смена блесен.

Сергей казнил себя за потерянный день, за то, что его объегорили, как последнего простачка, свои же друзья. Теперь-то уж точно, прикидывал он с грустинкой, позубоскалят — на все село сороками разнесут, что вот, мол, как провели — на пустой крючок попался...

О поклевках уже не мечталось. Думалось о другом, о том, как бы отыграться на своих друзьях-обманщиках и навесить на уши такое, что и во сне им не снилось. Но ничего путного в голову не приходило.

Со стороны большака уже едва слышно доносился гул проходящих машин. Он становился все отчетливее.

Километра полтора будет — не более, прикинул Сергей. Он уже подумывал свернуть спиннинг, подняться на угор и сигануть прямушками к большаку. Но день все равно был потерян, и он решил идти вдоль реки, не пропуская ни одного мало-мальского омутка. Везение и удачу уже не верилось, ему просто хотелось узнать эту незнакомую речку — каждый ее перекат, каждую бочажину, чтобы никто потом не мог его упрекнуть, что, мол, пролетел, как на самолете, потому и не поймал ни шиша.

Впереди сквозь ольховые заросли показался мост. Издалека было заметно, что он дышал на ладан и доживал свой век — высокий и горбатый, с трухлявым продырявленным настилом и покосившимися сваями.

Не доходя до моста, Сергей остановился у омута, густо заросшего жидкими молодыми ольхами. С противоположного берега свисал к самой воде большой ивовый куст. По обе стороны омута были широкие мелкие камешники. Вода на них журчала и пенилась, перекатывалась с камушка на камушек. Прямо перед Сергеем прыгали на мелководье, словно играли в догонялки, две длинноногие пичужки.

Туман поднялся и застлал все небо. Оно сделалось по-осеннему серым и низким, готовым вот-вот разненаститься и пролиться затяжной моросью.

«Попробую-ка еще раз, и пора закругляться», — подумал Сергей и, обламывая хрупкие сучья ольховника, пробрался к самой воде. Он коротко и резко взмахнул спиннингом. Блесна, описав пологую дугу, беззвучно опустилась под ивовый куст. Сергей подождал секунду-другую, дав блесне опуститься на глубину, стал неторопливо вращать катушку.

Вода около куста вдруг резко взбурилась, вспенилась и покрылась мелкой, расходящейся во все стороны волной. Удильник дернуло так резко и неожиданно, что Сергей не удержал его в руках. Спиннинг выпал и заскользил к воде.

Сергей кошкой бросился за ним, перехватил его и лихорадочно закрутил катушку. Леска шла легко, без всякой натяжки и даже провисала. От волнения у Сергея дрожали руки. Леска то и дело соскальзывала с барабана и наматывалась на пальцы. И вдруг она кончилась. К удивлению Сергея, блесны на ней не было. Она была срезана, словно бритвой.

Сергей достал из кармана коробку с начищенными до зеркального блеска блеснами, но крышка ее долго не поддавалась. Она словно прикипела. Наконец-то коробка открылась. Сергей выудил из нее первую попавшую под руку блесну и стал спешно привязывать к леске.

Пальцы не слушалась, казались какими-то неуклюжими, а глаза беспрестанно стреляли на темную гладь омута. Он опасался, что щука почувствует вдруг и уйдет вверх или вниз по реке, и тогда ищи ветра в поле.

Блесна снова, но уже не столь беззвучно и осторожно, шлепнулась подле куста. Потом другой, третий... Сергей менял направление забросов, скорость проводки, но щука никак не выдавала себя, будто в омуте ее и не было. И если бы не блесна, отхваченная, словно бритвой, Сергей бы вправе подумать, что все это ему привиделось, показалось. Пытаясь унять все еще не прекращающийся трепет, он положил спиннинг на землю и закурил. Но азарт охоты, нетерпимое желание померяться хитростью и силой с этой невиданной, но, несомненно, крупной и осторожной рыбиной, никак не оставляли его, а, наоборот, усиливались. И он после двух-трех глубоких затяжек отшвырнул сигарету в сторону. Щука, как и в первый раз, дала о себе знать так неожиданно, что у Сергея на мгновение перехватило дух. Она стрелой вынырнула из глубины около самого берега почти у его ног и, не задев блесны, крутанулась винтом и исчезла. Вода возле берега забурлилась, закружилась воронками.

После очередного заброса щука показалась снова. И вновь проделала то же самое: она стремительно выскочила к поверхности воды, сделала крутой разворот и, пометив омут расходящимся во все стороны буруном, не спеша, словно бы оседая, ушла в глубину. Потом еще и еще щука рассекала воду, мелькала брюшиной и широким, с ладонь, хвостом — всякий раз неподалеку от блесны.

Сергею уже казалось, что это вовсе не рыбина, а какой-то речной дьявол в щучьем обличье, которым верховодит не хищнический инстинкт, не обжорство и жадность, а чувство беспредельного властелина этого заросшего кустами омута, властелина сильного, умного и даже благородного, не пытающегося схватить острыми зубами эту маленькую и нагловатую рыбку-блесну, а терпеливо и с какой-то непонятной и необъяснимой гуманностью пугающего ее своим грозным видом и прогоняющего прочь из своего давно обжитого речного дома.

Сергей сделал заброс за забросом. И вот блесна тихо булькнула в самом начале омута — на границе журчащего камешника и начинающейся глубины, тускло заиграла серебристыми боками. Удильник резко дернуло. Он согнулся дугой, напряжился; зазвенела, натянулась струной леска. Ручка катушки едва не вырвалась из рук Сергея. А там, в самом начале омута, будто в котле, закипела вода. Щука, не выплывая на поверхность, билась волчком.

Наконец она поугомонилась, словно поняла, что крутиться колесом, метаться из стороны в сторону короткими и сильными рывками — затея пустая. По туго натянутой леске, со звоном и шипением рассекающей воду, Сергею было видно, что щука, опустившись на глубину, медленно идет на середину омута. С большим трудом, но катушка все же стала сдавать, подчиняться. Оборот за оборотом... Третий, четвертый... И вдруг, словно желая посмотреть на своего противни-

ка, рыбина всплыла. Сергей сразу же увидел широкую раскрытую пасть с торчащей из нее блесной, большие выпуклые глаза и раскинутые по сторонам боковые плавники. Оказавшись наверху, она несколько метров шла к берегу, шла послушно, без какого-либо сопротивления, не плюхалась, не бултыхалась, а только слегка, будто ласковая дворянка, шевелила хвостом, оставляя за собой мелкие, быстро исчезающие водовороты.

Но ближе к берегу щуку будто подменили. Она, словно соизмерив и оценив, с кем имеет дело, в мгновение ока из плывущей послушным бревном рыбины превратилась в само неистовство.

Она круто развернулась и, взмахнув в воздухе широченным хвостом, словно прощаясь с досадившим ей рыболовом, быстро пошла в сторону и, не останавливаясь ни на секунду, делала круг за кругом, которые то ширились, то сужались. Катюшка, поставленная Сергеем на тормоз-трещотку, верещала автоматными очередями: короткая — длинная, короткая — длинная...

Сергей едва успевал управлять катушкой, стараясь все время держать леску внатяжку, чтобы быстрее обессилить рыбину, сделать ее покорной, утихомирной.

И щука, не выдержав этой борьбы, стала сдавать. Она замедлила ход и остановилась — остановилась в самом начале омота, в том самом месте, где не выдержала и без промаха кинулась за блесной. Ее там будто привязали. Упруго натянутая леска предупреждающе тонко звенела — вот-вот оборвется. Сергей это чувствовал и понимал, что сейчас лучше повременить, а не рвать через силу — щука уже изматалась, устала, еще немного, думалось ему, и она сдастся.

Но мысли его неожиданно оборвались. Леска вдруг разом ослабла, провисла и опустилась на воду. Катюшка крутилась свободно, словно там, на конце лески, не было не только рыбины, но и самой блесны.

«Неужели ушла?» — мелькнуло в голове. Но тут леска снова выпрямилась и напружинилась. Она теперь уходила вдоль берега, на котором стоял Сергей, уходила по течению под кусты и коряги и неумолимо натягивалась сильнее и сильнее, вновь становилась тонкой звенящей струной, готовой в любое мгновение лопнуть, будто прелая нитка, зацепиться за корягу или острый, как нож, камушек. Сергей опустил ближе к воде и тотчас же увидел то, что не заметил, когда пробирался к омуту. Под заросшим кустами и высокой густой осокой берегом вдоль всего камешника шла неглубокая извилистая промоина. Вода в ней пенилась, с журчанием плескалась на камешник и прибрежные выступы и кочки. Щука еще не сдавалась, но словно почувствовала, что схватка уже проиграна, что ею потеряно самое дорогое — безраздельная власть над этим омутом, и покидала его. Она напористо рвалась по этой бурлящей протоке, пытаясь уйти вниз по течению в другие бочажины. Щука уходила гордо, кидаясь из стороны в сторону, уходила медленно, настойчиво отвоевывая метр за метром. Сергей не давал ей полной воли, держал рыбину в напряжении, но все же, боясь рисковать, стравливал и стравливал леску, с опаской погля-

дывая на катушку — она вот-вот опустеет. А щука, подхватываемая бурным течением, неутомимо продвигалась по протоке.

Сергей попытался ее остановить, до боли в пальцах удерживая катушку, но тщетно. Щука начала биться в протоке, выбрасывалась на камешник, шумно плескалась на мелководе и вновь скатывалась на быстрину.

Лески на катушке оставалось всего несколько витков. Еще немного, и стравливать будет нечего. Тогда Сергей, опасаясь, что на узле леска не выдержит такого напора рыбины, оборвется, не раздеваясь и не выпуская из рук удильника, вошел в воду. Сначала было глубоко, но потом резким уступом началась отмель. Он выбрался на камешник и, лихорадочно работая катушкой, стал догонять щуку. До нее уже оставалось шагов пятнадцать, и тут рыбина, то ли увидев приближающегося рыболова, то ли почувствовав близость спасительной глубины, ринулась по протоке с небывалой силой. Но, удерживаемая Сергеем, круто вертанулась и выскочила на камешник, затрепыхалась на мели, поднимая снопы брызг.

Удильник дергался, вырывался из рук. Но Сергей, не давая леске слабину, быстро приближался к рыбине, бьющейся на мели и, казалось, уже беспомощной, беззащитной.

Он уже был в нескольких шагах от рыбины и в душе торжествовал победу, но блесна неожиданно вырвалась из широко раскрытой щучьей пасти и, просвистев над ухом, чиркнула по камням.

Щука, оказавшись свободной, затрепыхалась, словно заводная, забилась и с каждым мгновением все ближе и ближе продвигалась к шумному пенящемуся водовороту.

Сергей отбросил в сторону спиннинг и кошкой бросился на рыбину. Он обхватил ее обеими руками. Щука извивалась, выскальзывала, хлестала его широким прохладным хвостом. Она никак не хотела сдаваться. До спасительного водоворота, окажись в котором, она ни за что бы не стала пленницей, оставалось уже менее метра, и каждый миг борьбы сокращал это расстояние.

Наконец Сергей изловчился, ухватил ее всей пятерней под жабры и поволок к берегу. Она все еще трепыхалась, шлепала хвостом по воде, изворачивалась, пытаясь вырваться из цепкой хватки Сергея. Он вытащил рыбину на берег подальше от воды и положил на траву. Непокорная еще с минуту назад рыбина лежала почти неподвижно.

Она тяжело и смиренно шевелила жабрами. В ее отливающих желтизной глазах тускло отражалось серое низкое небо. Сергей, не обращая внимания на тонкие струйки крови, сочившиеся из ладони, ухнул с ней рядом...





Дни лучезарно-хороши,  
Прозрачны тени,  
И спелость светлая души  
Сродни осенней.

\* \* \*

Не замутить застывших рек —  
Печать на водах.  
Дай сердцу, добрый человек,  
Недолгий отдых.

\* \* \*

Развенчанный кумир — освищенный артист,  
Сфальшививший среди искренностей мира.  
Но словно не ему, а мне вдогонку свист.  
И поделом — не сотвори кумира!

Инфляция души. Потерянная власть.  
Утраченное место во вселенной.  
А я ему вчера в любви клялась,  
Бровь надломившему в ответ надменно.

Не доиграл. И жалок, и нелеп,  
Скучнее, чем разгаданное чудо.  
Но не ему, а мне сегодня худо,  
И горек жизни повседневный хлеб.

Как жаждала высокого душа,  
Как верила тому, на пьедестале!..  
Рассыпался колосс, по мелочам греша,  
И даже горы ниже ростом стали.

\* \* \*

О, как я сладко заблуждалась!..  
Как горько прозревала, князь!  
Дорогой светлою казалась  
Земная грязь.

По ранам отрываю бескровным,  
Не плачу больше по ночам.  
Не верю я дорогам ровным  
И слишком правильным речам.

Сутулит возраст и усталость...  
Так зябко, что не греет шаль...  
Ах, как я сладко заблуждалась!..  
Но — прозревала, вот что жаль!

\* \* \*

Скелеты деревьев продрогших,  
Холодные тени в снегу...  
Ах, время не лошадь, не лошадь,  
Чтобы осадить на бегу.  
В погоню за призрачным счастьем,  
Кляня неустроенный быт,

Все скачем, и скачем, и скачем,  
Теряя подковы с копыт.

Куда нас несет? Чего ради?  
И век на исходе, и год.  
...Но кто-то из этих, что сзади,  
Подкову на счастье найдет.



## ГАРМОНЬ

...Был конец сентября. Я ехал в райцентр по служебным делам. На одной из остановок за деревенькой Угоры в автобус зашел пожилой человек с печальным морщинистым лицом. В руках он держал гармошку, меха которой были стянуты брючным ремнем.

Недалеко от меня «базарили» два подвыпивших мужичка. Один из них, чернявый, толстогубый, увидев знакомого, хохотнул:

— Видать, на конкурс «Играй, гармонь» собрался, Василич?

— На фестиваль покатил, «Прощай, гармонь» называется, — мрачным тоном ответил пассажир.

Человек с гармошкой опустил на сиденье рядом со мной.

...Лет пять назад мы вместе с ним состояли в какой-то комиссии при сельсовете. Потом этот человек ушел на пенсию, и мне с ним встречаться больше не приходилось. Звали его Константином Васильевичем.

Мы разговорились. Константин Васильевич вез гармонь своему шуруну. Тот нашел ей покупателя. «Гармошка-то у меня редкостная. Подумал-подумал: чего она на полатях пылится. Играть я на ней не играю. Руки с надсады плохо володуют. А в молодости-то я был первым гармонистом на деревне. Без хвастовства говорю. Ни одна гулянка без меня не обходилась. Где теперь они, эти гулянки? Одни пенсионеры — слом да вывих в деревне остались.

Сын мой Володька начал было в пацанах пиликать, да бросил. На кой ляд им, молодым, гармошка...

Володька с семьей живет в Новосибирске. Пишет, что приходится туговато. Кое-чем помогаем им с маткой. Гармошку вот продам — деньжат pošлю. Довели страну до разора. Гармальники, мать бы их растак», — ругнулся собеседник.

Еще я узнал от Константина Васильевича, что они с женой по холоду собираются «нарушить» корову, потому что сил у него уже невпрохват, а жена совсем обезножела.

Я посочувствовал Константину Васильевичу, поделился своими бедами. «Ты, случаем, на гармошке не играешь?» — почему-то спросил меня попутчик.

Я отрицательно покачал головой.

Он еще больше потускнел лицом, замолчал, возвращаясь к своим думам...

## ИНВАЛИД

Иван Михайлович Рожков отправился в райцентр сдать телячью шкуру. Доходу от нее, считай, никакого, да старуха проводила.

— Езжай, — говорит. — Хватит у телевизора сиднем сидеть да сигарки смолить.

В здании вокзала, куда он зашел, справив свои дела, было малолюдно. Лишь возле кассы, как сороки, трещали две молодые цыганки.

От нечего делать да и из любопытства Иван Михайлович заглянул в помещенье при вокзале, где торговали заморскими безделушками, и едва не столкнулся с человеком на протезах.

— Степан! — чуть не сорвалось с его губ удивленное восклицание. Но он вовремя успел сдержать себя, ибо стоящий перед ним инвалид в замызанной фуфайке лишь самую малость походил на друга его далекого детства Степана Лебедева.

...Тогда, в декабре 34-го года, в кузницу, где хозяйничал отец Степана дядя Гриша, явился человек с новостью.

— Кирова убили!

Малограмотный кузнец за звоном наковальни не расслышал сказанного и, подумав, что речь идет об одном известном забулдыге со сходной фамилией, выпалил:

— Ну и хрен с ним! Достукался, значит!

Слово — не воробей. Кто-то из мужиков, присутствовавших при этой сцене, не замедлил сообщить «о злобной вражеской вылазке» фатьяновского кузнеца в райотдел НКВД.

Григория арестовали, судили, а потом всю семью «врага народа», включая жену и троих детей, отправили в ссылку. Степану к этому времени едва исполнилось 14 лет. Иван был его ровесником.

В сорок втором Рожков ушел на фронт. Командовал расчетом «сорокапятки» — пушки, которую солдаты звали не иначе как «Прощай, Родина».

Ивана дважды ранило. Был он награжден медалями, а солдатскую «Славу» вручил ему лично сам Баграмян.

После войны судьба еще долго мотала Ивана по стране. В пятьдесят пятом он завербовался в леспромхоз под Архангельском.

Как-то горластая ватага «покорителей Севера» нахлынула в пристанционную чайную. Там, в затемненном уголке, припав лохматой шевелюрой к мехам выдавшей виды гармошки, неважно одетый человек без ног выводил унылую мелодию.

Я сижу в одиночке  
И плюю в потолок.  
Пред людьми я виновен,  
Перед совестью чист...

В нем-то тогда Иван и признал своего друга детства, искренне обрадовался:

— Здорово, Степан!

Инвалид в ответ осклабился щербатым ртом:

— Ванюха, ты, что ли? Каким ветром тебя-то сюда занесло?..

— Клавдия, Клаш, — по-свойски обратился он к буфетчице, — отоварь. Корешка вот старинного нежданно-негаданно повстречал.

Пышнотелая бабенка в несвежем переднике, зло зыркнув в сторону не в меру расшумевшейся братии, бухнула на середину заваленного рыбными обедками стола бутылку водки.

Степан сноровисто откупорил ее, плеснул в стаканы и, чокнувшись с другом, вместо тоста тонким голосом дурашливо пропел: «Разлейся, влага небесная, по периферии телесной...»

Разговорились. Оказалось, что Степан всю войну за воровство «мотал» очередной срок. Вышел — решил «завязать». Устроился плотником в Череповце. Женится. А вскоре жена его спуталась с одним бухгалтером.

В сорок девятом Степан по пьянке угодил под поезд и лишился обеих ног. О судьбе своих родных ничего не знал. Так и тащила его жизнь по ухабам да кочкам.

...Вспомнив все это, Иван Михайлович выгреб из кармана деньги, вырученные за шкуру, и сунул их в заскорузлую ладонь инвалида.

*Татьяна Дмитриева*

\* \* \*

В толпе, что жаждет, словно крови,  
Моих исповедальных строк  
И ничего не видит, кроме  
В дороге стоптанных сапог, —

Бреду, сутула и неловка,  
Гоню на волю журавля,  
Не помышляя об обновке  
И лучшей доли не моля.

Прочь от речей елейных, рюмок!  
Сама себе — судья и Бог,  
Как ошалевший недоумок,  
Насочинявший про любовь...

Сама с собой в нелепой схватке,  
На грани былей-небылиц.  
Роятся мысли в беспорядке,  
Как стайка пойманных синиц.

В моих скитаниях бездомных,  
В лесных пристанищах глухих,  
Случалось, иногда везло мне:  
Взрывал мой разум нужный стих.

О, это упоенье словом  
В перелопаченной руде!..  
Оно — ржаной горбушки ломоть,  
Что щедро поделен в беде.

Не в эти ль светлые мгновенья —  
Наедине с самой собой —  
Душа так жаждет откровенья,  
Впитав в себя чужую боль?!

\* \* \*

Каюсь, не слишком была я внимательна  
К близким своим и к своей родне...  
Белое кружево вязаной скатерти  
Как-то нашла в сундуке на дне.  
Белое кружево, чуть пожелтевшее,  
Бабушкой связано так давно...  
Годы минувшие, дни пролетевшие —  
Как на экране в немом кино.  
Вдону в иголку рукой непослушной  
Крепкую я — для ушивки — нить.  
Дни предстоящие, годы минувшие  
Буду пытаться соединить.  
... В печке огонь и морозное кружево  
Вижу спросонок я на стекле.  
Стуком ухватов чуть свет разбужена,  
Запахом хлеба, что нет милей.  
А на шестке в чугулке что-то булькает,  
В кринке — топленое молоко,  
Жалобно Бусик у печки мяукает —  
Серый безухий наш старый кот...  
Белое кружево, белое кружево —  
Помнит о времени светлом том,  
Как собиралась семья наша дружная  
И принимала гостей в наш дом.  
Тихая улочка, все на виду на ней —  
Нечего было таить, делить:  
Спичками, солью, заботами, думами  
Щедро делились все, как могли.  
Вышивки в пальцах, подзоры да скатерти,  
Фикус, разросшийся до потолка,  
Старый комод, разукрашенный братьями, —  
На домотканых половиках.  
И патефон — тот, что нам не дозволено  
Трогать самим, но — соблазн велик...  
Как зажигал он сердца в застолье:  
То вдруг — печалил, то — веселил.  
Койки железные, шишки блестящие,  
Коврик германский, на нем — олень...  
Где же вы, где вы, мечты вчерашние?  
Кто и зачем же мы на земле?..  
Сколько нашли мы, а сколько утратили —  
Горько вздохнув, лишь сейчас пойму,  
Белое кружево вязаной скатерти  
Бережно, нежно к груди прижму...

СОН  
(д. Татарское)

Вновь деревня с названием странным  
Мне привиделась нынче во сне.  
Слышал я петухов перебранку  
И бродил босиком по стерне.

По утрам убегал я на речку,  
Чтоб домой возвратиться в ночи;  
Забирался на теплую печку,  
Обнимая ее кирпичи.

Я валялся в сугробах пуховых,  
Я веснушки сдирал на носу.  
И с друзьями из листьев ольховых  
Самокрутки курил я в лесу.

Разорял воробьиные гнезда,  
Поджигал за деревней жнивье,  
И смотрели приветливо звезды  
На беспечное детство мое...

Полагал я, что эта беспечность  
Навсегда сохранится во мне...  
Но бывшее ушло в бесконечность  
И является только во сне.

\* \* \*

Теплом уходящим согреюсь,  
Последний использую шанс.  
Деревни осенняя прелесть  
Похожа на русский романс.

Все камерно: звуки и краски,  
Не слышно надрыва ни в чем.  
Кистями цветной опояски  
Свисает трава над ключом.

Сплетенье мажора с минором  
Способно до сердца достать.  
Березки стоят под угором,  
Покрасились моде под стать.

На солнышке греются кочки,  
Осинки шумят на ветру.  
Кусты — как старушки в платочках,  
Что в церковь спешат поутру.

Уснула солома в зародах,  
Лужок утонул в серебре,  
И слышится, как в огородах  
Капуста хрустит на заре.

Все просто: сойдет позолота,  
А там — и зима на постой,  
Но скрыто великое что-то  
За этой святой простотой.

*Михаил Зайцев*  
(1945-1998)

## ПАЛИСАД

Я узнал, что наш старый дом собираются сносить и новые хозяева вот-вот начнут завозить на участок бревна, кирпич и доски... Несколько лет не заглядывал я в дом, где прошло мое детство, и не подозревал, что полусгнившая крыша, перекошенные стены и заросший чертополохом сад могут что-то значить в жизни. «Надо съездить»,— решил я. Неожиданно осозналось, что из жизни уходит нечто важное, ничем не восполнимое. И время для поездки нашлось, да и ехать-то нужно было всего каких-то полчаса на автобусе.

И вот я открываю калитку, она волочится по земле, потому что столбы в заборе покосились, петли проржавели, а за калиткой... громадные лопухи, чистотел по забору, из кустов малины выше человеческого роста выметнулась крапива. Продрался в палисадник и увидел чудом уцелевшую неказистую скамейку. Она ветха и ненадежна, но, застонав тяжело, выдерживает меня.

Едва можно угадать очертания круглых клумб, дорожек. Но даже сейчас, среди курослепа, пырея и невесть откуда появившегося мышиного горошка, нет-нет да и промелькнет кустик садовых незабудок, оранжеевое солнышко календулы, японская ромашка.

Из-за высоких рябин и лип дом почти не просматривается с дороги, теперь же видно, как устало и угрюмо ожидает он своей участи. Оплетенный по самые карнизы радостным плющом, дом, кажется, еще силится вздохнуть, но уже нет на это ни сил, ни желания.

Можно бы войти в дом, замок новые хозяева не сменили, и ключ наверняка лежит в почтовом ящике. Глядя на запустение и ветхость, я как бы тоже почувствовал тяжесть прожитых лет и не мог, не хотел встать со скамьи. Я смотрю на старый серый забор и вижу, как мы делаем его с отцом.

Почему именно тот момент улавливает память? Я слышу, как стучит молоток отца. Вот отец попадает молотком по пальцу, сует палец в рот и сплевывает на землю кровь.

Отец удивленно смотрит на разбитый палец, прищуривается на гвоздь, потом на меня. Я незаметно для себя повторяю его мимику и жесты. Тоже смотрю на его посиневший палец, на подлый гвоздь, согнутый под прямым углом, поворачиваюсь назад: не видел ли кто, и в ответ на восклицание отца: «Зараза» — согласно киваю. Действительно, «зараза», я, хоть и маленький, но понимаю—гвоздь подвел, нехороший гвоздь, не захотел пробить штакетину.

Отец обтирает палец о галифе, он еще не успел приодеться после войны, начинает рассматривать штакетину сбоку. «Сучок», — радостно объявляет он.

Отец делает такую ненужную вещь, что ни один человек не проходит мимо, чтоб не остановиться. Бабки даже крестятся, мужики постоят, руки в карманы, — вздохнут. Вскоре и я понимаю, что отец мой в чем-то не прав. Трудно было решиться на такое признание, но... Происходящее смутно и не оформляется во что-то конкретное. «Почему у нас огород будет перед домом, а не позади, как у всех нормальных людей в поселке?» Так просто было догадаться спросить об этом раньше. Почему во всем поселке, вон сколько домов, наверное, сто, не меньше, огороды позади дома, а у нас будет впереди? «Это не огород», — отвечает отец. «Как же не огород, — думаю я, — если огород». «Это называется, — отец посмотрел для чего-то на небо, — палисадник. Здесь будут расти цветы». — «А вон дядя Сережа, — закричал я. — Здравствуйте, дядя Сережа!»

— Бог помощь, Акимыч.

— Спасибо.

— Уж больно нарядную ограду-то делаешь. Трудов сколь.

— Так не на один день. Сколько на нее придется из окна любоваться?

Дома — как в столярной мастерской. Можно закопаться с головой в стружку (штaketник отец простругивает дома). От нее вкусно пахнет смолой, но если стружку пожевать, то она горьковатая, а некоторая с кислинкой. Но потом во рту делается сухо, язык становится шершавым, и вкус сохраняется долго-долго.

Я сижу, по шею закопавшись в стружку. Отец в заляпанной смолой майке, на плечах его испарина, волосы перьями прилипли ко лбу.

— Это, значит, приходят отец с сыном в лес. Ну, нарубили дров, — отец отрывается от рассказа, чтоб прикурить ежесекундно гаснущую папироску. Он их называет туберкулезными палочками, хотя на пачке написано «Байкал». — Ну ладно, надо идти домой. Пошли, значит, сын на весь-то лес: «Па-ап, я пилу-то под пихту спрятал!» — «Ты что, дурак, орешь? Украдут». Да. Приходят на другой день, — отца такой вид, словно он сейчас поведает нечто совершенно потрясающее. Я невольно раскрываю рот в ожидании, становлюсь в стружке на колени и подаюсь всем телом к отцу. — Приходят, значит, в лес, сын под пихту шасть, поворачивается к отцу и тихо так, шепотом, говорит ему: «Па-а-п, пилу-то украли».

Я опрокидываюсь на спину, дрыгаю от восторга ногами. Ну не дурак ли?! Когда прятал пилу, орал на весь лес, а когда украли — шепотом говорит.

Половина крыши нашего дома крыта соломой, другая — полусгнившей дранкой. Но отец делает перед домом огород, который называется палисадником. Сделан палисад будет не из тычинника, каким обнесены огороды в поселке, а из штaketника, проструганного и покрашенного голубой краской. Каждый столб отец затешет сверху с двух сторон и прибьет досочки. По самому низу пойдет доска. Но и это не все, доска сверху будет прикрыта другой доской, только узенькой, наклоненной в сторону дороги. В каждой штaketине отец провернет коловоротом дырочку. Для красоты.

Дело продвигается медленно. Соседи все так же с усмешкой проходят мимо нашего дома. Это наш первый дом, собственный. В своей короткой жизни я успел пожить на нескольких частных квартирах, и вот отец вернулся из Германии и купил дом. Он под соломенной крышей, в нем нет перегородок, пол сплочен плохо, но отец говорит, что все это можно сделать зимой, крыша над головой есть, и она не течет.

Зато какое приволье в доме. Я могу бегать вокруг русской печи, кричать, могу включить радио, большую черную тарелку. И мама стала совсем другой, когда мы переехали сюда. Она все время что-то готовит, шьет, вышивает. Таких красивых занавесок, как в нашем доме, нет ни у кого на свете. На каждом углу занавески вышита крестиком бабочка. Нитки, которыми мама вышивает, называются мулине. Удивительное название.

Но в первую очередь надо сделать палисад. Это я знаю из разговоров родителей. Надо успеть сделать до зимы, так говорит мама, чтобы кое-что посадить осенью. Без палисада все вытопчут коровы, их дважды в день прогоняют на пастбище. Отец успел сделать палисад до зимы, и наш дом выглядел теперь странно, словно оазис в пустыне.

Но оказалось, забор — это еще не все. И мы пошли в лес, все трое: мама, отец и я. Мы ходили долго, пока отец не натолкнулся на крохотную липку и на рябинки, тонюсенькие, как мой палец. Перед обратной дорогой отец сел покурить, мама складывала и связывала веники.

— Да-а, значит, — начал отец, и я понял, что наступило время очередного рассказа. — Три братана, значит, идут из города с мешком толокна. Дело зимой было. Не доходят до дома с километр, натолкнулись на прорубь. «А что, — говорит старший, — давайте толокна чуток заварим, похлебаем, а то есть что-то захотелось». Потрусили из мешка в прорубь, помешали палкой, попробовали — вода. Старший вытрусил остальное — опять вода. Младший и говорит: «Ну-ка, нырну я, может, оно на дно осело». Сидят, ждут братана младшего у проруби. Нету. Средний смикитил, думает, не ест ли там братан толокно. «Пойду, — говорит, — нырну, потороплю младшего». А старший ждал-пождал, ну, думает, воротитесь домой, я вам покажу. Приходит домой с пустым мешком, реве-от, как корова. Ну отец, понятно, дал ему тут.

— Очень остроумно, — сердито заметила мать. — Смеяться прикажете?

— Дураки, — коротко пояснил отец.

— А я думала, умные, — сделала мать удивленный вид.

— Дураки, — уже уверенно подтвердил отец.

— Вятские, одним словом, — улыбнулась мать.

— Да уж, не тульские. Как-то она не так кончается, эта история, забыл я. Там вообще-то смешно должно быть. Забыл.

И вот мы вместо картошки посадили вдоль забора в палисаднике рябину и в углу липку. Между домом и деревьями осталось большое пространство, и я был уверен, что отец посадит на этом месте репу.



Именно репу, потому что мой дед однажды надергал две телеги репы. Никто в тот год репу не сажал, а дед посадил. Две телеги, таких громадных, что я даже представить не мог, до чего это были большие телеги, дед отвез на базар в город. Отец рассказывал, что ему, кроме рубашки и портков, купили тогда сапоги «на выход». Репа была, о! — отец разводил руки с растопыренными пальцами, показывая репу совершенно несуразных размеров.

Но посадил отец репу позади дома на совсем крохотном участке. Выросла репа маленькая почему-то, и не круглая, а хвостиками. Но это уже было на другой год. Между домом и рябинками мать вскопала круглые грядки и обложила их дерном.

— А это мечта, — показывала мать отцу пакетик с нарисованной на нем ажурной елочкой, усыпанной горошками. — Ты посмотри, посмотри, это гвоздика.

— Эта-то? — потрескавшимся пальцем отец тыкал в крошечный пакетик. — Ты скажи!

— А вот астры. Астры мы посадим... — мама забеспокоилась, заволновалась. — Надо сколотить ящики, еще не поздно, ты знаешь, астры цветут до самого снега. Что ты смеешься? Надо сначала вырастить рассаду, а потом пересадить ее в клумбы. Ах, если бы ты видел тульский сад у мамы!

Отец улыбнулся отрешенно и грустно. О чем он думал тогда? Видел ли другие конвертики с семенами настурции, резеды, незабудок... Теперь уже не разглядишь то далекое далеко и не спросишь, поскольку тот далекий я — жив, а мать и отец...

Мой голубой палисад, первый и единственный в жизни. Я вижу себя за столиком, вкопанным под кустом сирени, рябинки с устало протянутыми вниз ветвями и маму.

Она осторожно, как величайшую драгоценность, отсыпает щепоточки семян в пакетики, а рядом смущенно мнется с ноги на ногу тракторист Федор.

— Мне, понимаешь, наплевать, Альбина Николаевна. Палисадник — это несерьезно... Баба заела, говорит, сходи, может, продаст Альбина Николаевна семечек...

— Я не продаю, — сухо отвечает мать.

— Труды же. А не мало? Вырастет чего? — недоверчиво спрашивает Федор, взвешивая на ладони крохотные пакетики.

— Ухаживать будете, на следующий год и другим семян дадите.

— Мне оно ни к чему, баба пусть занимается. Оно красиво, конечно, вон у тебя, как в раю.

Едва уходит Федор, появляется Комаров. Он здоровается, снимает шляпу, бережно кладет ее на столик.

— Вы, Альбина Николаевна, как помещица. Вот пустое дело, а душа отдыхает, — он жестом обводит клумбы.

— Не картошкой единой жив человек.

— Понятно, не картошкой единой. Сад — это очень даже интеллигентно. Можно жить, как и прежде, насадил картошки да морквы

с луком... Сейчас время-то культурное, хватит жить дикарями. Вон посмотри, раньше в шляпе кого увидишь? Директора, начальника. А сейчас — носи кто хошь.

Мать недоуменно смотрит на Комарова.

— Это я к тому, что от войны ушли, потребности удовлетворяются, можно и роскоши чуть-чуть допустить. Только чуть-чуть, много нельзя. Переборщишь — разленится человек. Но интеллигентов я уважаю. Уважаю, Альбина Николаевна. Я и сам, даже если при шляпе, — все равно со всеми здороваюсь.

Я еще мало что понимаю, но вижу, что мать неожиданно затопилась в дом.

— Я сейчас, одну минутку, подождите, Николай Иванович.

Мать выходит возбужденная, смеется беспричинно и говорит, что в доме у нас смешной котенок.

— Забирается по оконной занавеске до самого потолка, — и мать снова смеется, вытирает слезы.

— И вот возьмите, — солидно рассуждает Комаров. — Какая практическая польза от кошки? Корми ее молоком, убирай за ней. А что она — мышей наловит? Ерунда одна. Мышеловка куда практичней, а ведь держим кошку. «Барство» — вы скажете? Нет, привычка. Кошка уют создает. А так дрянь одна да шерсть. Вы мне семечек чуток не дадите на развод? — понизив голос, просит Комаров. — Знаете, такие лохматые у вас растут. Дадите?

— Это георгины. Могут дать, но всего несколько корней...

И трех лет не прошло с тех пор, как отец прибил неумело первую штакетину в палисаде, застучали по всему поселку топоры, запели ножовки, выросли перед домами палисады. Люди словно натасковались по цветам и вдруг поняли, что это так просто. Торопились делать цветники, равняли палисады по соседским, наряжали улицу. И не просто палисады вырастали вдоль дороги, а произведения искусства. Будто копились в людях всю жизнь умение и талант да вдруг прорвались и вылились в яркие и радостные палисады.



Светлана Виноградова

\* \* \*

Памяти Михаила Зайцева

С невысокого серого неба  
Сеет дождик холодный упорно.  
...Стопка водки, прикрытая хлебом,  
Да портрет, перетянутый черным.

Да слова, что при жизни, быть может,  
Говорить ему чаще бы надо.  
...Никогда теперь не потревожит  
Он ни звуком, ни словом, ни взглядом.

Не зайдет, улыбаясь устало,  
Расспросить, как жилось, что писалось?  
Вот и все. Человека не стало.  
Вот и все... А душа исстоналась.

\* \* \*

В.К.

Скажи мне, что случилось?  
Почтовый ящик пуст...  
Любви не получилось,  
И вновь на сердце грусть.

Надежды, словно птицы,  
По осени — на юг...  
Зачем дано влюбиться  
В тебя, мой милый друг!

Пытаюсь улыбаться —  
Себя не обману...  
Так хочется дождаться!  
Так верится — верну!

Но холод давит сердце,  
Несбыточным маяя...  
Нам не дано согреться  
У одного огня.

\* \* \*

Лунным светом высветлены избы,  
Спят деревни, тишиной объаты,  
Только с одиноким гармонистом  
Бродит где-то мягкий запах мяты.

Еле слышный ветер-невидимка  
Погоняет лошадей в ночное.  
Расцвели на тоненьких травинках  
Светлячки — фонарики покоя.

Стихло все, дремотою одето.  
Темнота повисла над опушкой.  
И во ржи, решив зерна отведать,  
Подавилась колосом кукушка...

\* \* \*

Нет ни прощенья, ни оправдания.  
Даже прощанья короткого нет.  
Полночь. Вокзал. Старый зал ожидания.  
Наскоро куплен плацкартный билет.

Здесь пассажиры встречают, прощаются...  
Зал ожидания всех приютил.  
Я не вернусь, даже если раскаешься...  
Только уехать хватило бы сил.

\* \* \*

Как бегут, мелькают дни, недели!  
И Земля не устает вращаться...  
А ведь мы с тобою не успели,  
Так и не успели повстречаться.  
Стаял снег, упавший нынче рано,  
Гомонят, в отлет настроясь, птицы.  
И, наверно, очень-очень странно  
В сорок лет, как девочке, влюбиться.  
За окошком кружит непогода,  
Желтый лист к окошкам мокрым лепит.  
Грустный праздник твоего прихода —  
Самый светлый день на белом свете.  
Скоро здесь закружатся метели,  
И придет пора совсем прощаться.

...А ведь мы с тобою не успели,  
Так и не успели повстречаться.



*Павел Корнилов*

## **ТРАВА СПАСЕНИЯ**

Для меня слово «природа» ярче всего раскрывается не тогда, когда бываю в лесу или гуляю в парке, а во время садово-огородных бдений. Мой участок не назовешь садом. Он мал, неказист, это скорее небольшая «ладошка» земли, на которой, подобно пальцам ладони человеческой, тянутся к солнцу редкие посадки — лук, морковь, свекла, петрушка, укроп, огурцы, перемежающиеся с обильными зарослями сорной травы. Но меня это особо не беспокоит. Не гоняясь за ударными урожаями, люблю смотреть на траву — съедобную и не очень, люблю наблюдать за благородным протеканием весеннего зарождения, летнего расцвете и осеннего угасания растительной жизни.

Трава очень похожа на людей не только полным совпадением жизненных циклов, но и вечным своим стоицизмом. Что бы ни случилось, она, даже выполотая, все равно прорастет, демонстрируя самодовольному человеку, мящему себя всеильным, пример неистребимой воли к жизни. Трава живет, спасая себя, и не ведает о нас. Мы, выращивая съедобную растительность, спасаем себя. Однако трава умеет спасать не только своей съедобностью. Ее тихий рост и цветение достаточно красноречивы. Стоит только наклониться к земле и всмотреться, прислушаться.

## **С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕНИ**

Я пишу в своем огороде, сидя на перевернутом оцинкованном ведре для воды. Часто прерываюсь. Смотрю то в небо, то на близкую Волгу, а то просто себе под ноги. Чувствую, как доньшко ведра, изрядно траченное ржавчиной, прогнулось подо мной и издало легкий утробный скрип-щелчок. Он сразу напомнил мне вчерашнее: еле слышные шорохи живой коллекции насекомых моего огорода.

В минувший день так же, как сегодня, я склонился над грядкой с чахлыми (жаль, но в этом году петрушка, на удивление, плохо растет) травинками и заметил очаровательного темного пузатого жука, куда-то спешащего по своей надобности. Он настырно перебирал лапками, отбрасывая с пути маленькие (меньше булавочной голов-

ки) ссохшиеся комочки из песчинок и невесомых, почти микроскопических камешков. Стараясь, чтобы моя тень не спугнула жука, я еще больше согнулся над грядкой, вплотную, так, что подбородок защеколота маломощная зелень, приблизил лицо к земле, пытаюсь получше рассмотреть этот великолепный экземпляр совершенно незнакомого мне мира.

Вероятно, жук каким-то образом догадался о моем намерении. Он вдруг замер. Но я, конечно, поспешил с заявлением о нашем сиюминутном взаимопонимании. Над моим невольным серо-черным соседом у самого края худосочного зубчатого листа петрушки приютилась маленькая, с комара, серая мушка. Жук сразу набычился, а потом, подобно вертолету, чуть приподнялся над землей. Исследовав непримечательные темно-зеленые края слабенького росточка, мушка, собираясь взлететь, лениво повибрировала крыльшками и (не знаю, как это у нее получилось) мгновенно исчезла.

Мой жук сразу потерял всякий интерес к окружающему. Все так же, будто расшвыривая назойливые песчаные препятствия, он побегал дальше и скрылся в тени наливающейся огуречной ботвы.

У жуков и мух, у только что прогудевшего над моей головой озабоченного шмеля — свои маршруты. Свои, однако не настолько чужие, чтобы совсем не пересекаться с нашими. Встреча с жужжащими, гудящими, стрекочущими существами отвлекает от грустного и наводит на правильные мысли.

Может быть, только наедине с природой нам дозволено гримасничать, рычать и прыгать. И до этого никому (тем же мухам и жукам) не будет никакого дела. Нас они воспринимают не как личностей, совпадающих или не вписывающихся в далекую и странную, с их точки зрения, человеческую жизнь, но всего лишь как тень, чья прохлада (к примеру, комарам) сигнализирует только о близкой доступной еде и одновременной опасности. Раздраженный взмах нашей руки, на комариный взгляд, есть лишь напрасное усложнение тени.

Станный и тем не менее неопровержимый факт — наедине с мельтешащим, прыгающим, больновато жалящим населением наших соток и вообще городских окрестностей мы удивительным образом теряем всяческое желание к самовыражению. Среди огородной зелени, фруктового сада, парка наиболее естественным выглядят спокойствие, безучастность или любопытство. Мы прислушиваемся, присматриваемся к лепестково-стебельковому, порхающему, благоухающему миру, и он допускает нас к себе. В безмолвном постижении единства мнимым миром всего живого люди могут найти не только отдохновение и расслабление, но и напряженно отыскиваемый смысл жизни.

## ПОД СТУК КОЛЕС

Незнакомке

### 1

Что таила от мужа, от дочери,  
Верных подруг,  
Мне, попутчику, в сумраке ночи той  
Выдала вдруг.  
И узнал я, что схвачена, скручена  
Обручем бед.  
Заморочила жизнь и замучила —  
Продыха нет.  
Все ждала, что изменится к лучшему.  
Как бы не так!  
Человеку готовиться к худшему —  
Времени знак...  
Колесо уже искру не высечет,  
Скорость гася.  
И не с пол-оборота, но с тысячи  
Я завелся!

### 2

Что таил от жены, от наследника,  
Лучших друзей,  
С одержимостью узника-пленника  
Выпалил ей.  
Про рубцы, что незримо, рискованно  
Сердце щемят.  
И про то, что нам всем уготована  
Участь ягнят.  
Положение всюду упрочила  
Всякая мразь.  
И скажи-ка ей, крикни с обочины:  
Сгинь или слазь!..  
Сколько было высокого, пылкого  
В каждом из нас,  
Что теперь лишь в обнимку с бутылкою  
Вспомнишь подчас.  
Каково-то в летах исторических  
Слыть в дураках:  
Пребывать после далей космических —  
В средних веках?  
И любовь с ее чувствами чистыми —  
Где же она?  
Неспроста сатанистами истыми  
Осквернена...

Только рельсы гудящие,  
 Только сгущение тьмы.  
 И часы не следящие,  
 Ночь говорящие — мы.  
 Что нам блики неясные!  
 Что нам в тумане рожки!  
 Только взгляды — согласные,  
 Только — кивки да кивки.  
 И чего нам сутулиться:  
 Близость такая не срам.  
 И «зеленая улица»  
 Нашим глазам и губам.  
 Мы лежим, как под аркою:  
 Полка и двери нам бронь.  
 Лишь объятия — жаркие!..  
 Лишь поцелуев — огонь!..

## ЛЮБИМИЦЫ

Юлии и Евгении

Мои дочери — мои сладкие денечки!..  
 Я в кроватках их качал, не уставая.  
 Я им песни пел о «синеньком платочке»,  
 О «максиме», что строчил, не остывая.

Они слушали до третьего куплета.  
 Но потом пускались в крики или в слезы.  
 И жена крутила палец: «Ты с приветом!..  
 Да ведь розы без шипов уже не розы.

Я на стареньком катал велосипеде  
 Пассажинок в разновременные годы.  
 Синеглазка, кареглазка, как в карете,  
 Разъезжали в благодатные погоды.

Мне мерещились пушистые головки  
 В «Детском мире», в современном Вавилоне.  
 Я московские любил командировки,  
 Ни колготки, ни носки не проворонив...

Мои дочери — мои быстрые денечки!  
 Убежали вы из детства, как из дома.  
 Понесла вас жизнь по яминам, по кочкам  
 Под отцовско-материнскую истому.  
 .....

Мои дочери — мои горькие денечки!..



## СТАРАЯ МЕЛЬНИЦА

На фоне солнечного дня,  
Рукой махнув родному дому,  
Я выйду к берегу крутому,  
К святому месту для меня.

Здесь раньше мельница была,  
Но обмелел глубокий омут,  
Хотя по-прежнему в нем тонут  
Дерев упавшие тела.

Воды касается лоза,  
Лоснятся золотом кувшинки,  
И стрекоза на камышинке  
Блестит, как божия слеза.

Рыбешек мелких суета  
На дне песчаного изгиба...  
Как хорошо, что не погибла  
Живая эта красота!

Как хорошо здесь отдохнуть  
С ущицей, с костерковым дымом  
И, как во сне неодолимом,  
В воспоминаньях утонуть.

Картины детства моего  
Встают, встают перед глазами.  
Война, омытая слезами,  
Не обошла нас никого.

Пусть буду немощен и стар,  
Но не забуду, не забуду  
На кольях сбитую запруду,  
На сваях поднятый амбар.

Я не забуду, как гурьбой  
Сюда ходили мы купаться.  
И не было теснее братства  
С бедою общей и судьбой.

Текла по желобу вода,  
И колесо внизу вертелось.  
Нам хлеба-хлебушка хотелось —  
Полуголодным, как всегда.

Подкравшись к узкому лотку,  
Лишь отойдет усталый мельник,  
Мы, ни секунды не промедлив,  
Глотали теплую муку.

Все это было так давно,  
Давно уж нет сюда дороги,

Здесь только ели прячут ноги  
В кусты, где сыро и темно.

И я — давно не молодой —  
Хожу сюда все реже, реже.  
Все тот же омут, ивы те же  
Склонились низко над водой.

Быть может, недалек тот час,  
Час горький и неотвратимый,  
Когда, предчувствием гонимый,  
Приду сюда в последний раз.

Приду — и речке поклонюсь,  
Обняв руками берег рыжий,  
Прощусь со всем, что здесь увижу,  
А дома Богу помолюсь.

## СЕЛО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

На высоком, крутом убережье,  
В этом русском старинном селе  
Я бываю все реже и реже —  
Подневольный нелегкой судьбе.  
Но мне снятся все чаще и чаще  
Лес, очерченный лентой реки,  
Голубые озерные чаши,  
Заливные луга и пески.  
Снится парк с вековой сединою,  
С колоннадой берез вдоль пруда,  
Снится все, что здесь было со мною  
И не будет уже никогда.  
Сколько раз мое сердце стремилось  
Обрести здесь душевный покой,  
Но, увы, не сбылось, не случилось,  
И устал я от жизни такой.  
Навсегда я оставил попытки  
Даже думать об этой мечте,  
Государством раздетый до нитки —  
Доживаю свой век в нищете.  
В деревнях, селах, центрах районных,  
На углах городских площадей  
Нас, раздетых, теперь миллионы,  
Миллионы несчастных людей.  
Что ж, и раньше такое знавали,  
Взять все тот же семнадцатый год,  
Так же грабили и раздевали  
Православный наш русский народ.  
Но теперь поступают иначе —  
В этом суть реформаторских дней:  
Раньше грабили тех, кто богаче,  
А теперь грабят тех, кто бедней.  
И такие же страсти-напасти

Нам на головы льются рекой,  
И такие же люди у власти,  
Только вывеска стала другой.  
Беспределом, духовным развратом  
Обернулся наш путь в коммунизм.  
Как бы вновь нам не встать брат на брата,  
Чтоб катиться по-прежнему вниз.  
Чтобы тот, кто сильнее, больше хапал,  
Чтобы тот, кто слабей, больше пил,  
Чтоб гнилыми подачками Запад  
Нас в послушных рабов превратил.  
Чтобы мы умирали до срока,  
В диких распрях глотая свинец.  
Этой жизни, слепой и жестокой,  
Все равно где-то будет конец.  
Стихнет злоба во вражеском стане,  
Сгинет племя продажных иуд.  
Снова Родина на ноги встанет,  
К власти новые люди придут.  
Все сумеет превозмочь и осилить,  
Вновь вернет честь и славу страна.  
Лишь бы Бог не оставил Россию,  
Богу Вера и Правда нужна.  
Лишь бы мы, бранный мир познавая,  
Не забыли о братстве святом.  
И чтоб церковь, к спасенью взывая,  
Дотянулась до неба крестом.

*Евстолия Прокофьева*

## РОЗОВЫЕ ПЯТКИ

В старом березняке, верстах в трех от селения, красуется ровная длинная поляна с редкими березками. Их будто кто посадил с любовью и вкусом, холил и берег — так стройны они и кудрявы. Травы под ними жесткие, беловатые — сивуны называются. В них любят расти коренастые белые грибы с бурыми шляпками, к которым пристали сенинки. Из-за прекрасных грибных мест поляну называют Белая поляна.

Посреди поляны — дворина в мягких цветастых травах. На ней — запущенный колодец, тинистые пруды да сарай с проломом в воротах. Остатки жилого хутора.

В сенокос на дворине Лерко заготавливал с отцом сено для коровы, а теперь, в грибное время, решил привести сюда своих друзей-мальчишек. Одно тревожило Лерку: девчонки бы не увязались за ними! Одни-то они медведя боятся. И он мысленно начал ругаться: «Трусихи! Ревы противные! Ну погодите, я вас проучу! Будете помнить, как всюду таскаться за нами, парнями...»

Как-то утром, когда взрослые ушли на полевые работы, мальчишки с кузовками и ножами наготове отправились по грибы на Белую поляну. Лерко на ходу диктовал им свои условия:

— По лесу не растекаться! Собирать грибы тихо и кучно. Одиночку и не увидишь, как стащат — хоть волки, хоть медведь.

Погода стояла жаркая. Дожди выпадали редко, но обильные, теплые. Листья на березах желтели медленно, падали редко. Грибов росло много, особенно белых. Они попадались большими семействами еще в поле, у отдельных берез.

Перед тем как войти в лес, Лерко заметил: из высокой травы приподнялась и тут же исчезла светловолосая голова с косичками в разные стороны. Лерку взорвало.

— Пронюхали, шпионы! Высматривают... Ладно, досмотритесь! — сказал он с угрозой.

Лерко показал мальчишкам тропинку, которая вела на Белую поляну, а сам улизнул на дворину, в сарай. Там спрятан был в сене старый тулуп. Вывернув тулуп шерстью наружу, Лерко набросил его на себя, забрался под ивовый куст и стал ждать.

Вскоре мимо него, оглядываясь по сторонам, прошли мальчишки и, не видя Лерки, направились в глубь поляны. Грибы подбирали лишь те, которые попадались им на глаза.

Затем появились девчонки. Они так и припали к грибам. Щупали руками кустистые сивуны, похожие на щетину, ступали осторожно, боясь раздавить.

Лерке это понравилось, однако он не хотел отступить от задуманного. Выгнув спину дугой, он рывкнул и, опираясь на руки, стал разбрасывать ногами сухие ветки и разный сор.

— Мед-ведь! — взвыла одна из девчонок и бросилась вдоль поляны.

— Ой, мамочка! Ой! Ой! — визжали ее подруги, удирая прочь.

Лишь у самой маленькой, толстушки Даши, отказались слушаться ноги, и она с расширенными от ужаса глазами присела в траву. Ей казалось, вот-вот зверь прыгнет и вонзит в нее свои когти. Но, к своему удивлению, она вдруг заметила, как из-под шубы «медведя» высунулись голые розовые пятки, такие же, как и у самой Дашутки.

Мальчишки в это время собирали грибы уже на другом конце Белой поляны. Там было тихо и спокойно.

Вдруг одна из берез стала вздрагивать и качаться. В ее верхушке шевелилось что-то черное и рычащее. И тут верхушка треснула, сломалась и повисла вниз ветками.

Мальчишки, побросав ножи и кузовки, рванули к сараю. Там, в углу сарая, жались девчонки. Вслед за мальчишками, спрыгнув с березы, бежал, шлепая калошами, деревенский пастух Сенька. Он кричал во все горло:

— Бегите! Спасайтесь! Медведь!..

Один из мальчишек запнулся за кочку, шлепнулся на живот и завопил:

— Не бросайте, не оставляйте меня! Он меня заламает!

Мальчишки подхватили его под руки и поволокли за собой.

Скоро все грибки, в том числе и Дашутка, были в сарае. Только Лерко, услышав крик о медведе, сбросил тулуп, помчался навстречу

крикам и столкнулся с Сенькой. Довольный своей проделкой, тот улыбался во все лицо.

— Вот это драпали! Теперь ни один сюда носа не сунет! Коро-  
вы пусть собирают, они грибы любят!.. — торжествуя, сказал Сень-  
ка и зашагал на звон колокольца, который был на вожаке его стада.

Лерко представил поляну после нашествия коров — стоптанную,  
с белеющими на траве грибными объедками — и процедил сквозь зубы  
вслед пастуху:

— По-твоему не будет!

Он ушел в сарай и стал уговаривать грибников:

— Выходите, не бойтесь! Я с вами. Не с пустыми же корзинами  
домой возвращаться.

На этот раз мальчишки и девчонки, ободренные Леркой, соби-  
рали вместе. У всех только и разговору было что о медведе. Наводя  
страх на себя и на других, они по несколько раз рассказывали одно  
и то же: какие страшные у медведя когти и зубы. Только Дашутка  
уверяла всех, что у медведя такие же, как у нее, Дашутки, голые ро-  
зовые пятки. Но ее никто не хотел слушать.

Домой возвращались с полными кузовками. Чтобы грибы не  
рассыпались, их прикрыли еловым лапником. И с этих пор по грибы  
мальчишки и девчонки стали ходить вместе.

*Владимир Максимов*

## В ДОМЕ ДЕТСТВА

### 1

С рассвета тучки солнце застят,  
И смазаны полутона.  
Сопит лохматое ненастье  
Овчаркой серой у окна.  
И небо льет сырую воду,  
И на земле, и в небе мгла...  
Люби Россию в непогоду:  
При солнце — всем она мила.

### 2

Укропный запах. Запах вишен.  
Над самой речкой, у воды,  
Не облака легли на крыши —  
Цветут вишневые сады!  
И столько тут очарованья,  
Невинности и чистоты,  
Что, не узнав еще названья,  
Деревно эту любишь ты.

### 3

Изба затейливо построена  
Веселой сталью топора...  
Поют и кухонька, и горенка,  
И крыша — белая гора.  
Посмотришь раз — и в горле что-то,  
Замрешь, не слыша, не дыша:  
В глазах топорная работа,  
А до чего же хороша!

### 4

И я, и я отвык от дома,  
Забыл родительский порог...  
Но вдруг пригрезится солома,  
Пахнет знакомо сена стог.  
И сразу же случится диво:  
Ты в детстве дома пьешь чай...  
И будет спрашивать тоскливо  
Весь вечер чибис:  
— Чьи вы, чьи?

### 5

Где-то к вечеру приеду  
Я в отцовский старый дом,  
Мне наварят щей к обеду  
И забелят молоком.  
Что-то встрянет в горле комом,  
И тогда я вдруг пойму:  
Черт возьми, да я ведь дома,  
Дома я, в родном дому!  
Осторожно выйду в сени,  
Дому детства не чужой,  
И засну на сладком сене  
Под Медведицей Большой.

\* \* \*

Пожила она немало,  
Отжила свой бабий век  
И, понятно же, устала,  
Спит себе, как человек.

До чего ж была веселой,  
Да разъехался народ,  
И летают только пчелы,  
Собирая взятки-мед.

А бывало, на гулянке —  
Переборы с серебром,  
Пели девки под тальянку  
И крутили подолом.

Тут по-прежнему напевно,  
За сто верст узришь красу:  
Как прекрасная царевна,  
Деревенька спит в лесу.

**СЕЛЬСКОЕ ГУЛЯНЬЕ**  
(Зарисовка с натуры)

Народ не может веселиться —  
Устал народ.  
И в праздник не светлеют лица  
Который год.  
И глушит серая забота  
Румянец щек...  
Сошлись гулять, но ждут чего-то...  
Эх, кто бы смог  
Их заразить своим задором,  
Ввести в азарт  
И запорошенные сором  
Раскрыть глаза,  
Чтоб заискрились, заиграли  
Под шутки, смех,  
Чтоб люди сбросили печали,  
Как с шапок снег,  
Чтоб сунули в карман дырявый  
Горох забот  
И завели, пусть кучерявый,  
Но — хоровод!..  
Чтоб лихо повели плечами  
Все мужички  
И песни вольно б зазвучали,  
Как ручейки...  
От ярких полушалков в танцах  
Да рябь в глазах,  
От жгучих девичьих румянцев —  
Пожар в сердцах.  
С таким бы жаром да напором,  
С задором всклень  
Свернули бы любые горы  
В грядущий день.  
Но — не находится героя,  
Нет молодца,  
Который шуткой огневою  
Зажжет сердца.  
Стоят, покуда не продрогли,  
Взгляд — немота.  
Как будто — на чужой дороге,  
И — без креста.

## ПРЕДРОЖДЕСТВЕНСКОЕ

Между селом и деревней заснежено поле.  
Тропочка вьется, которою ходят гуськом.  
Бродим и бродим по этой холодной юдоли:  
Кто-то обутым, а кто-то всю жизнь босиком.

Здесь никогда не товарищи пеший и конный,  
Сытый голодного тоже никак не поймет.  
И в восстановленном храме пред светлой иконой  
Молятся кто за земной, кто за вечный живот.

Всех Он услышит, и каждому будет по вере.  
Разные все мы, и разные носим кресты.  
И, как бы ни было, — ночи священной в преддверии  
Каждый по-своему милости ждет с высоты

Звездной, торжественной, что благодать распростерла  
Над ликованием церковных воспрянувших глав.  
Вновь призывают Христа и деревни, и села,  
В светлой надежде к распятью губами припав.

\* \* \*

Ожог рябины в сентябре —  
И тот приму за Божью милость.  
А чтоб душа не замутилась,  
Вновь встану рано, на заре.

И день, как чистую тетрадь,  
С волнением душе открою,  
Чтоб всей небесной глубиною  
Любить, молиться и страдать.





## УТРО

### 1

Солнце из лесу приходит,  
На дорогу свет приводит,  
Тень уводит со двора,  
Знать, вставать уже пора.

Со своим чутьем звериным  
За добычей выйдет вор,  
Со своим хвостом павлиньим  
Пустобрешка вступит в спор.

Кто-то будет петь, а кто-то  
Класть кирпич за кирпичом,  
Кто-то вовсе без работы  
Станет горем и бичом.

Ах, как вольно, как тревожно!  
Хоть разбейся, не поймешь,  
Как нельзя жить и как можно,  
И зачем еще живешь?

### 2

Солнце из лесу приходит,  
К спящим людям мир приводит.

За окном слышны авто —  
Колесилки и рычалки,  
В ваннах сушатся мочалки,  
Сняты с вешалок пальто.

А на улицах пестрит  
Люд простой, как листья в парке.  
В животах горит гастрит,  
И в зубах дымят сигарки.

Ну, пора творить дела,  
Тормозить в жаровнях уголь!  
И чтоб эта жизнь  
                        была —  
Вечерком прилечь с подругой.

## ОСЕНЬ

И тяжело вздыхают клумбы.  
Желтеет осень по дворам.  
И птиц крылатые колумбы  
Плывут к заманчивым мирам.

Рядком на грядке перерытой  
Под солнцем сушатся плоды.  
И не сулят больших открытий  
Простые сельские труды.

Пора почистить дымоходы  
И запастись побольше дров.  
И не желать иной свободы,  
И не искать иных миров.

Не надо больше резать вены,  
Не спать и долго жечь огни...  
И если есть душа вселенной —  
Она заметней в эти дни.

Пустеет осень. По сусекам  
Уже рассыпано зерно.  
И скоро станет прошлым веком  
Все, что сегодня мне дано.

\* \* \*

На дорожку в осеннем парке  
среди желтых листьев  
цветное крылышко последней бабочки  
упало.

Еще ничей каблук  
не вдавил его в землю.

А я, грустя и жалея,  
все же не спрятал его в сухой траве.

Просто перешагнул.

И вот теперь, когда клейкий снежок мусолит окна,  
я вспоминаю ту красоту  
и за что-то себя ругаю.

## ОЧЕНЬ ГРУСТНАЯ ПЕСЕНКА

Раньше была надежда,  
Теперь остается — смерть,  
Негаданный мною прежде  
И нынче незванный зверь.

Зима отняла дорожки,  
В гортани, как лед, — слова...

Но светят еще окошки,  
И дарят тепло дрова.

Желанье мое простое:  
Мой ангел, с тобой побыть.  
Я, может, любви не стою,  
Но мало ль что может быть.

## **ПУТЬ ДАЛЕК ЛЕЖИТ...**

### **Биографические заметки**

Забродил в бочонке квас,  
Отцвела смородина.  
Есть у каждого из нас  
Маленькая родина.

Владимир Фирсов

В тревожной, очень часто суматошной и абсурдной нашей жизни спасением для меня является память о детстве и юности. Да, вероятно, и для каждого человека, как бы он ни преуспевал, ни возвышался, ни упивался обеспеченным положением, все-таки лучше, отрадней той поры взросления, молодости быть не может. Когда на душе тяжело, когда наплывает черная тень безысходности, я оглядываюсь назад, всматриваюсь в то далекое прошлое, и мне открывается мир желанный, родной, мир мудрой простоты и открытости.

## **БРАТЬЯ ПЕТРОВЫ**

Я прежде всего вижу свою дорогую Самыловку и словно бы снова босоногим постреленком вбегаю в каждый ее дом по-своейски, запросто, зная о гостеприимстве хозяев.

Из далекого далека каждый деревенский дом видится свежо и подробно. Ну вот, например, избенка на восточной окраине — одно из самых моих ранних, запечатленных детской памятью прибежищ. В убогой этой хибарке жили Петровы. Я помню подростка Мишу. Он был старше лет на десять, но любил возиться, играть с малолетками. В то послевоенное время первейшая наша работа — насытиться. Мы использовали возможность, гуляя по лесу. Миша, помнится, почему-то больше всего привечал меня, брал с собой в свои частые вылазки в ближайшие урочища. Мы искали всякую поживу, например, ягоды — землянику, малину, чернику, гонобобель, костянику. Бывало, ели их еще недозревшими, набивали оскому, так что порой язык не ворочался.

Однажды Миша нашел гнездо глухаря, обрадовался, принес домой яйца, но они оказались уже насиженными. А пернатой дичи в то время водилось множество. Мы часто спугивали целые выводки, и помню, как Миша с восторгом смотрел вслед улетающей в чапыжи тяжелой птице и восклицал: «Вот бы ружье!»

В пору созревания рябины он ставил на птиц хитроумные петли. Нагибал очищенное от веток молодое деревце, привязывал бечевку, делал подвесной мостик из тонких палочек, на мостик укладывал бечевку петель, а по сторонам втыкал рогульки с защемленными

кисточками ягод рябины. Птица склевывала с одной стороны и бежала к другой рогулке. Она вступала на мостик, он обрушивался, петля захлестывала ногу, деревце выпрямлялось и поднимало бьющуюся на бечевке птицу. Конечно же, такой способ добычи иначе как диким не назовешь. Но что мы понимали в то бедственное голодное время?

Однажды Миша поставил в мелколесье ловушку. Только отошли метров на сто, чтобы поставить другую, как вдруг услышали звуки суматошное хлопанье крыльев. Мы побежали к тому месту и увидели мечущегося на бечевке краснобрового тетерева. Сработала только что поставленная ловушка. Миша высвободил тетерева из петли и понес домой живого. Как раз шли женщины с поля, и помню, с каким торжеством он поднял бьющегося в руках косача.

Иногда Миша чем-нибудь нас угощал. Но больше всего мне запомнилась вода, подслащенная сахарином. Он разводил таблетки в колодезной воде, черпал ее медным ковшом. Обрадованные, мы пили до опухления.

Миша первый привел нас к нашей звонкоструйной колыбели — к речке Мере. Самыловку огибал лишь безымянный ручеек. Он брал начало за нашей деревней в болотце и в летнюю пору выдыхался, пересыхал вовсе. А Мера протекала в километре пути. Так что мы в первые годы жизни вообще не имели представления об этом природном чуде — непрерывном речном потоке. И вот Миша позвал нас. Помнится, мы бежали сосновым бором по узенькой, усеянной хвоей тропе. Сквозь прибрежный кустарник вдруг блеснула речная рябь, слышалось журчание. Мы раздвинули ветки и замерли. В невысоких, окаймленных камышом берегах струился поток. Водоросли покачивались, песок на дне золотился, стайки рыбок сбивало течением, но они снова и снова устремлялись навстречу струям. Когда-то тут стояла мельница. Между оплесневелых, покрытых бархатом лишайника свай вода бурлила, вспухала шапками пены. На дне лежал замытый песком расколотый жернов. Река в то время, можно сказать, кишела рыбой, и Мише удавалось ловить ее простейшим способом — обыкновенной грибовой корзиной. Он погружал поставленную набок корзину и шел с ней навстречу течению, а мы со сверстниками суетились по сторонам, старательно взбивали воду и как бы загоняли рыбу в корзину. Миша резко поднимал корзину, и каждый раз на дне ее при скакивало несколько пескариков и плотвичек. Рыбу покрупнее — щурят, налимов — он изловчался колоть вилкой. Один раз ударил довольно крупную щуку и не смог ее удержать, щука вырвалась и уплыла вместе с вилкой.

Одно время Миша возил фляги с молоком в Воронский сырцех и опять же брал меня с собой. До сих пор вижу старенькое приземистое помещение, отрухлевший заплесканный пол, звон бидонов, веселые голоса работниц. Миша сдавал молоко, его одаривали тонкими брусочками сыра — вероятно, остатки, извлеченные из щелей прессы. Уминая лакомство, свесив ноги с телеги, катили мы, довольные, домой.

Миша научил нас вырезать черемуховые свистульки, дудки из ягеля, трещотки, берестяные рожки. Мы вместе с ним ходили весной в поле, собирали колоски с уже проросшими зернами, копали перезимовавшую в гребнях картошку, а когда начинало поспевать гороховое поле, то пробирались в него ползком от опушки леса и, притаившись, полулежа, шелушили сладкие стручки, набивали карманы.

В лесу мы часто находили гнезда с птенцами, ежей, а однажды Миша накрыл кепкой зайчонка и отдал его мне. Я принес его домой, выпустил в «горнице». Заяц жил неделю, поедая оставленную морковку, щавель, зерна. Ему удалось убежать — вытащил тряпку из дыры в пазу угла. Несколько дней я ходил сам не свой, печалился.

Игра в лапу — особая наша отрада, заводилой опять же был Миша. Такое осталось впечатление: возился он с нами до самого призыва в армию. А служил Миша в Германии. После службы какое-то время работал в леспромхозе, потом уехал в Кострому, там его след и затерялся.

Старший брат Миши, Александр, как-то выделялся среди деревенского люда. Во-первых, помнится, он владел несвойственным мужчинам рукодельем — вязанием. Хорошо у него получалось — быстро, ловко и красиво. Потом у него обнаружили способности артиста-юмориста. Играл на сцене Замерского клуба в спектаклях, исполнял всякие потешные сценки из колхозной жизни. Чувствовал он себя раскованно. Все было узнаваемо, достоверно. Зрители смотрели на него с азартом и хохотали, поджав животы.

Какое-то время до слияния с Воронским сельсоветом Александр работал председателем сельсовета Замерского, а когда объединили — на должности бригадира.

Жизнь его оборвалась трагически. Лето 1961 выдалось дождливое, слякотное. Небо хмурилось обложными тучами, мелкий, нудный дождь поливал сутками. Ручьи, речки переполнились, как в весеннее половодье.

В один из ненастных дней в бригаде закончили закладку силосного кургана и, как принято, решили отметить это дело выпивкой. Вечером тракторист на ДТ-20 поехал проводить Александра до Боловинской (Петровы уже переехали из Самыловки в эту деревню). Уехали и пропали. Через сутки вода пошла на убыль, тогда и увидели в речке Меркиш, что протекает возле Боловинской, выступающее из воды тракторное колесо. Все легко можно было представить: захмелевший тракторист по скользкому береговому уклону не угадал по середине подтопленного моста, правые колеса оказались с внешней стороны продольного, прижимающего мостовые слуги бревна. Подопревшие их концы под тяжестью трактора обломались, и он опрокинулся в реку, придавил Александра с трактористом.

В деревенской нашей жизни, понятное дело, всякие случались происшествия. Тяжелая действительность, порой нелепая, горькая. Свирепые и драматические ее стороны бывали вызваны разными обстоятельствами, и тут большой простор для осмысления, но сейчас

мне хочется вспомнить отрадное из той далекой жизни, хочется коснуться светлых ее начал, тех родниковых истоков, что и до сих пор дают возможность с надеждой смотреть на мир. Взгляд на окружающую жизнь формировался как бы исподволь и постепенно. Детская любознательность настойчиво и неумно пробивала дорогу. С высоты родительского порога были видны невзрачные дома деревни, уходящая за околицу глинистая дорога, колодезный журавль, обнесенные тыном огороды, старые березы и черемухи, зеленые лужайки, темнеющий вдали лес... Держась за материнскую ладонь, шагнул я в этот безбрежный грозный мир. И пошел, и пошел, вглядываясь все дальше, все шире. Конечно же, постигать загадку жизни помогли мне прежде всего старшие сестры и братья. Но и доброе покровительство Миши Петрова, его водительство по лесным урочищам, всевозможные выдумки, находчивость положили начало заинтересованному отношению к природе, к течению многомерной и многообразной жизни.

## ЕЛИЗАВЕТА ГРИБКОВА

Один из самых видных дом Елизаветы Яковлевны Грибковой — широкий, светлый, с наличниками, с двумя крыльцами. Он и строился то, видимо, на две семьи, но жила в нем лишь одна Елизавета Яковлевна — маленькая, подвижная, с ясными, голубыми, как сама она про себя говорила, «жгучими» глазами вдова. Замуж она вышла в канун войны, муж сразу же ушел на фронт и вскоре погиб. Вот она и жила памятью о нем, печалилась и пела все какие-то нарочито бедовые частушки да песню бабьего счастья той поры «Каким ты был — таким остался...» Я помню обручальное кольцо на ее руке, серебряное, потускневшее, она любила его потрогать, посмотреть на него с грустью. Кольцо уже невозможно было снять с заскорузлого, разбухшего от ломовой работы пальца. Ей советовали распилить его, — дескать, поди-ко, жмет, давит, но она ни за что не соглашалась.

Не могу сказать, что была она уж очень набожна, но икон в углах висело много, по праздникам всегда горела лампадка. И старинные, написанные по-славянски книги лежали на столе. Запомнился огромный, окованный железом, с овальной крышкой сундук, всегда он вызывал во мне чувство загадочности и восхищения.

Мне помнится, очень боялась Елизавета Яковлевна грозы. С приближением погромухивающей тучи закрывала вьюшки и душники дымохода и даже на самовар накидывала полотенце.

Вскоре после войны на короткое время поселился в свободной половине ее дома с молодой женой фронтовик Николай Седов, председатель колхоза.

Впервые я услышал в их квартире голос радио. Видимо, батарейный приемник «Родина» председателю положен был по праву занимаемой должности. Мы слушали это чудо с замиранием сердца.

Особенно поражал голос негритянского певца Поля Робсона, мощно, раскатисто он пел: «Широка страна моя родная...»

Впоследствии просторный дом Елизаветы Яковлевны стал служить вроде общежития. Уж и не знаю, добровольно или по распоряжению, только командированных в наш край из Костромы рабочих — на лесозаготовки, на сплав, на разные сельхозработы — поселяли всегда к ней. Сколько тут перебивало разного люда, в том числе и расписанных татуировками лагерников, прочей блатной публики! Работали, как я запомнил, они плохо, неумело, но харчей требовали нахраписто, и бригадир в растерянности за голову хватался.

Отчетливо видятся устраиваемые в доме Елизаветы Яковлевны празднества — собирались всем маленьким колхозом после завершения посевных работ, после уборки урожая, гуляли весело, самозабвенно, дружно. Под раздольные гармонные переборы танцевали вихревые кадрили, плясали и, конечно же, пели протяжные старинные песни.

Удивительное это застолье пробуждало какое-то трепетно-восторженное чувство. Как они сидели плечом к плечу, с какой преданностью переглядывались, как сияли их лица! И как они пели — это об их доле, об их судьбе говорилось в каждой невесть когда и кем сложенной песне.

Степь да степь кругом,  
Путь далек лежит...

Пронзительно печально лилась мелодия. Они пели и верили, что после проклятой войны жизнь в конце концов наладится, станет счастливой, зажиточной. Они надеялись распоряжаться своей землей, надеялись на свободное обустройство своего подворья, на достойное вознаграждение за труд, на справедливость к своей измученной в военное лихолетье жизни. Они не знали, что будут горько обмануты, что им придется еще не один раз замолчать и смириться. «Путь далек лежит...» Куда он лежит, что впереди, какие неведомые пространства? Вопросы эти останутся для них загадочными.

Все придется снести, пережить — им не распоряжаться выращенным урожаем, сусеки все равно выгребут и ничего не заплатят, вместо клевера заставят сеять кукурузу, осушат клюквенное болото, закроют ферму, обложат налогом яблони, будут гонять с сенокоса, обрежут приусадебный участок, а потом и вовсе объявят их деревни неперспективными. Они доживут до пришествия новой власти, как бы в противовес той прежней, вездесущей и назойливой, — теперь уже равнодушной, какой-то бессильной. И будут они доживать свой век в заглушенных деревеньках на скудную, то и дело утаиваемую плутоватым чиновничеством на несколько месяцев пенсию, в постоянных тревогах о дровах, хлебе, лекарствах, о своей неизбежной кончине — только бы не замаяться, лечь в родную землю по-человечески.

\* \* \*

Как изменились прежние понятия!  
Зловеще «исчезнуть или быть»  
Заставило впервые обывателя  
Митинговать, на площадях бурлить!

Мой мир земной! Последнее безумие  
Терзает век мутантами идей.  
Я знаю — победителей не судят.  
Но их не будет на Земле моей!..

\* \* \*

Не согреет солнце слепую жизнь.  
Научиться летать невозможно...  
По наклонной плоскости — вниз.  
Ос-торожно!

Поднимусь и попроще выберу путь —  
Пусть «трещат соловьи  
И признания страстные».  
Хорошо бы себя обмануть —  
Все прекрасно!

И, поверив,  
За радость выдать смех.  
И вздыхать «о любви, о цветах, о счастье»...  
Хорошо бы еще раз — вверх!  
Чтоб уж — насмерть.

\* \* \*

Немудрено дожить до ста,  
Коль гены — клад.  
Не ставить на себе креста  
Трудней стократ.

За исключением единиц  
Мы все сдались —  
Мечты меняем на синиц,  
Брюзжа на жизнь.

И, может быть, коптить до ста  
Не надоест...  
Не ставить на себе креста!  
Нести свой крест!

\* \* \*

Улыбаюсь, шучу,  
Притворяюсь счастливым.  
Если нужно — молчу,  
Замирая красиво.

А домой прихожу —  
И нет силы раздеться.  
Неподвижный, сижу,  
Потеряв свое сердце...



\* \* \*

Пусть ночь...  
Завистница свеча  
Тебя у темноты украла,  
Коснувшись теплого плеча  
И губ обиженно-лукавых.

Бродили тени, не дыша,  
Шептались пальцы в складках платья...  
Духов прозрачная душа  
Была замучена в объятьях.

Рассвета розовый дымок  
Задул свечу и ночь развеял.  
Но обнажил немой упрек,  
Случайный,  
Пятнышком на шее...

\* \* \*

Смещаясь в плоскости волны,  
Я незаметен.  
Мы — параллельные миры  
В тисках столетий.

И если нет тебя со мной,  
Я не ревную.  
Ты лишь из плоскости одной  
Вошла в другую.

А впрочем, надо ли грустить?  
Ведь так занято —  
В тридцатом веке погостить,  
Проснуться в пятом.

Какая разница — куда  
Смещаться полем?  
Хоть возмущает иногда  
Чужая воля...

Мы — параллельные миры,  
Мы бесконечны.  
Жаль только — правила игры  
Так бессердечны...

\* \* \*

Когда-нибудь пойму,  
Но не прощу. Прости...  
Споткнулся на бегу —  
И снег в горсти.

Твой взгляд беспечный лжет,  
Оправдывая страсть.  
Растаял снег — и вот:  
В ладони — грязь...

\* \* \*

Мне давно за тридцать.  
Странная пора —  
Боли в пояснице,  
То не спится,  
То хандра...

Втянешься в работу,  
Но угрюм, как смерть.  
Давит опыт,  
Душит опыт —  
Не дает взлететь.

Мне бы ошибиться,  
Наобум пойти...  
За полночь. Не спится.  
Что еще случится  
Впереди?

*Алексей Зябликов*

\* \* \*

Брошен камень в зеленый затон —  
Не взиграет водица, не сдвинется.  
Ты скажи, я здесь жить осужден  
За какую провинность, провинция?

Пересудов унылая песнь,  
Перехлесты березовых веников.  
Затрапезная, жалкая спесь  
Постовых, титулярных советников.

Полупьянный картуз набекрень  
И... растерянно гнев остывающий:  
Под окошком густая сирень  
И котяра, гостей намывающий.

Ветви клонит растрепанный клен,  
Тихо всходит луна бледнолицая.  
Ты скажи, я здесь жить награжден  
За какие заслуги, провинция?

\* \* \*

Ты, я вижу, родная, соскучилась  
По речовкам и ликам стальным.  
Ты, я вижу, родная, намучилась  
С собеседником ушлым своим.

Черный космос — тематика скользкая,  
На душе от нее неуют.  
То ли дело — кудель комсомольская:  
Мир, весна, счастье, молодость, труд!

То ли дело — уверенной поступью  
По ухабам шагать напрямик,  
Эту жизнь, неприглядную, постную,  
Обращая в пахучий цветник.

Только все это дым — дело прошлое!  
Ты приляг на ладошку мою.  
Расскажу тебе сказку хорошую,  
Колыбельную песню спою.

\* \* \*

Плывут по Волге пароходы —  
Похоже, дань везут в Орду:  
Коней владимирской породы,  
Меха, железную руду,

Янтарь ливонский, воск и деготь.  
Везут от северных щедрот  
Моржовый клык, совиный коготь,  
Чухонский сыр, ветлужский мед.

Плывут по Волге пароходы,  
Везут в Ливонию дары:  
Коней владимирской породы,  
Шелка, ордынские ковры.

А я сажу на косогоре,  
Оставив при себе навек  
Свое нетонущее горе,  
Свой белый прошлогодний снег.

\* \* \*

Вещи в разошедшемся старом комод:  
Бисер, непарные запонки, —  
Верность хранящие давешней моде  
И берегущие запахи  
Давешних рук, суесловия прежнего,  
Вальса, о чем-то взгрустнувшего,  
Близкого и безнадежно нездешнего —  
Канувшего, минувшего...

## МОРОК

Виденье: стог, а рядом ель...  
И ножик вострый.  
Юдоль, сиротство и метель —  
родные сестры.

Не в масть!  
Отмерены шаги  
во тьме морозной.  
Мысль предпоследняя: «Беги!»  
Бегу...  
Ан поздно!..

И хрипло все послав к дрозду,  
оскалясь разом,  
возжег тунгусскую звезду  
стеклянным глазом.

Таежный волк — и тьма в ладонь,  
и пар колечком —  
изнемогает, как комонь\*  
с лицом кузнечика...

И волк, и конь, и человек —  
Вселенной прясла.  
...А пена падала на снег,  
цвела и гасла...

И лишь вверху, среди стропил  
и кметов\*\* бритых,  
бил кто-то в бубен, в рог трубил  
о всех убитых.

## ПУШКИН И НАЩОКИН

«Знаешь, брат, ты все болеешь,  
может, скоро и помрешь,  
так тебе я подыскал уж  
под Михайловским могилку —  
вся песчаная, сухая,  
чтоб не сыро тебе было,  
чтоб лежал ты хорошо...  
Ну, попозже, может статья,  
что и я помру, так рядом  
будем мы с тобой лежать,  
чтоб уже не расставаться:  
мы с тобой ведь как два братца —  
то-то радость будет нам...»

---

\* Комонь (старорусск.) — конь.

\*\* Кметы (старорусск.) — воины.

Так вот Пушкин утешал  
расхворавшегося друга,  
а Нащокин, лоб наморщив,  
отвечал поэту: «Полно!  
Что городишь! Не шути!»  
Но, однако, шел в поправку,  
кашу ел и здоровел.  
И прожил еще довольно...

...  
А узнав о смерти друга,  
Павел Воинович рухнул  
без сознания, где стоял...

...  
Здесь и мы поставим точку.  
Каждому своя стезя.  
И шутить уже нельзя...  
И лежат поодиночке  
неразлучные друзья.

## ЭЛЕГИЯ

И этот стол, и ваза для цветов,  
и полка с книгами, подвешенная скверно,  
и вороха исчерканных листов —  
уж что не вечно! —

да и то, наверно,  
переживут владельца.

Рухлядь, хлам,  
старье для дачной и чердачной пыли...  
И вечность целую пребудут вещи там,  
куда их вынесли и где потом забыли.

Не тешусь я, а ты надейся, друг,  
что время не сгорит в гудящей топке,  
свернется трубкой, и из печки вдруг  
порхнет листок — один из целой стопки.

И, как зверек, приткнется к башмаку  
клочок обугленный нетленного творенья,  
и в искрах тающих вдруг высветит строку:  
«Лишь словом ты летишь сквозь тишь забвенья».

\* \* \*

В какой-то неизбежной связи  
с дорогой, уходящей вдаль,  
березы, тополя, и вязы,  
и предосенняя печаль.

И ты стоишь, как часть пейзажа,  
в него вращая все сильней,  
и хлад небес, и древа жажда  
становятся судьбой твоей.

*Николай Муренин*

## **ЗВЕЗДА**

Листва зашумела и стихла,  
Закат запылал и погас,  
Звезда молодая возникла  
На небе в полуночный час.

Она удивленно глядела  
Туда, где средь мыслей и дел  
Душа человека темнела  
И разум его тяжелел.

Лихое столетье кончалось,  
И людям желая помочь,  
Звезда одиноко помчалась  
В глухую безмолвную ночь.

Но был этот путь ей неведом,  
Сквозь тернии и темноту,  
И между землею и небом  
Погасла она на лету.

И люди заметили это —  
Смещение света и тьмы,  
Сказали: сгорела ракета,  
Которую сделали мы.

## НАРОД

Без остановок на постой  
Уже который год  
Народ великий и простой  
По пустоши идет.

Следы горячего песка  
В глазах и на устах.  
Назад оглянется — тоска,  
Вперед посмотрит — страх.

Мечтал о будущем ином,  
Но оказалось — зря.  
По жизни шел с поводырем —  
И нет поводыря.

И вот опять один во мгле  
Несет с собой свой грех.  
Он так велик, что на земле  
Беспомощнее всех.

Слезу уронит со щеки,  
О пройденном скорбя,  
И сам себя не защитит  
От самого себя.

## ЧЕЛОВЕК

Все в жизни ему надоело,  
Он в поле и в лес не ходил.  
Оставил любимое дело,  
А деньги и власть полубил.

Он голоса неба не слышал  
И в сердце не ведал стыда...  
Однажды из дома он вышел,  
Пошел неизвестно куда.

И к храму дорога открыта,  
И лес-чудодей впереди...  
Он вспомнил и вздрогнул от крика  
В давно онемевшей груди.

Но шепотом крик обернулся,  
Идти дальше не было сил.  
Он к дому, шатаясь, вернулся  
И полную кружку налил.

Он умер от гнева и боли,  
Не кончив земные дела...  
И долго еще в чистом поле  
Земля человека ждала.

## СПАС

Возьму на автобус билетик,  
В село под названием Спас.  
Кончается тысячелетие,  
Которое было при нас.

Ну, что изменилось в итоге?  
Ответ очевиден и прост.  
Пойду по унылой дороге,  
Где рядом со свалкой погост.

Где влажными смотрит очами  
Забитый в заказнике лось...  
Как много беды и печали  
По нашей земле разлилось.

Крестьян обдирали как липку,  
Попов из прихода — в тюрьму...  
И крикну, а может быть, всхлипну:  
«За что это нам? Почему?»

Откликнется гулкое эхо,  
И туча по небу пройдет,  
И дождь из десятого века  
На голову мне упадет.

Опять перемены в погоде,  
Опять повороты в пути;  
А жизнь, не начавшись, проходит,  
И некогда душу спасти.







# ЛИТЕРАТУРНЫЕ УРОКИ

*Анна Ахматова*

## МУЖЕСТВО

Мы знаем, что ныне лежит на весах  
И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших  
часах,

И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями  
мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова, —  
И мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя  
пронесем,

И внукам дадим, и от плена спасем  
Навеки!



*Юрий Лебедев*

## УРОКИ ГОГОЛЯ

«Ничего не говорю о великости этой утраты. Моя утрата всех больше, — писал Н. В. Гоголь друзьям, получив известие о гибели Пушкина. — Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки... мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего я не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Все, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему».

Гоголь встретился и сошелся с Пушкиным в 1831 году, а расстался с ним, уезжая за границу, в 1836-м. С уходом Пушкина исчезла опора. Небесный свод поэзии, высокой и недостижимой в своей божественной гармонии, который Пушкин, как Атлант, держал на своих плечах, теперь обрушился на Гоголя. Он испытал впервые чувство страшного творческого одиночества, о котором поведал нам в начале седьмой главы «Мертвых душ».

Ясно, что в поэте, который никогда не изменял возвышенному строю своей лиры, Гоголь видит Пушкина, а в писателе, погрузившемся в изображение «страшной, потрясающей тины мелочей, опутавших нашу жизнь», писателе одиноком и непризнанном, Гоголь видит себя самого. За горечью утраты Пушкина, великого гения гармонии, чувствуется уже скрытая полемика с ним, полемика, свидетельствующая о творческом самоопределении Гоголя по отношению к пушкинскому художественному наследию. Эта полемика ощущается и в специальных статьях. Определяя Пушкина как «русского человека в его развитии», Гоголь замечает, что красота его поэзии — это «очищенная красота», чуждающаяся дисгармонии, не снисходящая до «ничтожных мелочей».

В «Выбранных местах из переписки с друзьями», давая Пушкину неизменно высокую оценку, Гоголь замечает в то же время некоторую односторонность его эстетической позиции: «Изо всего, как ничтожного, так и великого, он исторгает только одну его высшую сторону, не делая из нее никакого применения к жизни... Пушкин дан был миру на то, чтобы доказать собою, что такое сам поэт, и ничего больше... Все сочинения его — полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву; но сам поэт на битву ... не вышел». Не вышел потому, что «становясь мужем, забирая ото всюду силы на то, чтобы управляться с большими делами, не подумал о том, как управиться с ничтожными и малыми».

Мы видим, что сквозь похвалу Пушкину слышится гоголевский упрек ему. Может быть, этот упрек не совсем справедливый, но зато ясно выражающий творческое мироощущение Гоголя. Он рвется в битву со всем накопившимся «сором и дрязгом» «растрепанной действительности», который был оставлен Пушкиным без внимания. Он отстаивает действенную, преобразующую мир роль литературы, которая призвана, по Гоголю, принимать активное участие в жизнестроительстве более совершенного человека и более гармоничного

миропорядка. Задача писателя, по Гоголю, заключается в том, чтобы открыть человеку глаза на его собственное несовершенство, чтобы обнажить социальные язвы и нестроения в мире, в котором он живет.

Расхождение Гоголя с Пушкиным было не случайным и определялось не личными особенностями его дарования. Ко второй половине 1830-х годов в русской литературе началась смена поколений, наступала новая фаза в самом ее развитии. Пафос Пушкина заключался в утверждении гармонических и высоких идеалов. Пафос Гоголя — в критике, в обличении жизни, которая вступает в противоречие с собственными потенциальными возможностями, обнаруженными гением Пушкина — «русским человеком в его развитии». Пушкин для Гоголя остается идеалом совершенства, опираясь на который он подвергает анализу современную несовершенную жизнь, обнажая свойственные ей болезни и призывая ее к исцелению. Образ Пушкина является для Гоголя «солнцем поэзии» и одновременно залогом того, что русская жизнь может развиваться и совершенствоваться в пушкинском направлении. Пушкин — это гоголевский свет, гоголевская надежда.

«Высокое достоинство русской природы, — утверждал Гоголь, — состоит в том, что она способна глубже, чем другие, принять в себя слово Евангельское, возводящее к совершенству человека. Семена небесного Сеятеля с равной щедростью были разбросаны повсюду. Но одни попали на проезжую дорогу при пути и были расхищены налетевшими птицами; другие попали на камень, взошли, но усохли; третьи в тернии, взошли, но скоро были заглушены дурными травами; четвертые только, попавшие на добрую почву, принесли плод. Эта добрая почва — русская восприимчивая природа. Хорошо взлелеянные в сердце семена Христовы дали все лучшее, что ни есть в русском характере».

Пушкин, по Гоголю, как раз и явился гением русской восприимчивости. «Он заботился только о том, чтобы сказать одним одаренным поэтическим чутьем: «Смотрите, как прекрасно творение Бога!» — и, не прибавляя ничего больше, перелетать к другому предмету затем, чтобы сказать также: «Смотрите, как прекрасно Божие творение!»... И как верен отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русский весь с головы до ног».

В этом — секрет «силы возбудительного влияния» Пушкина на любой поэтический талант. Гоголь почувствовал эту возбудительную силу в самом начале творческого пути. Пушкин дал ему «некий свет» и призвал его: «Иди ж, держись сего ты света. Пусть будет он тебе единственная мета». Гоголь пошел в литературе собственным путем, но направление движения определял по пушкинскому компасу.

На протяжении всей жизни своей Гоголь чувствовал себя одиноким. Ему казалось, что современники плохо его понимают. В Гоголе все видели писателя-сатирика, обличителя пороков современного общественного строя. Но скрытые духовные корни, которые питали его обличительное дарование, лирико-мистическую его глубину, современники склонны были не замечать. Гоголь признавался, что в процессе творчества он прислушивается к высшему зову, требующему от него безусловного повиновения. Вслед за Пушкиным он видел в писательском призвании Божественный дар. В изображении человеческих грехов, человеческой пошлости Гоголь более всего опасался

авторской гордыни. Ведь писатель — человек: он подвержен тем же грехам, что и люди, им изображаемые. Но в минуты творческого вдохновения он теряет свое «я», свою человеческую «самость». Его устами говорит уже не человеческая, а Божественная мудрость: голос писателя превращается в пророческий глас.

Мировоззрение Гоголя в основе своей было глубоко религиозным и не изменялось на протяжении всего творческого пути. Он никогда не разделял творческих установок Белинского и русской либерально-западнической мысли, согласно которым человек по своей природе добр, а зло заключается в общественных отношениях, развращающих человека. «Природа человека» никогда не представлялась Гоголю «мерою всех вещей», ибо он, как православный христианин, был убежден: эта природа помрачена «первородным грехом». Источник общественного зла заключен не в социальных отношениях, и устранить это зло с помощью реформ или революций нельзя. Несовершенные общественные обстоятельства — не причина, а следствие человеческой порочности. Внешняя организация жизни — отражение внутреннего мира человека. И если в человеке помрачен его Божественный первообраз, никакие изменения внешних форм жизни не в состоянии уничтожить зло.

Гоголь бичевал социальное зло в той мере, в какой видел коренной его источник. Он дал этому источнику имя — «пошлость современного человека». Такого понятия не существует в европейских языках. Какой смысл оно несет? «Пошлым» является человек, утративший духовное измерение жизни, являющееся стимулом его роста и совершенствования. Когда помрачается образ Божий в душе, человек превращается в плоское существо, замкнутое в себе самом, в своем эгоизме. Человек становится пленником своих земных несовершенств и погружается в болото бездуховного «ничто», вязнет в трясине мелочей. Смысл существования сводится у него к потреблению материальных благ, которые тянут душу вниз — к расчетливости, хитрости, лжи. Гоголь пришел к мысли, что всякое изменение жизни к лучшему надо начинать с преображения человека. В отличие от либералов-реформаторов и революционеров-социалистов он не верил в возможность обновления жизни путем изменений существующего общественного строя. «Мысль об «общем деле» у Гоголя была мыслью о решительном повороте жизни в сторону Христовой правды — не на путях внешней революции, а на путях крутого, но подлинного религиозного перелома в каждой отдельной человеческой душе», — писал русский религиозный мыслитель Василий Зеньковский.

Литературу Гоголь представлял как действенное орудие, с помощью которого можно пробудить в пошлом человеке религиозную искру и подвигнуть его на этот крутой перелом. И только задержка с написанием второго тома «Мертвых душ», в котором он хотел показать пробуждение духовных забот в пошлом человеке, заставила его обратиться к прямой религиозной проповеди в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Белинский обрушился на эту книгу в знаменитом «Письме к Гоголю», упрекая писателя в отступничестве от «прогрессивных» взглядов и в религиозном мракобесии. Это письмо показало, что религиозную глубину гоголевского реализма Белинский не чувствовал и в предыдущих своих статьях. Пафос реалистического творчества Гоголя он сводил к обличению «общественного строя».

От Белинского пошла традиция делить творчество Гоголя на две части. «Ревизор» и «Мертвые души» рассматривались как прямая

политическая сатира, а «Выбранные места» толковались как произведение, явившееся в результате крутого перелома в мировоззрении писателя. При этом не обращалось внимания на неоднократные и настойчивые уверения Гоголя, что «главные положения» его религиозного мирозерцания оставались неизменными на протяжении всего творческого пути. Идея воскрешения «мертвых душ» была главной и в художественном, и в публицистическом его творчестве: «Общество тогда только поправится, когда всякий человек займется собою и будет жить как христианин».

Гоголь убежден, что общественно-историческая жизнь нации связана тысячами незримых нитей с душевным состоянием каждого человека, она складывается из «мелочей». Именно в «мелочах» повседневной жизни образуются как положительные, так и отрицательные устремления общественного бытия, как идеальная, «прямая его дорога», так и «уклонения» от нее. Отсюда возникает на страницах «Мертвых душ» редкое сочетание дробности и детальности художественного анализа с масштабностью и широтой художественных обобщений.

Если раньше «плодотворное зерно» русской жизни Гоголь искал в историческом прошлом («Тарас Бульба»), то теперь он хочет найти его в современности. Гоголь верит, что душа русского христианина, пройдя через искушения и соблазны, вернется на путь православной истины. В глубине падения своего, на самом дне пропасти, ощутит христианин загорающийся в его душе праведный свет, голос совести. Один из героев второго тома, обращаясь к Чичикову, говорит: «Ей-ей, дело не в этом имуществе, из-за которого спорят и режут друг друга люди, точно как можно завести благоустройство в здешней жизни, не подумывая о другой жизни. Поверьте-с, Павел Иванович, что покамест, брося все то, из-за чего грызут и едят друг друга на земле, не подумают о благоустройстве душевного имущества, не установится благоустройство и земного имущества. Наступят времена голода и бедности, как во всем народе, так и порознь во всяком... Это-с ясно. Что ни говорите, ведь от души зависит тело... Подумайте не о мертвых душах, а о своей живой душе, да и с Богом на другую дорогу!»

В том же томе генерал-губернатор, почувствовав бесплодность борьбы со взяточничеством административными мерами, собирает всех чиновников губернского города и произносит такую речь: «Дело в том, что пришло нам спасти нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас самих; что уже, мимо законного управленья, образовалось другое правление, гораздо сильнейшее всякого законного. Установились свои условия; все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях дурных чиновников приставленьем в надзиратели других чиновников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк, что он так же, как в эпоху восстанья народ вооружался против врагов, так должен восстать против неправды».

Обращение военного губернатора к подчиненным здесь напоминает речь Тараса Бульбы о «товариществе». Но если запорожский герой Гоголя призывал народ к сплочению и духовному единству перед лицом внешнего врага, то герой второго тома «Мертвых душ» зовет к всеобщей мобилизации и сплочению против врага внутреннего. Именно в духовной перспективе, открывавшейся перед Гоголем,

можно правильно понять направление и пафос первого тома «Мертвых душ».

Поэма открывается въездом в губернский город NN рессорной брички Чичикова. Знакомство с главным героем предваряется разговором «двух русских мужиков» о возможности этой брички.

«Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет», — отвечал другой. — «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился».

Ясно, что бричка Чичикова есть нечто большее, чем экипаж какого-то частного лица. Она символизирует в конечном счете тот путь, ту дорогу, по которой устремилась Русь. До Казани такая бричка не доедет. Почему? Знающие толк в русской езде мужики обращают внимание на ее колесо. Они знают, что кривое колесо «колесит», то есть едет не прямо, а по кругу, и что на таком колесе быстро «отколесишь», то есть далеко не уедешь: до Москвы доберешься, а до Казани — нет. И уже в самом начале поэмы дается намек, что колесо брички, на которую уселся самодовольный Чичиков, кривовато, что русским странством ему не овладеть.

Как расчетливый делец, Чичиков еще на губернской вечеринке наметил для себя строгий план путешествия от Манилова — к Собакевичу. Но в пути Селифан неспроста возмущается правым пристяжным конем Чубарым, благодаря которому бричка Чичикова постоянно косит и забирает влево, уклоняясь с прямого пути.

«Хитри, хитри! вот я тебя перехитрю! — говорил Селифан, поднявшись и хлестнув кнутом ленивца. — Ты знай свое дело, панталонник ты немецкий!.. Ну, ну! что потряхиваешь ушами? Ты, дурак, слушай, коли тебе говорят! Я тебя, невежа, не стану дурному учить. Ишь, куда ползет!.. У, варвар! Бонапарт ты проклятый!.. Ты думаешь, что скроешь свое поведение. Нет, ты живи по правде, коли хочешь, чтобы тебе оказывали почтение ...».

Только ли к Чубарому относится эта речь? «Если бы Чичиков прислушался, — пишет Гоголь, — то узнал бы много подробностей, относившихся лично к нему...». Заодно с Селифаном взбунтовалась и русская природа: «...сильный удар грома заставил его очнуться». А Селифан, как русский человек, «не вдаваясь в дальние рассуждения», поворотил *направо*, на первую перекрестную дорогу, «и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога». За «глупостью» Селифана, как в русской народной сказке, скрывается мудрый смысл. Избранная Чичиковым дорога не отвечает сути русской природы с ее особым, связанным с жизнью по правде, предназначением.

«Держи, держи, опрокинешь!» — кричал он ему. — «Нет, барин, как можно, чтоб я опрокинул, — говорил Селифан. — Это нехорошо опрокинуть, я уж сам знаю; уж я никак не опрокину». Затем начал он слегка поворачивать бричку, поворачивал-поворачивал и наконец выворотил ее совершенно набок. Чичиков и руками и ногами шлепнулся в грязь».

Гоголевский реализм тут вырастает до символа. «Бричка» — Россия, Селифан — вожатый, а Чичиков? А Чичиков уж не Чубарый ли? Когда в имени Коробочки он раздевается, то «отдает Фетинье *всю снятую с себя сбрую*, как верхнюю, так и нижнюю». А в конце первого

тома, рассуждая, почему добродетельный человек не взят в герои поэмы, Гоголь прямо указывает на правомерность и сознательность этой ассоциации: «Потому что пора наконец дать отдых добродетельному человеку» и «припрячь подлеца. Итак, припряжем подлеца!»

С самого начала поэмы бричкой Чичикова «правит» не только он сам, и не только его Селифан, но еще и случай — «мощное и внезапное орудие Провидения». «Как будто сама судьба решилась над ним сжалиться. Издали послышался собачий лай. Обрадованный Чичиков дал приказание погонять лошадей. *Русский возница имеет доброе чутье* вместо глаз; от этого случается, что он, зажмурия глаза, качает иногда во весь дух и всегда куда-нибудь да приезжает». Русский путь немислим без того, чтобы «возница» не пускал коней на волю Божию.

Так русская дорога с самого начала «поправляет» планы Чичикова и сбивает его с намеченного им «неправого» пути. Ведь случайная, незапланированная встреча с Коробочкой окажется для него роковой, ведущей к разоблачению (неспроста у Коробочки Чичиков вынужден снять с себя «всю сбрую»). Таким же путем русская жизнь наводит Чичикова и на другого разоблачителя — Ноздрева. Покидая Коробочку, Чичиков получает в провожатые крестьянскую девчонку Пелагею, которая по-русски «глупа»: не знает, где «право», а где «лево», хотя дорогу указывает правильно. Заодно с Пелагеей оказывается и природа: «земля до такой степени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком». Это замедляет движение брички для того, чтобы «случайно» свести Чичикова с Ноздревым и тем самым нанести второй удар по его хитрому предприятию.

Символична здесь и ноздревская шарманка, которая «играла не без приятности, но в середине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею «Мальбруг в поход поехал», а «Мальбруг в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, *но в шарманке была одна дудка, очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна*». Замечательны, конечно, в расстроенных «шарманках» душ гоголевских героев эти «Божьи дудки», которые свистят в них порой сами по себе и часто сбивают с толку так хорошо продуманные, так логично и безукоризненно спланированные аферы!

Третий и столь же «случайный» удар совершается в пятой главе, перед запланированной встречей Чичикова с Собакевичем, когда бричка его, мчавшаяся во всю прыть от авантюриста Ноздрева, сталкивается с коляской, везущей домой юную институтку — дочь губернатора. Тут опять приходят на помощь «глупые» мужики из соседней деревни. Они долго и бестолково канительятся, чтобы расцепить и развести спугавшиеся друг с другом экипажи. Плут Чубарый находит в это время «новое знакомство» и «никак не хочет выходить из колеи, в которую попал». Чичиков тоже сидит как околдованный, глаз не может отвести от губернаторской дочки. Между тем дядя Миний и дядя Митяй с «рассудительностью» делают всякие «глупости», скрывая за случайными и нелогичными действиями провиденциальную мудрость русской жизни. Их затянувшаяся бестолковая суета дает время всплывать в душе Чичикова ничем не предусмотренному, ни в какие планы не входящему чувству очарованности «прекрасной незнакомкой». Это чувство сыграет потом роковую роль на бале у губернатора. Это чувство расшевелит в окаменевшей душе подлеца Чичикова горькие сожаления: «О моя юность! о моя свежесть!»

Так «глупая» русская жизнь буквально с первых шагов начинает слутывать «умные» планы и «верные» расчеты Чичикова. Она сбивает его с намеченного пути, вываливает в грязь, подталкивает на неожиданные и опрометчивые поступки. Во всем, с чем сталкивается Чичиков на пути «предпринимательской» карьеры, чувствуется, как у нынешних «новых русских», вопиющий недостаток «здорового смысла», мясчанской умеренности и аккуратности, на которых ведь только и держится успех добропорядочного буржуа. Русская жизнь «вредит» ему своими «перехлестами» и «пересолами», целым потоком непредвиденных мелочей, сующих палки в колеса его брички.

В этой «глупой» неупорядоченности русской жизни зоркое око Гоголя подмечает какой-то свой, скрывающийся от самодовольного человеческого разума мудрый смысл. В гостинице, в общей зале, куда явился Чичиков, были развешены во всю стену картины, писанные масляными красками, — картины, как и везде, но на одной из них изображена была «нимфа с такими огромными грудями, каких читатель, верно, никогда не видывал». Этот русский «пересол» берет в плен и самого Чичикова. Вспомним его шкатулку. В отличие от беспорядочной «кучи», которую наш герой встречает в имении Плюшкина, в его шкатулке, казалось бы, царит идеальный порядок. Как пишет чуткий исследователь Гоголя И. Золотуский, шкатулка Чичикова — «тайник его души» и целая поэма одновременно: «Это поэма о приобретательстве, накопительстве, выжимании пота во имя полумиллиона. Там все разложено по полочкам... Каждый предмет к делу, все спланировано, лишнее отмечено, нужное не позабыто. Куча Плюшкина — это бессмысленное накопительство и уничтожение накопленного, шкатулка Чичикова — уже предвестие деловитости Штольца, да и сам Чичиков говорит, как бы обещая гончаровского героя: «Нужно дело делать».

Замечательно! Но все ли в этой шкатулке «приведено в симметрию», все ли в ней «спланировано», все ли «лишнее отмечено»? С какой стати, например, в ней оказалась сорванная с тумбы театральная афишка? Для чего она нужна деловитому герою? Что за странные манипуляции он с ней продельвает? Вынул из кармана, стал читать, дочитал до конца, «потом переворотил на другую сторону: узнать, нет ли и там чего-нибудь, но не нашедши ничего, протер глаза, свернул опрятно и положил в свой ларчик, куда имел обыкновение складывать все, что ни попадалось».

Разве эта деталь, эта «мелочь» не разрушает гармонию только что пропетой поэмы о русском приобретателе, разве она не обнаруживает в нем ростки плюшкинской неразборчивости и самоуничтожения? Чичиков у Гоголя — русский человек, а потому и в его действиях сохраняется тот же самый «перехлест», в который никак не укладывается его буржуазная, предпринимательская энергия. То тут, то там проскальзывает игра случая, обнаруживается «прореха» в самом неподходящем месте — и все, задуманное Чичиковым, рушится.

И когда сбитый с толку чичиковскими аферами городской обыватель сравнивает Чичикова с капитаном Копейкиным, доведенным равнодушием властей до атамана разбойничьей шайки, в этом сравнении скрыт некий, пусть слабо мерцающий, позитивный смысл. Есть во всех предприятиях Чичикова выход за нормы буржуазной добропорядочности и прозаичности рядового мясчанского стяжательства. Не от русского ли задора идет его нетерпение, неумное желание рискнуть, но уж взять разом весь капитал? Не русская ли, не разбойни-



чья ли это в Чичикове повадка? Почему, наконец, в воображении этого «дельца», вдруг превратившегося в поэта, разгулялась-разлилась на всю Русь целая поэма об умном, дельном и вольном по своему духу народе? Конечно, эту поэму о красоте и величии богатырского народного труда вместе с Чичиковым поет и сам Гоголь. Но неспроста же автор считает возможным связать с именем Чичикова замечательные строки, в которых освободившаяся от мертвых пут «земности», от «мелочей», околдовавших стяжателей и «существователей», вырвалась на широкий волжский простор его русская душа!

Крах авантюры Чичикова с «мертвыми душами», назревающий в финале поэмы, — это событие большого масштаба и исторической значимости, это свидетельство отторжения русской жизнью того пути, буржуазный дух которого пытался утвердить гоголевский герой. Не случайно в пути своем Чичиков вернулся к тому, что все начиналось, чтобы отсюда, от своей поруганной юности, выйти на новую, прямую дорогу, ибо в финале первого тома полностью перечеркивается пройденный им жизненный цикл.

Финальные строки поэмы мыслятся Гоголем как выход из «ада». И выход этот сопровождается, конечно, не трагический, а глубоко оптимистический, исполненный веры и надежды мотив: «Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарыбит тебе в очи. И не хитрый, кажись, дорожный снаряд, не железным схвачен винтом, а наскоро живьем с одним топором да долотом снарядил и собрал тебя ярославский расторопный мужик. Не в немецких ботфортах ямщик: борода да рукавицы, и сидит черт знает на чем; а привстал, да замахнулся, да затянул песню — кони вихрем, спицы в колесах смешались в один гладкий круг, только дрогнула дорога, да вскрикнул в испуге остановившийся пешеход — и вон она понеслась, понеслась, понеслась!.. И вон уже видно вдали, как что-то пылит и сверлит воздух.

Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? что значит это наводящее ужас движение? и что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная Богом!..»

Пора оставить всякие домыслы относительно того, кто сидит в этой тройке, и сомнения — уж не Чичиков ли правит ею? В финале первого тома Гоголь предвосхищает свершившееся Божье чудо. Мчится тройка-мечта, обновленная Россия, «вся вдохновенная Богом», вышедшая на праведные, прямые пути. Русь-тройка — поэтически воплощенная вера Гоголя в высокое всемирно-историческое предназначение России как православно-христианской страны. Гоголь не сомневается в этом предназначении, если Россия вернется к самой себе, к своим корням, к своим древним святыням и истокам.

## ЛИТЕРАТУРНОЕ НОВАТОРСТВО В.В.РОЗАНОВА

Когда вспоминают имя Василия Васильевича Розанова, то прежде всего высоко оценивают его как литературного новатора, а не как выразителя каких-либо важных идей, не как выдающегося нравоописателя. Между тем большая часть трудов этого писателя и ученого представляет собою религиозные исследования в широком общественном плане. И вот высочайшая л и т е р а т у р н а я оценка Николая Бердяева: «... самый большой дар в русской прозе». Как это понять? Не издай Розанов за 5-7 лет до своей кончины «Уединенного» и «двух коробов» «Опавших листьев» (близких по жанру к дневниковым записям), и вряд ли имели бы мы целый набор блестящих характеристик его литературного таланта. Кроме Бердяева, их дали такие известные деятели культуры, как Петр Струве, Семен Франк, Зинаида Гиппиус, Дмитрий Философов.

Сходные оценки принадлежат еще более известным именам, среди которых назовем Андрея Белого, Павла Флоренского, Максима Горького, Михаила Бахтина. Думаю, этих «оценщиков» достаточно, чтобы не усомниться в действительном новаторстве Розанова. Хотя иной может и усомниться, сравнив короткие розановские наброски действительности в слове с другими широко известными шедеврами русской литературы, так сказать, в нормальном, привычном жанре. Еще раз напомним, что Розанов затеял писать и издавать этот свой «оригинальный жанр» (современное нам выражение по другому ведомству) в возрасте за пятьдесят, написав до того многие высокоумные и высокоэрудированные исследования со всем их громоздким словесным аппаратом ссылок, дотошных и пытливых рассуждений, обильных автокомментариев.

Иначе говоря, новаторство Розанова ничего общего не имеет с молодыми декадентами и символистами, и дело тут не только и не столько в возрасте. Почему Розанов перешел на предельно лаконичный жанр, который он сам обозначил как «нечаянные восклицания»? Заметим еще, что к опыту афоризмов (а это, как известно, не ново в литературе: Монтень, Паскаль, Козьма Прутков и др.) автор обратился несколько ранее, в конце 1890-х — начале 1900-х годов: «Эмбрионы», «Новые эмбрионы» и др. Но эти вещи не произвели тогда впечатления, подобного «Уединенному» и «Опавшим листьям» (в этом же стиле позднее написаны еще «Сахарна» и «Мимолетное»). К тому же сам автор указал разницу между ранними и поздними опытами. «Эмбрионы» были обращены «к читателю», то есть направленно учили печатателя, а в «Уединенном» автор как бы освободил себя от заботы о читателе. Мы это понимаем как предельную свободу выражения (не путать с нынешним модным «самовыражением»), как стремление «не церемониться» обоюдно: писателю и читателю друг с другом. Это очень в духе Розанова, ведь и он, сам будучи литератором, литературу в целом обзывал «дряню», сравнивал со «штанами», в которых

тепло, уютно, но их можно и снять. Из всего этого следует, что Розанов парадоксально соединял в себе черты философствующего (на высоком уровне!) обывателя с литературным нигилистом или преобразователем.

Перейдя от развернутой критики монашеского аскетизма — с точки зрения обывателя, христианства в целом — с точки зрения земных радостей (см. «Темный лик. Метафизика христианства»), перейдя к новому стилю изложения, Розанов, как и многие его современники, выражал тем самым архетипическое стремление к свободе. Но понимал он эту самую свободу, в отличие от многих современников, очень своеобразно и уж совсем не так, как социал-демократы и либералы. Он монархист, он любит Бога, он не может обходиться без Церкви. Но это все не объясняет феномена «Уединенного» и «Опавших листьев». Мы приблизимся к этому объяснению, прочитав и обдумав авторское предисловие к «Уединенному», а также имеющие непосредственное отношение к данной теме замечания П.А.Флоренского, близкого к Розанову человека, которого, впрочем, Розанов, по его признанию, понимал лишь на 3/4, но которого достаточно ценил и уважал, вне связи с костромским землячеством.

Итак, в предисловии читаем: "... жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, получувства... которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что «сошли» прямо с души, без переработки, без цели, без преднамеренья — без всего постороннего... Просто — «душа живет»... то есть «жила», «дохнула»..."

Но ведь так живет каждый, так живет и «восклицает» простой народ, без цели выражая свои «полумысли» и «получувства». Живет — выражает, ибо — «словесное животное».

Вот так, после многолетнего напряженного головного труда, после великих умствований и «рыдательной диалектики» писаний о религии, исследований о мужском, женском и «среднем» поле, о счастье земном и его искажениях, умудренный всем этим, избитый критикой, берет конкретный Василий Васильевич листки бумаги, блокноты и записывает, между д р у г и м и делами, все, что ни попадет в голову. Попадает... Откуда попадет?

Он все-таки записывает, а не просто выражает первому попавшемуся слушателю эти «восклицания», записывает, потому что он писатель по давней привычке, профессионал. Поистине, все гениальное просто. Если мы теперь сравним это неожиданное литературное новшество («...когда, казалось, русский язык достиг предела своей яркости и богатства, Розанов нашел новые его красоты, сделал его совсем иным, и притом без всякого усилия, без всякой заботы о «стиле»», — пишет Философов), так вот, если теперь сравним эту «находку» Розанова с развившимся как раз тогда декадентством, то увидим огромную разницу двух новшеств. У декадентов — мучительство своего ума, заодно и родного языка, у них — вычурность и конструирование нелепых текстов, где мысли-то так и нет, а чувства утрированы и фальшивы. У Розанова — образ писателя, уставшего от литературы и от придирчивого читателя-критика. У декадентов — образ полного сил н е п и с а т е л я, стремящегося всей своей внутренней энергией к литературной славе. Уставшая к концу великого века многотрудная литература и нарождающееся «новое» графоманство. Вот и все.

Но мы рассмотрели только это первое, внешнее впечатление от новшеств литературного стиля. Есть и другой уровень постижения нового стиля письма Розанова. П.А.Флоренский в своих «Воспоминаниях» пишет: «Если бы я не боялся власть в тон Розанова, то тут наиболее уместен был бы плагиат: «Каждое мое слово есть откровение». Конечно, не в смысле притязаний на высшую духовную истинность, даже и не в смысле непрременной правильности, но все-таки откровение...»

Зная контекст отношений Флоренского и Розанова, мы лучше поймем и стиль Розанова. Эти люди во многом как бы оттеняли друг друга. Розанов, гораздо старший по возрасту, в отношениях с Флоренским воспринимается как младший. Флоренский при строгом, системном, богатом воспитании и образовании не обладает той виртуозностью в обращении со словом, как Розанов. Он это сознавал и в письме Розанову от 26 октября 1915 года писал: «Чувствуя себя в литературе, «как дома», Вы говорите все, что блеснет в душе; а я не хочу чувствовать себя дома нигде, кроме родной, темной колыбели-могилы в родимой земле, и свою боль и свою радость в наибольших их точках скажу лишь Матери земле. Мне думается, что это тяготение к лону — тоже костромское: костромичи скрытны и души своей не показывают». Последнее вряд ли соответствует стилю Розанова, заметим мы, но вернемся к «плагиату» и «откровению». Ясно теперь, что Флоренский видел в тоне, то есть в стиле Розанова, чрезмерную откровенность, нескромность. Ведь Розанов о своем слоге или жанре высказался еще более экспрессивно: «Каждая моя строка есть священное писание (не в школьном, не в «употребительном» смысле), и каждая моя мысль есть священное слово.

— Как вы смеете? — кричит читатель.

— Ну вот так и смею, — смеюсь ему в ответ я.

Я весь «в Провидении»... Боже, до чего я это чувствую».

Эта запись из «Уединенного». Обратим теперь внимание на оговорки Флоренского по поводу «откровения» — «не в смысле притязаний на высшую духовную истинность» и «не в смысле непрременной правильности» — и на оговорки Розанова по поводу его «священного слова» — «не в школьном, не в «употребительном» смысле». Но тогда что же это за «священное писание» и что за «священное слово» у Розанова? А в смысле точности, в смысле касания момента истины. Что писатель вообще не должен и не может, если он писатель по призванию, изображать или отражать жизнь неверно, фальшиво — это известно давно. Но мы в то же время хорошо знаем, что литература испокон века строилась на мифе, на фантазии, на вымысле (не путать с нынешней фантастикой). И дело тут вовсе не в буквальном «фотографическом» соответствии или несоответствии натуре, а в умении владеть словом, как послушным инструментом. Итак, литература с т р о и т с я на сочинении (в том числе и на сочинении деталей). Но Розанов вообще не строит свои восклицания — он их только записывает, а идут они из души, и ни о каком сочинении речи быть не может. Идет запись. Запись чего? Окружавшей жизни или душевного движения автора? И того и другого нераздельно и в высшей степени сжато, лаконично. Это своего рода протокол, пропущенный через душу автора, и, в отличие от

полицейского протокола, стандартного и обезличенного в стиле, розановский «протокол» со всей страстью, со всем приобретенным и наследственным умом и опытом «фиксирует» некие жизненные явления, от самых что ни есть общественных и государственных до самых что ни есть частных, интимных. Таким образом в краткости достигается универсальность охвата жизни, а в «протоколе» намек, что литературу пора бы укоротить — уж больно широка. Да Розанов где-то и прямо ругает литературу в целом и сетует на историческое явление гутенберговой печати. «Сатана соблазнил папу властью, а литературу он соблазнил славой». Оттого Розанов в предисловии к «Уединенному» отказывается от почтения к читателю: чем меньше читателя, тем меньше соблазнительной славы, а кто ищет, тот найдет, что ему интересно. Иначе говоря, пусть не мода и публичная трескотня делает писателю известность и уважение, а сомысление и спереживание умного читателя.

Но как же быть с правдой, с правдой жизни? Достигается ли она такими эскизными зарисовками? Нетрудно заметить, что на каждое мимолетное настроение у Розанова «своя правда». Читатель может либо проникновенно сочувствовать ей, либо неприязненно отвергать. Но читатель не может отвергать метко попадания автора в «самую точку». Здесь — два момента. Первый — различие мировосприятия, различие идеологий у автора и читателя. Второй интересно выразил в том же письме Розанову П.А.Флоренский: «Вы говорите правду; однако не всякую правду должно говорить». Далее Флоренский указывает на общественный вред «гласности», когда «чернышевско-писаревское убеждение... разрушает в се коренное, все дорогое, все мирное...» Останавливается Флоренский и на религиозно-нравственном аспекте «говорения правды»: «Все твердят о хамстве, однако не замечая, что хамство — не в личном грехе, каков бы он ни был, а в бесстыдном обнажении наготы отца». (Как видим, помимо Розанова, эти высказывания кричат и в наше время.) Сам Розанов, конечно, никак не согласуется с «чернышевско-писаревским» убеждением, он говорит о себе: «У меня часотка пороков, а не влечение к ним, не сила их». И еще широко известное сравнение себя с «головешкой», порядочно надымившей в этом мире. Несмотря на разногласия, Розанов с Флоренским — в одном, христианском лагере, и мы можем соглашаться то с Розановым, то с Флоренским, отчетливо видя их различие и в характерах, и в талантах, и в конкретном мировосприятии. Но в этом и заключается суть проблемы правды и проблемы жизни: в продвижении на другой уровень, в стремлении к горнему. Тот же Флоренский много писал об антиномиях, о водоразделах мысли и о средоточиях ее. И нам в наших чтениях и в наших исследованиях может дать немало сопоставление этих весьма выдающихся выходцев из земли костромской. Одного в слове — более практика, другого в том же — углубленного теоретика. Флоренский тверд и последователен в убеждениях, в мировоззренческих вопросах. У Розанова бесконечные вопросы к миру, к людям, он весь в сомнениях и противоречиях. При этом мы можем отметить, что Розанов в своих пространных исследованиях, как и в коротких записях-восклицаниях, дает много примеров, подтверждающих известную критику Флоренским закона тождества («А» не равно «А» или конкретно: «Имя Божие есть Бог,

но Бог не есть имя»). Это особенно заметно на отношении Розанова к Гоголю и Льву Толстому, а также на отношении его к священству. Пример Гоголя в жизни и в литературе не давал покоя Розанову, как, впрочем, и многим другим писателям. Он как-то периодически возвращается к Гоголю в своих записях, чаще критикует его, но в то же время никак не может спокойно отнестись к тому, что «мамочка не выносила Гоголя» («мамочка» — это супруга Розанова, Варвара Дмитриевна), и пытается ее разными вопросами. Розанов пишет в «Темном лике», что «самый благожелательный» кусок из прозы Гоголя нельзя «вставить в Евангелие» — «получим... какофонию». Надо ли говорить о «какофонии» внутри всех трудов Василия Васильевича Розанова?

И все же я теперь хорошо понимаю слова покойного отца Евгения Никитина, выступавшего на розановских чтениях 1992 года. Он говорил мне тогда убежденно: «Розанов — это наш». В «Уединенном», в «Опавших листьях» один из самых своеобразных писателей земли русской демонстрирует нам удивительную легкость и естественную органичность перехода от общего к единичному, от общественного к личному, от государственного к частному, от христианского к языческому. Он дает редкий пример совокупного восприятия этих разных категорий, но в жизни-то переплетающихся, взаимовлияющих и тесно связанных между собою. Может быть, Розанов нашел в этом удачную форму выражения известного русского свойства соборности. Ведь как раз это качество русских вызывает часто изумление европейцев, когда заурядный прожигатель жизни в кризисные для отечества времена вдруг становится великим мужем, а жадный торговец отдает свои капиталы на общее дело...

Как раз подобное свойство позволяет Розанову частным образом ругнуть государственного чиновника, личной неприязнью кольнуть Льва Толстого, да и самого Христа упрекнуть в мрачном настрое христианского учения. И это же свойство соборности заставляет Розанова выдать похвалу Аракчееву и Клейнмихелю как государственным строителям, сказать высокие слова о Льве Толстом как воспитателе нации и поставить Церковь Христову выше любого мыслителя, хотя бы и Платона. «Дарвинишко», «спенсеришко», «бокшишко» — вот так обозначает Розанов известных реформаторов общественного мнения Запада, противопоставляя им нужность, необходимость народной Церкви и клеймя разрушителей. Розанов — это Вольтер наоборот. Он критикует отдельные стороны религиозной жизни — аскетизм, поповщину — не в целях подрыва, а в целях укрепления Церкви и ее чуткого приспособления к народной жизни.

Розанов — это преддверие нашего времени. Если бы он мог предсказать, во что превратится печать, информация в конце XX века!

И ему бы не хватило всей его язвительности.



## **В ВИХРЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ БОРЬБЫ**

После февральской революции 1917 года Кострома жила весело, разгульно, бесшабашно. Местный «Поволжский вестник» писал: «Если граждане-костромичи вспомнят, как прошло нынешнее лето, то они увидят, что в течение всех летних месяцев у нас было сплошное гуляние... «Волжский сад» и «Нескучный сад» конкурировали с городским бульваром, и в один день бывало по три грандиозных гуляния с фейерверками, митингами и лотереями. Народ гулял и веселился не только у нас в Костроме, но и по всей свободной России».

И хотя газета предупреждала: «Но где не работает народ, там спасенья нет», костромичи, как и прочие их соотечественники, тому призыву не вняли. Пропустили мимо ушей. И даже в судьбоносный вечер 25 октября того же года, когда грянул выстрел «Авроры» и оповестил о рождении «нового мира», чувствовали себя спокойно, безмятежно, в добром настроении. В драматическом театре в ту среду ставили «Дворянское гнездо». В театре Пале крутили «Тайны Нью-Йорка». В зале Дворянского собрания проводился «единственный концерт Знаменитой Русской певицы Марии Александровны Каринской».

Интернациональный Цирк давал грандиозно-помпезное представление в 3-х отделениях с участием «единственной в России королевы цепей М-ль Нордины», имевшей всюду «грандиозный успех и удивление зрителей». М-ль Нордина обещала показать «искусство освобождения от цепей и оков», сомневающимся предлагала «принести свои цепи и замки и заковать М-ль Нордину самим лично».

В тот же вечер «последнюю гастроль» проводил популярный куплетист, сальто-морталист, сатирик, «знаменитый своими народными митингами», В.Н.Камбарово, известный русский соло-клоун и дрессировщик животных Михаил Искра, а кроме того: знаменитые итальянские комики, короли смеха Альфредо и Фрико, придворная труппа японцев ИВО-НОГО-СИО-ТАРО, американские ковбои братья Альфредос, виртуоз-балалаечник Яша Пропащий...

Но после того, в общем-то, привычного и будничного вечера прошло десять дней, и в отношении к искусству послышались новые интонации. 5 ноября того же 17-го года в том же «Поволжском вестнике» можно было прочесть: «Сегодня вечером граждане Костромы имеют счастливый случай развеяться и окунуться в блаженство эстетических переживаний. Сегодня у нас поет г-н Каракаш, благой труд которого взялись облегчить своим участием местные концертные силы: г-жа Корелли и г-н Васильев — силы также известные костромичам с самой хорошей стороны».

Таким образом, художественный успех вечеру обеспечен вполне... Должно быть «адски весело»... Танцуйте же, граждане, и да здравствует беззаботное веселье!..»

Иронично-саркастическую интонацию автора, подписавшегося популярным в те времена словом «Овод», понять можно. Вот-де, когда в Петрограде, первопрестольной, других городах святой Руси свершается революция, в это время костромичей, видите ли, приглашают

слушать «благозвучные звуки скрипки» и «сочный бас» певца. И чувствуется между газетных строк высокомерно-агрессивное осуждение талантливых людей лишь только потому, что они осмелились в жестоко-сердно-гибельную пору Отечества напомнить его гражданам, что в жизни есть не только смерть, кровь, баррикады, грязь... Тем более, что всего за два года до этих событий российские издания были переполнены возвышенными словами и глубокомысленными вопросами:

Измята чистых чувств посева,  
Погасли нежных грез огни.  
Где вы, мечтающие девы,  
И где ты, Ленский, в наши дни?

Где вдохновенные поэты? —  
Сменили их небесный дар  
Версификаторов куплеты  
И знойной похоти угар.

Идет, злорадствуя, растлеенье,  
Идет владыкой наших дней,  
Сплетая трепетные звенья  
Из дев невинных и детей.

Когда же ты, Творец Вселенной,  
Рассеешь громом эту ложь?  
Своей десницею нетленной  
Твоих слепых рабов спасешь?..

И вот революционный гром грянул. Но никто не перекрестился. Рассеивать «ложь» не поспешил. Того печальнее, не только не встал на защиту «измятых чистых чувств», но азартно пошел охаивать, а то и вырывать с корнем их «посевы».

Заряли над Россией «дети бури», гордящиеся тем, что не помнят своего родства. Они стали главными героями тогдашних «пролетарских мотивов». Один из местных стихотворцев с гордостью заявлял костромичам:

Я — дитя бури! Я — сын океана,  
Безбрежности вольной! Я — сын синевы!  
Я — сын стихии! Ребенок тумана!  
Дитя мрачной бездны!.. Дитя высоты!..

Я полон свободы, мятежных усилий!  
Я тверд и я крепок, как синяя сталь!  
И мчусь я вперед, гордый, смелый и сильный,  
Под гимны победы в лазурную даль!..

Подобные рифмованно-угрожающие откровения были явно весомее и чувствительнее «эстетических переживаний». Не случайно после той газетной заметки артисты Корелли и Васильев от участия в концерте отказались. «Сочному басу» Каракашу пришла на помощь актриса драмтеатра Е.Попова. 25% от сбора устроители перечисляли в пользу Костромского Совета рабочих и солдатских депутатов. Однако «дети бури» стояли на своем, заявляя от имени многих:

«Интеллигенция своего отношения к этому концерту не изменит и будет бойкотировать его по-прежнему, отдав предпочтение чувству гражданской безгловости перед жаждой художественных впечатлений».



В то же время истинные интеллигенты Костромы прекрасно осознавали опасность и гибельность действий, к которым призывали «новые хозяева земли». Это их голос старался пробудить в народе здравый смысл и трезвый взгляд на сохранение ценностей, сотворенных талантом и руками многих поколений задолго до пришествия «окаянных дней». Сразу после октябрьских событий Совет Костромского Художественного общества обратился к землякам с «Воззванием», в котором, в частности, говорилось:

«В вихре борьбы народ готов разрушить и разнести все, что так или иначе связано с пленением его свободы, не разбираясь и не задумываясь над тем, что в действительности уничтожается им... Один за другим гибнут русские памятники... Накопленные многими поколениями предметы искусства и науки бессмысленно уничтожаются в этой дикой свалке, и нет, кажется, предела бедствию...

Мы обращаемся ко всему населению Костромской губернии, богатой творчеством ушедших годов, с призывом предотвратить от гибели и сохранить все памятники отжившей эпохи русской культуры... Они во что бы то ни стало должны быть сохранены для грядущих поколений. Ценность этих действий, действий любви к Вечному, не оценивается годами. Она оценивается историей, и будет благословен тот, кто в настоящем выявит эту любовь к прекрасному».

Слово костромских интеллигентов не было услышано. Вакханалия насилия, погромов распозалась вокруг. Рушились церкви, соборы, многие рукотворные памятники. Дух революционного азарта, вседозволенности, душевной расхристанности проникал повсюду, словно едкий дым лесных пожаров.

Общим местом является утверждение, что после октябрьских событий в театры, в которых прежде сидела «чистая публика разного звания», пришел новый зритель «с великой жадной приобщения к искусству».

В таком утверждении есть свой резон. Газеты того времени пестрят словами: «театр был переполнен сверху донизу», «билеты были распроданы полностью, их трудно было достать». Однако «новый зритель», почувствовав себя хозяином жизни, вызывающе демонстрировал собственную раскованность поведения во время действия, откровенное невежество, подразумевая под ним законное право на пользование плодами завоеванной свободы. Судя по тревожным сообщениям местной прессы, безобразное поведение «новой демократической публики» доходило до того, что иных субъектов, сидящих в партере, приходилось выводить во время действия, а «галёрничкам» артисты прямо со сцены заявляли: «Если этого хулигана не уберут немедленно, то спектакль продолжаться не будет». Даже стойкие местные театралы и те сетовали: «Бывать в городском театре в текущем сезоне совершенно невозможно. Поразительная публика! Откуда она взялась и заполнила театр! Наполовину пьяная, шумливая, разговаривающая во время действия, грызущая семечки, курящая в зрительном зале... Откуда она? Почему ее не было ни в прошлом, ни в других сезонах?..»

Что касается самого театра, он, к счастью, не угодил в «вихрь» революционной борьбы. По словам еженедельника «Искусство в Костроме»: «Первые два года революции мало затронули основной нерв театральной жизни Костромы — Городской театр. Правда, в этот период была проведена национализация театра, но кроме этого мероп-

рия... театр продолжал жить дореволюционной жизнью, не отражая ни в подходе к работе, ни в репертуаре тех событий, которые в корнем ломали все старые учреждения и устои».

Хотя «ломателей» хватало. Даже поначалу дело шло к тому, чтобы его переустройство свершилось в соответствии с требованиями пролеткультовцев, заявивших, что «театральная политика должна быть проведена путем принуждения», ибо только «через стадию разрушения» можно создать новый театр.

Чтобы эту историческую задачу претворить в жизнь, состоявшееся 27 июня 1919 года первое собрание Костромского пролеткульта утвердило специальную драматическую секцию, доверив ее руководство основателю театра студийных постановок А.Д.Попову, снискавшему к тому времени у костромичей завидную любовь и популярность. Это Алексею Дмитриевичу здешние юмористы посвящали такие серьезные строки:

Не убоясь в глуши безлюдия,  
Вы подняли призывный стяг  
И победили: ваша Студия —  
Для многих путников маяк.

К своей работе судьи строгие,  
Нашли вы к творчеству пути.  
И нам запел на годы многие  
Сверчок веселый на печи...

Имелся в виду спектакль «Сверчок на печи», поставленный Поповым в ТСП.

Алексей Дмитриевич, вместо того чтобы повести строительство театрального дела «через стадию разрушения», пошел другим путем. Его умонастроению и творческому энтузиазму гораздо симпатичнее были иные слова строителей новой культуры, а именно: «Мы должны сделать, чтобы не было лишних людей, чтобы все, покоряясь желанию мыслить, соединились в едином творческом порыве пересоздать мир... Цели наши прекрасны, и нужно их осуществить даже ценой крови».

Естественно, устраивать «кровавые разборки» — такого Попов и в мыслях не мог допустить. Но идея вовлечь широкие массы в непосредственный творческий процесс ему пришлось по душе, а потому он с огромным желанием и энтузиазмом попытался организовать драмкружки не только в городе, но и в других районах. Дело заладилась так славно, что уже в июле в Нерехте состоялось открытие пролетарского летнего театра. Как отмечалось в отчете, «новорожденный» производил самое благоприятное впечатление как по «своему устройству», так и «по своему искренне пролетарскому духу». Открылся он спектаклем «Счастливый день» по пьесе А.Н.Островского и Н.Я.Соловьева. Все роли исполняли красноармейцы. «Значение такого театра огромно, — писала местная газета. — Он внесет в ряды частей Красной Армии бодрый дух. Необходимо театр широко использовать для агитационно-просветительских целей и при помощи его дать красноармейцу и пролетарию все то, что он не видел раньше, и воспитать его в духе коммунизма».

Перестраивать же городской театр согласно новым требованиям не представлялось возможным по той простой причине, что нече-

го было перестраивать. На начало сезона 1919-1920 годов он просто не имел ни режиссера, ни труппы.

По поручению городской театральной комиссии в середине ноября в Петроград срочно командировается представительная делегация, которой удалось пригласить на зимний сезон молодой, но уже успешный хорошо зарекомендовать себя Петроградский Малый драматический театр, возглавляемый главным режиссером Н.В.Петровым.

«Режиссер новой складки» Петров проявлял удивительно любовное отношение к постановкам, редкое юношески-трепетное увлечение при подготовке каждого спектакля, заражая им коллектив. По мнению самих артистов, репетиции для них являлись не «тяжким отбыванием повинности, а радостным трудом, дававшим наглядные результаты».

Спектакли в постановке Н.В.Петрова «У врат царства» К.Гамсуна, «Соломенная шляпка» Э.Лабиша, «Ревизор» Н.В.Гоголя, «Борьба» Д.Голсуорси, «Жизнь человека» Л.Андреева нашли самый живой отклик костромской публики. Однако возникли и неожиданные проблемы, о чем говорит случай, произошедший со спектаклем «Жизнь человека».

Автор известной повести «Красные дьяволята» П.А.Бляхин, работавший в ту пору председателем Костромского горисполкома, с живейшим интересом поддержал творческие поиски и начинания петроградских артистов. Но, будучи человеком своего времени, к тому же весьма ответственным советским работником, он довольно критически отнесся к «душевному судорогам», уводящим зрителя от революционной действительности в мир символизма, атмосферу пессимистических настроений.

Отзываясь о спектакле «Жизнь человека», П.А.Бляхин в газете «Красный мир» предупреждал: «Уход от массы, от широкого зрителя — это самое страшное для труппы, что приведет к полному взаимному непониманию и подкосит в корне ее творческий порыв... Надо более чутко прислушиваться к духовным запросам рабочего класса — творца современного мира, надо искать пути к слиянию с ним, надо у него черпать силы и мощь».

Статья была крутая, не во всем справедливая в отношении художественного достоинства постановки, но что касается ее понимания зрителями — здесь режиссер Н.В.Петров признавал правоту Бляхина. После второго представления «Жизни человека» Николая Васильевича пригласили в горком партии, с дипломатическим тактом объяснили ситуацию:

— Ваш спектакль очень хорош, и вы видите, что зрительный зал был битком набит, но мы вас просим больше его не играть. Уж очень он пессимистичен, а наша жизнь сейчас хоть и трудная, но героическая. Слишком большие противоречия между действительной жизнью и вашим спектаклем.

После того разговора Н.В.Петров, по его собственному признанию, понял, что они столкнулись с новым явлением в жизни театра и что к выбору репертуара следует подходить «как-то по-иному». Проще говоря, требовалась современная, актуальная пьеса. Но такие еще не были написаны, и Николай Васильевич, как и многие режиссеры того неспокойного времени, попытался в драматургии прошлого найти произведение, близкие по теме к жизни страны. Ознакомившись с «драмой для чтения» «Фауст и Город» А.В.Луначарского, он увлекся

мыслями, в ней заложенными. «Мне показалось, — говорил Николай Васильевич, — что в «Фаусте и Городе» есть много созвучного нашей действительности. Конечно, не сюжет, а масштабы образов и мыслей, философская направленность всего произведения. Так возникло у меня желание поставить эту «драму» в театре».

Он сам делает сценический вариант, который редактирует Горький. Ознакомившись с этим вариантом пьесы, Алексей Максимович на первой странице написал: «Я нахожу, что сокращения сделаны в достаточной степени умело: устранено почти все, что могло затянуть действие. Актуальность выигрывает, логика событий стала более рельефной. Уверен, что в таком виде пьеса будет иметь успех».

Горький не ошибся. Если другие постановки выдерживали не более 4-5 представлений, то «Фауст и Город» прошел 12 раз, что говорит о значительном интересе публики к спектаклю.

Именно к этому времени относится малоизвестная сегодня драматургическая деятельность видного партийного и общественного работника Павла Андреевича Бляхина.

В начале 1920 года он пишет пьесу «Через победу к миру», премьера которой состоялась в феврале того же года. В основе пьесы — события гражданской войны, какими жила тогда Россия. Несмотря на схематизм сюжетного построения, элементы мелодрамы, спектакль, по свидетельству очевидцев, вызывал «напряженное внимание зрителей».

18 марта 1920 года в постановке Н.В.Петрова была представлена другая пьеса Бляхина — «Провозглашение Коммуны», также оставившая «сильное впечатление».

Нельзя не заметить: успех пьес Бляхина местные критики видели в основном в том, что «все было своим, будило в нас бодрость, давало силу для нашей борьбы».

Там же, где кончалось «свое» и начиналось общечеловеческое, тон рецензий круто менялся. Это особенно видно в отношении к Юрию Михайловичу Бонди, который после возвращения части труппы Малого театра во главе с Н.В.Петровым в Петроград остался в Костроме, согласившись работать директором и художественным руководителем театра. В его бытность здесь впервые осуществлена постановка драмы А.Блока «Роза и Крест», состоялись премьеры спектаклей «Женитьба Бальзаминова» А.Н.Островского, «Самоуправцы» А.Ф.Писемского, «Разбойники» Ф.Шиллера, «Борис Годунов», «Скупой рыцарь», «Каменный гость» А.С.Пушкина...

Однако такой репертуар явно не отвечал требованиям революционной борьбы. «Почему мы, долго прождавшие театрального сезона, получили наконец труппу, которая угощала нас кисло-сладким мешанским репертуаром? — грозно спрашивал «голос из публики» со страниц «Красного мира». — Я понял, что это вина не труппы, а руководителей ее. Как видно... сидящие на канцелярских стульях нуждаются в метлах, а мертвые тени буржуазного искусства в осиновом коле...»

После такого гневного окрика Ю.М.Бонди оставил Кострому, сделав «крупную брешь» в рядах местных работников искусств. А «вихрь» непримиримой борьбы продолжал набирать силу и мощь. «Революция своим огнем театра еще не согрела и не осветила», — все ближе и явственнее слышались грозные раскаты новых потрясений. И не только театра.

## ПОД ЗНАКОМ ЛИТЗАПРОСОВ Из опыта литературной работы 20-х годов

Новое, сменяя старое, усваивает и сохраняет в себе самые важные элементы прошлого как предтечи, истоки развития и познания. В двадцатых годах при общем революционаризме в атмосфере борьбы взглядов, мировоззрений не прерывалась передача социальных, нравственно-этических, культурных ценностей от поколения к поколению. В обществе, как и в природе, сохраняется связь между явлениями, событиями. Преемственность никаким политическим ветрам и циркулярам неподвластна. Она обеспечивает постоянство основополагающих форм жизни, лежит в основе эволюции живой природы, общественных процессов, развития искусства и культуры, долговременности традиций.

И в сложных, противоречивых обстоятельствах люди приходят к искусству, литературе от станка и сохи. Характерной чертой формирования советской литературы в Верхнем Поволжье стала тесная связь молодых писателей с боевой работой в прессе. Уместно заметить, что рабкоровское движение квалифицировалось тогда как зародышевая форма пролетарской и крестьянской литературы. Началось массовое приобщение к художественному творчеству талантов из народа. По словам ивановца Д.Фурманова, в нетвердых шагах нового боевого искусства чувствовалась могучая сила, укрепляющая его на месте погибших течений и школ.<sup>1</sup>

В ярославских, ивановских, владимирских, костромских изданиях тех лет немало свидетельств об активной творческой жизни. Даже в селах выходили ежемесячные рукописные журналы, именно они объединяли художественно одаренных людей. Публикации, участие в выставках и театральных представлениях являлись другим, практическим способом профессионального образования и самоутверждения.

В Костроме два года существовал журнал «Книгарь». Организатор и редактор — заведующий городской библиотекой В.В.Звездин. «Журнал, коль смотреть на него теперешними глазами, — вспоминал Г.Н.Рубинский, заместитель редактора, — был слабым во всех отношениях, наивным. Авторы были подражательны, манерны... Однако выход его в свет произвел впечатление на лиц, причастных к литературному творчеству, привлек их к себе... К нам немедленно пришли Вяч.Лебедев, поэты Евг.Егоров, Ахмелкин, Н.А.Соколов, работающий тогда в библиотеке, и фольклорист М.М.Зимин. Сами редакторы тоже «грешили стишками».<sup>2</sup>

Такие свидетельства — основание для вывода: положительную роль в становлении новой художественной интеллигенции сыграли повсюду многочисленные издания, даже те, что существовали несколько месяцев. Они разбудили творческую инициативу.

Создание в губернии отделения ВАПП вносило организующее начало. Почти каждую неделю проходили общие собрания. Один за другим рождались новые журналы с характерными названиями: «Новый росток», «Ледокол», «Смычка», «Шмель».

«Из-за средств, из-за недостатка бумаги, — писал редактор таких изданий А.В.Высоцкий, — умирали после трех-четырёх номеров журнальчики наши. Но потом снова возникало что-то — опять журнальчик на два-три номера. И все же нашей литературной группой интересовались А.К.Воронский, В.В.Полонский — оба приезжали в Кострому».<sup>3</sup>

Вот это важно заметить: интерес к начинающим со стороны опытных писателей и организаторов. И помощь, и наставничество, и шефство, и влияние на местную власть. Именно такая, характерная для всего региона работа, инициированная центром, партийными структурами, оказалась важной и плодотворной.

В ноябре 1929 года А.Н.Алешин, выступая перед литкружковцами, говорил: «Молодняку недостает простой грамотности, знания элементарных приемов художественного творчества и общего политического развития».<sup>4</sup>

С учетом таких особенностей возрастала роль кружков, объединений, студий, дающих возможность получить первоначальные творческие знания и навыки. Впоследствии структура литературного дела мыслилась как «сеть производственных литкружков», входящих в общегородскую ассоциацию. Кружки были созданы на всех предприятиях, проводились вечера «под знаком организации литзапросов рабочего читателя и вовлечения ударников в литературу». Это вовлечение, как выяснилось вскоре, стало ошибкой рапповского руководства, превратилось в самоцель. Был такой период: понятие таланта игнорировалось, кропотливая литературная работа оказалась подмененной шумными мероприятиями.<sup>5</sup> Впрочем, эта тенденция очевидна и в развитии театрального дела, самостоятельного творчества (вспомним музыкально-вокальные студии, бригады «синезблужников», театры внешнего эффекта). Смыкались литература и театр. Более того, у некоторых писателей появлялись пьесы (П.Бляхин, А.Афиногенов, Н.Вирта и др.), а излюбленными героями этих произведений становились люди искусства (духовные искатели), в частности, актеры.

Русское актерство со времен Островского привлекало к себе внимание литературы: сложные судьбы этих людей в переломное время, мучительный контраст между атмосферой проповедуемых радостей, счастья на сцене и драматическими перипетиями в личной реальной жизни, конфликты между истинным служением искусству и вынужденным «приспособлением к идеологическим обстоятельствам». Актерская тема позволяла советским литераторам зримо рассказывать о смене героев в искусстве и жизни. Пьеса Б.Ромашова так и называлась — «Смена героев», она шла в провинциальных театрах, потому что давала возможность для осмысления актерских ролей, говорила о новом человеческом типе, о новых жизненных конфликтах.

Костромская АПП все-таки сделала свое полезное дело: в начале 1931 года на I Конференции присутствовали около 200 литераторов. Пришло время новых форм организации художественной интеллигенции, время горячих споров, дискуссий, расколов, противоречивых действий. И время творческого взлета, поэтических успехов. Это особенно заметно в активной литературной жизни на родине первого Совета, в городе богатых революционных и трудовых традиций.

Под умным и опытным руководством редактора «Рабочего края» А.К.Воронского было создано крепкое молодежное литературное гнездо. А.К.Воронский — это особенно важно заметить — в 1919 году

был председателем Губкома партии, заменив на этом посту М.В.Фрунзе. Именно к началу двадцатых годов в Иваново-Вознесенске сложились хорошие предпосылки формирования новой художественной интеллигенции. Общепризнанно, что редактор «Рабочего края» много сделал для объединения и творческого роста местных литературных сил. И впоследствии он — уже редактор журнала «Красная Новь» — обращает внимание известных писателей в сторону ивановской литературной жизни. Общались с ивановцами Горький и Луначарский.

Даже за рубежом появлялись отклики на творчество ивановских поэтов.

Немало сделали для выявления творческих сил отделения Госиздата, издательства «Основа», затем ивановское областное издательство, журналы и сборники 20-х — начала 30-х годов.

В 1929 году с образованием Ивановской промышленной области — ИПО — в Иваново-Вознесенск из Костромы перевели А.Алешина, уже широко известного автора нескольких книг. Этим переводом еще раз подтверждается «должностное» движение авторитетных писателей, вызванное процессом формирования новой интеллигенции, литературной и политической борьбой, а также процессом эмиграции.

В этот сложный период настроения творческих работников определялись не только возможностями публиковаться, но и поиском своей позиции в жестокой борьбе группировок, направлений. Следует подчеркнуть, что вхождение творческих людей из «низов» в разряд профессиональной художественной интеллигенции было трудным, иногда трагически напряженным не только по естественным, но и по сфабрикованным обстоятельствам. Чтобы получить широкую возможность печататься, показывать свои картины или спектакли, стать известным, надо было непременно пробиться в столицу, в крупные культурные центры. Разбуженная новая тяга к культуре и творческая волна встречали элитное сопротивление, все сильнее нагнул негласный принцип: не принадлежащие к элите высокого искусства не достойны. Но расширение культурного слоя, увеличение доли творчески работающих людей вообще, художественной интеллигенции в частности желательны и благотворны для общества и для любой страны. В этом смысле новая культурная политика первой половины 20-х годов рациональна.

События конца 20-х годов резко изменили ситуацию: сократилось количество кооперативных и частных издательств, усилил свое влияние Главрепертком. Происходили в провинции события, свидетельствующие о размежевании творческих сил по причинам классово-идеологического характера. Существовало противостояние групп и организаций: РАПП, «Кузница», «Серапионовы братья», «Перевал», Союз крестьянских писателей, ЛЕФ (Левый фронт искусств), ЛЦК (литературный центр конструктивистов) и других. «Криклявые деятели РАППа, имевшие серьезные связи с ЦК ВКП(б) и оказывающие своей напористостью и демагогией влияние на исход литературной борьбы, сначала одолели Воронского, покинувшего пост главного редактора журнала «Красная Новь», единственного официального прибежища для тех, кого называли «попутчиками», а потом попытались заявить монополию власти во вновь созданной Федерации объединения советских писателей (ФОСП)...»<sup>6</sup> Эта Федерация объединила вышеперечисленные группы и союзы, но объединение

носило формальный характер, в правление входили уполномоченные. Каждая группа по-прежнему во многом еще существовала самостоятельно, опасаясь командного влияния со стороны «налитпостовцев».

В Информационно-инструктивных материалах Всероссийского общества крестьянских писателей (Издание ВОКП, январь 1929г.) были представлены любопытные материалы. В них шла речь о задачах, значении и сущности литературы, о работе над словом, выработке каждым творцом собственного стиля. Дан список пособий для занятий в литературных кружках по жанрам, рекомендованы пособия для руководителей, кружковцев и сочинителей-одиночек. Документ содержал художественную платформу крестьянских писателей и поэтов, положения о литгруппе, положения для отделений ВОКП, проект программы занятий, а к сведению всех заинтересованных — хронику работы Центрального Совета ВОКП.<sup>7</sup>

Именно такими документами руководствовались на местах при создании отделений творческих организаций и при работе с новыми художественными кадрами. Необходимо отметить идеологическую продуманность и практичность платформ творческих союзов.

Не только социальный заказ, призывы партии и руководящие документы вызывали из провинции новые художественные силы, велико было влияние общей идеи переустройства жизни, чувства свободы и равенства, мечтаний о светлом будущем. На местах партийная и советская забота о создании новых кадров читается не только в официальных решениях, приказах, инструкциях, но и в фактах конкретного внимания к творческим судьбам. Убеждают в том и новые издания, студии, народные филармонии. Все определеннее отношение партии к творческой интеллигенции, еще раз определенное постановлением ЦК РКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций».<sup>8</sup> А вскоре был создан Оргкомитет Союза советских писателей во главе с почетным председателем А.М.Горьким. Оргкомитеты по подготовке съезда были созданы в республиках и областях. В Иваново начал работать оргкомитет во главе с А.Алешиним. Появился у отделения Союза писателей свой ежемесячник «Звено». Начался новый этап культурного строительства. Укрепляются традиции опекуинства — шефства мастеров искусства и литературы над молодыми одаренными людьми.

В своих заметках вологжанин Варлам Шаламов писал о том, что не желая попасть к крайнему модернизму, к кубистам, он самостоятельно воспитывал доверие к самому себе. Указал при этом, что такой способ имеет свои преимущества, но и отрицательного тут очень много — потери времени на лишнее чтение, на поверженных кумиров.<sup>9</sup> Писатель, говоря о природе раскола «Нового ЛЕФа», подчеркивал свое полное разочарование: «Левовские собрания, кружки, которыми руководил Брик, превращались в объективный балаган, где каждый приглашенный должен был вывалить на стол заранее заготовленные кислые остроты, ругань по адресу Блока — ранняя традиция сражений Маяковского, и ругань по адресу Сельвинского — шла война с конструктивистами, и младшая братия подтаскивала снаряды к метателям копий. Все это производило очень странное впечатление. Кто грубее, кто хулиганитее сострил — тот и победил на сегодняшнем вечере. Бриковский кружок был балаганом».<sup>10</sup>

Позднее Шаламов задавал себе вопрос: «Как могли так вести себя дома вожди Левовского движения? Ведь новички, неофиты, не остроты



приходят слушать, а приходят потому, что их беспокоит что-то в коренных вопросах искусства, в вечных вопросах жизни». <sup>11</sup>

Столичные воинственные идеологи от культуры имели своих разрозненных гонцов-агентов в провинции. Но подобные «провокационные» действия в нашем регионе не имели почвы: по своей врожденной, природной нравственности, стыдливости, совести выходцы из земной крестьянской среды до столь наглого дискуссионного хамства опуститься не могли, в них жило естественное стремление к прекрасному. Приходится только жалеть, что это искреннее стремление встречало на своем пути классово-идеологические баррикады, в том числе дискуссионного свойства. Провинциальную интеллигенцию словно бы преднамеренно втягивали в идеологическую борьбу.

Размежевание на группировки ускоряло «размножение» литературных, театральных и прочих вождей, требовало новых и новых организаций для их политизированной деятельности. На местах поэтому возникали ассоциации, близкие к ним группы. Это было замечено повсюду, не только в Поволжье. «Поспешно лысеющие молодые люди в штатских френчах, утверждавшихся в виде форменной одежды вождей, быстро размножались. Довольно скоро захватят они редакции и издательства. Сами они ничего не писали, плохо прикрываясь цитатами, смысла которых часто и не понимали, но считали своим призванием воспитывать и перевоспитывать взрослых людей. В редакционных комнатах они шептались. О чем шептались, что так таинственно обсуждали?»<sup>12</sup> В самом деле, по словам Л. Гумилевского, литературные организации и издательства тогда ничем не владели и даже ничего не распределяли: ни пайков, ни квартир, ни путевок, ни орденов. Даже и самым сильным, самым острым своим оружием — печатью — полностью они не владели. В условиях НЭПа писатели устраивали свою жизнь сами по себе, без всякого содействия своих литературных групп, наравне со всеми советскими людьми. «С литературным генеральством в лице Авербаха я столкнулся впервые. Тогда оно показалось мне явлением случайным, традиционным в семье Авербаха, но (еще) не характерным для времени и общества». <sup>13</sup>

В контроль над интеллигенцией активно включается ОГПУ. Властные структуры интересуют настроение творческой интеллигенции, отношение к режиссуре и администрации, политике партии и государства. Вот, например, одно из донесений Иваново-Вознесенского ГОО ГПУ о ситуации в Советском театре Гороно в 1927 г.: «Группа без головы, интриги, травля... Зверствуют рецензия и цензура. В верхах театр травят. Цензура снимает пьесы». <sup>14</sup>

Все эти факты свидетельствуют о насаждении в «культурной среде» ортодоксальной воинственности новой художественной интеллигенции. Эта «воинственность» является основой взаимоотношений художника и власти в конце 20-х — начале 30-х годов. <sup>15</sup> Указывая, что для писателей, художников, скульпторов и архитекторов стиль был более важен, чем политика, английский историк Кристофер Рид считает политическое подчинение губительным для всего абстрактного и экспериментального искусства. Такой подход приводил к эстетически посредственной продукции, которую хвалили и поощряли, утверждая, что скверные стишки фабричного рабочего имеют большую ценность для революции, чем любая работа авангарда. <sup>16</sup> Высшая ступень такого воздействия — торжество принципа социалистического реализма, следствие культурной революции.

Что было признано опальным,  
Вновь над стихом имеет власть.  
Конечно, новая банальность  
На месте старой завелась.

Так писала Анна Баркова, сотрудница газеты «Рабочий край», в 1934 году оказавшись в лагере.

В целом союзы и организации провинциальной художественной интеллигенции способствовали повышению уровня образования, росту профессионализма, творческой соревновательности, улучшению условий труда и быта. Но они же ставили художников в определенную зависимость, потому что были проводниками идеологических установок, осуществляли контроль за творческой деятельностью. С конца 20-х годов постепенно сокращалось разнообразие союзов, группировок, их поглощали создаваемые государством единственные (монопольные) Всесоюзные творческие организации писателей, художников, композиторов, театральных работников. В Верхне-Волжском регионе в 1934 году начали действовать организации Союза советских писателей и Союза советских художников Ивановской промышленной области.

Период свертывания НЭПа по всей стране, утверждения культа личности Сталина, избавления от политической оппозиции, усиления командно-административной системы, индустриализации, коллективизации можно считать и периодом усиления вмешательства партийных и государственных органов в дела культуры. Резолюции партийных совещаний Агитпропа ЦК ВКП(б) по вопросам театра и по вопросам агитации, пропаганды и культурного строительства способствовали установлению воинственности и ортодоксальности в творческих кругах. Реакцией на решения центральных партийных органов было появление жестких регламентирующих постановлений обкома Ивановской промышленной области «Об уроках «Тейковщины» и «О проверке работы литературных организаций».<sup>17</sup> Все чаще художественную политику на местах стали определять личные вкусы и оценки руководителей партийных и государственных органов.

Волевые административные новшества нередко оказывали отрицательное влияние на процесс развития новой культуры. Образование Ивановской промышленной области, объединившей 4 губернии (Иваново-Вознесенскую, Владимирскую, Ярославскую, Костромскую), в целом негативно отразилось на художественном творчестве в регионе. Укрупнение и централизация приводили к отрыву от реальной народной жизни, сужали возможности самовыражения художника в провинции.

Важно подчеркнуть, что политическая ориентация художественной интеллигенции Верхневолжья, последующее огосударствление творческих союзов не изменили, не перечеркнули основных особенностей литературы, живописи, театра, примечательных сочувствием, вниманием, любовью к простому человеку. В борьбе течений, групп и школ не были утрачены главные творческие ориентиры — красота, правда, оптимизм.

Итак, на процесс формирования художественной интеллигенции нашего региона, как и в крупных городах, влияли многие факторы:

происхождение, связанное с ним имущественное и социальное положение, профессиональная принадлежность, место проживания и возможность учебы, творческого общения, возраст, родственные и дружеские связи, знакомство с представителями старой интеллигенции, отношение к религии, индивидуальные способности, мера таланта, психологический склад личности, партийная принадлежность, этические, идейно-политические и моральные соображения. Совокупность таких факторов или преобладание некоторых из них определяли гражданскую позицию, предпочтение какой-либо творческой группировке. Наблюдалось отклонение от систем ценностей, идейно-политических и нравственных позиций, характерных для дореволюционного времени и первых лет советской власти. Стремление к свободе, независимости взглядов иногда заглушалось, перерастало в приспособленчество.

---

<sup>1</sup> См.: Фурманов Д. Соч. в 3-х тт. - Т.3. - М.: Госполитиздат, 1952. - С.246.

<sup>2</sup> Писатели Костромы (1918-1975гг.): Библиографический указатель. - Кострома, 1981. - С.5.

<sup>3</sup> Там же. - С.6.

<sup>4</sup> Там же. - С.7.

<sup>5</sup> См.: Там же.

<sup>6</sup> Петелин В. Дни Турбиных. Предисловие к роману М.Булгакова «Белая гвардия». - М.: Современник, 1991. - С.46.

<sup>7</sup> Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ) Ф.142. - Оп.1. - Д.458. - Л.38.

<sup>8</sup> См.: КПСС о культуре, просвещении и науке. - М.: Политиздат, 1963. - С.151-152.

<sup>9</sup> Шаламов В. Кое-что о стихах. // Вопросы литературы. - 1989. - №5. - С.245-246.

<sup>10</sup> Там же. - С.245-246

<sup>11</sup> Там же. - С.247.

<sup>12</sup> Гумилевский Л. Судьба и жизнь. Воспоминания//Волга. - 1988. - №8. - С.109.

<sup>13</sup> Там же. - С.109-110.

<sup>14</sup> Центр документации новейшей истории Ивановской области (ЦДНИИО) Ф.2. - Оп.9. - Д.34. - Л.74.

<sup>15</sup> См.: Barber John. The Establishment of intellectual Orthodoxy in the U.S.S.R. 1928-1934// Past and Present: A journal of Historical Studies, No.83. May 1979; Kemp-Welch. Stalin and the literary intelligentsia, 1928-39. - New York, 1990; Fitzpatrick Sheila. The cultural front: power and culture in revolutionary Russia. Studies in Soviet History and Society. - New York: Cornell University Press, 1992.

<sup>16</sup> См.: Read Christopher. Russian intelligentsia and the Bolshevik revolution.//History Today, vol.34, Oct. 1984, pp.38-44, 83-84; Read Christofer. Culture and power in revolutionary Russia. - New York: St. Martin's Press, 1990.

<sup>17</sup> Центр документации новейшей истории Костромской области (ЦДНИКО) Ф.32. - Оп.1. - Д.332. - Л.1.

## **ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ КОСТРОМЫ** (1941-1945 гг.)

С 22 июня 1941 года костромичи, как и весь советский народ, начали жить по законам «священной войны». Она обусловила специфику литературной жизни города и края, определила судьбу каждого писателя-костромича. Большинству довелось, пройдя дорогами войны, вернуться домой, как правило, после тяжелых ранений. У тех, кто по состоянию здоровья или другим причинам остался в Костроме, судьба складывалась по-разному. Репрессированному и поэтому отлученному от литературы А.П.Алешину было отказано в просьбе направить его на фронт и разрешено лишь принять участие в строительстве оборонных рубежей под Москвой, после чего он в 1943 г. умер, прожив всего 48 лет. В мае 1944 г. был арестован и осужден поэт Н.А.Орлов. Из блокадного Ленинграда в 1942 г. вернулся в Кострому и активно включился в общественно-литературную жизнь известный писатель-костромич Вячеслав Лебедев. Вместе с ним и вслед за ним в Кострому эвакуировались ленинградские литераторы: кинодраматург Н.А.Саламанов, поэтесса Вера Скворцова, очеркист Галина Остапенко. Приехали и некоторые ленинградские артисты. Костромские и ленинградские писатели и актеры организовали концертные бригады, выступавшие на предприятиях и в госпиталях; сбор от их платных концертов в клубах и других культурных учреждениях шел в пользу фронта. Особенной популярностью славилась концертная бригада, организованная костромским поэтом Н.Орловым и ведущей артисткой ленинградской государственной эстрады Зинаидой Сергеевной Колчиной.

Война поделила костромских литераторов на сражавшихся на фронте и на работавших в Костроме. Ушли на фронт: Евгений Осетров, Алексей Никитин, Виктор Хрящев, Александр Часовников, Алексей Румянцев. Они присылали в «Северную правду» насыщенные реалиями войны стихи, корреспонденции, очерки, рассказы, фельетоны, публиковавшиеся затем под рубриками «Письма земляков-фронтовиков», «Творчество земляков-фронтовиков», «Костромичи в боях за Родину». Здесь же печатались красноармейцы и командиры, не имевшие профессионального статуса литератора, но решившие обратиться против врага и второе оружие — перо или карандаш. Некоторые из них были рабкорами или селькорами, до войны писавшими в «Северную правду» или «Северный рабочий», в 1936-44 гг. являвшийся газетой Ярославской области, частью которой в те годы был костромской край.

Те, кто не ушел на фронт (Н.Орлов, Н.Соколов, В.Лебедев, Г.Милова, С.Степанова, Е.Павлова и др.), вместе с «ленинградцами» активно включились в общественно-оборонную работу и литературное сотрудничество, стали сплоченным коллективом. В 1944 г. в связи с обретением Костромской областью административной самостоятельности стал вопрос о создании в городе литературного объединения.

Пока же при редакции «Северной правды» под руководством Н.Орлова действовала литературная группа, особенно продуктивно в 1943 году. На ее собраниях обсуждались новые произведения, уча-

стники организовывали встречи с читателями. 22 февраля 1943 г. ее усилиями был подготовлен и вышел в эфир первый костромской литературный радиоальманах, в котором выступили Н.Саламанов, А.Чичерин, В.Скворцова.

Костромские литераторы организовывали литературно-художественные вечера, являвшиеся «смотром творческих сил города». Даже в самые тяжелые времена военного лихолетья проводились персональные творческие вечера-отчеты костромских писателей. Например, в июне и октябре 1942 г. состоялись обсуждение драмы В.Лебедева «Максим Горький» и вечер по итогам его творческой деятельности (а это было время кануна и начала Сталинградской битвы). В 1943-1944 гг. в Костроме были проведены вечера с приглашением ярославских писателей.

Постоянно поддерживали костромские литераторы связь с местными музыкантами, актерами театра, а также художниками: Н.Шлеиным, М.Колесовым, А.Яблоковым, А.Рябиковым, В.Беляевым и другими. Были опубликованы заметки о творчестве этих художников, об отдельных работах и тематических выставках. Уже осенью 1944 г. обретшие организационную самостоятельность костромские художники подготовили Первую областную выставку.

Творческая жизнь костромской интеллигенции постоянно отражалась «Северной правдой» и «Северным рабочим». На их страницах происходила «встреча» литераторов-фронтовиков и работавших в Костроме и Ярославле. Со временем набирает силу творческая деятельность костромских поэтов и прозаиков, и уже с конца 1942 г. «Северная правда» начала регулярно публиковать их разнообразные по жанру и стилю произведения, объединенные темой Отечественной войны.

*Евгений Зайцев*

## ОТКРОВЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ

Краткий очерк жизни и творчества А.А.Зиновьева

В ноябре 1997 года, когда в Кострому приезжал Александр Александрович Зиновьев, мы договорились, что он пришлет рукопись одной из своих новых работ. Тогда же нашелся спонсор. Вскоре два увесистых тома были у меня на руках. Работа закипела. К августу 1998 года рукопись была набрана и откорректирована. В этот момент грянул обвал рубля, спонсор уже не смог субсидировать издание книги. Так и лежит она — две дискеты, которые можно поместить в карман. Поиски других спонсоров ни к чему не привели. Предлагаю читателям альманаха «Кострома» свою статью, которой предвдварялась новая работа нашего всемирно известного земляка, ученого и писателя.

### I

Книга называется «Русская судьба». Ее с полным основанием можно отнести к мемуарной литературе, к тому же и подзаголовку указывает на то: «Исповедь отщепенца». Только это будет не совсем так. Вспомните-ка что-либо из прочитанных мемуаров. Не побоюсь преувеличить — в каждом девяти из десяти мемуаров авторы утверждают свою роль в истории. Дескать, если бы не он (она), то такого-то и такого-то события человечество вовек бы не увидело. Александр Зиновьев идет от обратного. Он рассматривает, как то или

другое событие отразилось на его жизни, какое оно оказало на него влияние, как сказало на зигзагах судьбы. Главный упор делает на осмыслении события, что является одной из сильнейших сторон новой книги. Впрочем, так оно и должно быть: ведь она написана одним из крупных мыслителей конца XX века.

Автор вовсе не акцентирует внимание на встречах с сильными мира сего или выдающимися личностями нашего времени. Они словно не существуют для него. Хотя те, с кем дружил Александр Александрович или кого учил, ныне занимают видное место в политике, науке, культуре. Изредка промелькнет в его книге какое-то имя, без которого совсем уж нельзя обойтись.

Новую работу справедливо можно отнести к художественным произведениям, если знать творческий метод, которому автор не изменил и в «Русской судьбе». Он не стал искать новую форму, а воспользовался старой, хорошо проверенной. Малые главы как бы переключают внимание читателя и не пугают его занудными многостраничными главами. Читать эту книгу можно в любой, даже самый короткий перерыв, не боясь потерять нить рассуждений автора. Ведь пробежать страницу, полстраницы, а то и несколько строк до следующего заголовка — времени требуется мало. Правда, каждая прочитанная глава требует долгого и глубокого осмысления.

Больше всего, как и означил автор в подзаголовке, представленная книга подходит под исповедальную литературу, имеющую в мире немного аналогов. Допускаю, что первым откровенно и нелестно открыл свою душу всему человечеству Ж.-Ж.Руссо. Настолько, что, по замечанию Ф.Достоевского, — «из-за тщеславия нагнал на себя». Без обиняков, «Русскую судьбу» можно поставить на одну полку с испытывавшей более чем двухсотлетнюю проверку «Исповедью» французского классика.

А.Зиновьев высоко поднимает ценность душевной жизни (впрочем, это свойственно всем его романам и повестям) героя, значение человеческого достоинства. Под его пером ярко высвечивается общественная действительность со всеми ее коллизиями. На протяжении всей книги, а по сути — всей жизни, автор спорит сам с собой, даже создает свою республику, единственным гражданином которой является он сам. Он беспощаден к себе, не боится показать даже дальние закулки своей души. Тем и ценна новая книга.

## II

Александр Александрович Зиновьев — наш земляк. Родился он 29 октября 1922 года в Чухломской деревне Пахтино, которая давно уже исчезла с карты. Здесь он пошел в школу, где учился блестяще. Когда его сверстники приступили к изучению программы третьего класса, он уже пошел в пятый класс. Но только в Москве, куда, взрослея, перебирались его братья и сестры, где жил отец. Саша-школьник на летние каникулы приезжал к матери в деревню. Работал в колхозе наравне со взрослыми. В самые последние каникулы ему начислили свыше двухсот трудодней — годовая норма для некоторых штатных колхозников.

Мировую известность Александр Александрович получил вначале как ученый. Если о Зиновьеве-писателе что-то и знает читатель,

то о Зиновьеве-ученом — практически ничего. Однако объем его ра-  
бот достаточно велик. Так, философские труды показывают, насколько  
широк диапазон познаний автора. Приведу названия некоторых книг  
в подтверждение своего высказывания:

- «Философские проблемы многозначной логики» (1960 г.);
- «Логика высказываний и теория вывода» (1962 г.);
- «Основы логической теории научных знаний» (1967 г.);
- «Очерк многозначной логики» (1968 г.);
- «Комплексная логика» (1970 г.);
- «Логика науки» (1971 г.);
- «Логическая физика» (1972 г.);
- «Нетрадиционная теория кванторов» (1973 г.);
- «Логические правила языка» (1975 г.);
- «Нестандартная логика» (1983 г.).

Список изданных книг приведен не весь. К нему следует добавить  
более ста статей. Многие научные работы были опубликованы на  
разных языках мира.

В художественную литературу Александр Александрович бук-  
вально ворвался, никого не растолкав локтями. Случилось это в 1976  
году, когда книга «Зияющие высоты» наделала много шума. Она ему  
очень дорого обошлась. Вскоре после ее опубликования за рубежом  
(свои издательства не приняли роман) писателя насильно лишили  
Родины. Только осенью 1999 года он вернулся из Мюнхена, где про-  
жил более двадцати лет.

Если Н.Гоголь в «Ревизоре» отразил все дурное, все несправед-  
ливости и одним разом посмеялся над всем, придав комедии огром-  
ный обобщающий смысл, то и А.Зиновьев через полтора года лет  
успешно справился с такой же поставленной задачей. В «Зияющих  
высотах» не следует искать параллелей между несуществующей стра-  
ной Ибанией и бывшим СССР. Они — близнецы-братья. И герои ро-  
мана — современники автора. По широте охвата изображенной  
народной жизни трудно найти в советской классике другой подобный  
роман. Да притом правдивый, вскрывающий все пороки и язвы «очи-  
новничающего» социализма.

Вторая книга «Желтый дом» (1978 г.) как бы развивает и конк-  
ретизирует избранную автором тему первого романа. Хотя главный  
герой — младший научный сотрудник одного исследовательского  
института, человек, сугубо персонифицированный автором, — пред-  
стает перед читателем обобщенным образом. Тем более, что он безы-  
мянный. И институт — «желтый дом» — это государство в миниатюре,  
где все поставлено с ног на голову.

Третий по написанию, а пожалуй, и по значимости, роман —  
«Смута». Его первая часть «Катастрожка» (не путать с одноименным  
эссе) была издана в 1989 году, вторая — двумя годами позже.

Роман начинается с решения Горбачева и недавно избранного  
секретаря ЦК Сусликова превратить город Партоград и одноименную  
область в «маяк перестройки». В коротких ремарках автор предупреж-  
дает, что «История города Глупова» М.Салтыкова-Щедрина никакого  
отношения не имеет к Партограду. Но с ним нельзя согласиться. Об-  
щее в «истории» двух несуществующих городов есть. Даже слишком  
много. Смешные благоглупости происходят и тут и там. Автор гипер-  
болически преподнес нам, читателям, всю глупость перестройки, обер-  
нувшейся, как потом выяснилось, великой трагедией великой страны.

В смысловом отношении, как и в хронологическом, к «Смуте» очень близко стоит политический роман «Русский эксперимент». Срок происходящих в нем событий предельно сжат — всего две недели. Главный герой романа, Писатель, на долгие годы покинувший Москву, приезжает в столицу 20 сентября 1993 года, чтобы 4 октября уйти в «Белый дом», по которому уже палят танки. Писатель уходит защищать строй, правители которого насильно лишили его Родины. Это ли не трагизм времени?!

### III

Наряду с работой над художественными произведениями (здесь сказано лишь об основных романах, а вместе с повестями их написано около тридцати) А.А.Зиновьев продолжает заниматься научной деятельностью. Его книга «Коммунизм как реальность» многими рецензентами оценена как первая попытка научного, а не идеологического подхода к реальному коммунистическому обществу, классическим образцом которого автор считает общество советское. Близко к этому труду примыкает книга «Кризис коммунизма». В ней автор изложил свое понимание сущности причин того кризиса, который начался в 1985 году и привел к развалу СССР и краху коммунистической системы в странах Восточной Европы.

Самые последние социологические работы — «Глобальный человек» и «Запад». В них автор дает широкий показ жизни западных стран, у которых проблем на нынешний день ничуть не меньше, чем в бывшем Союзе. По мнению А.Зиновьева, западное общество он познал как свои пять пальцев. Нынче ему интереснее изучать посткоммунистическое общество в России. Это одна из главных причин его решения вернуться на Родину. Следует также помнить, что Александр Александрович — русский человек, для которого нет ничего дороже березки под окном.

Хотел бы обратить внимание читателей на язык романиста. Над его многими страницами можно хохотать до слез или плакать до хохота. Парадоксальны названия самих книг. Сарказм звучит в именах и прозвищах героев. Чего стоит, к примеру, фамилия секретаря ЦК Сусликов или прозвище активистки «Маоцзедунька» из романа «Смута». Это она поднялась от доярок до местных властей, обронив однажды «историческую» фразу: «Наш урожай в США нынче очень высокий».

К великому сожалению, читающая Россия мало знакома с творчеством А.А.Зиновьева. Нынешние издатели горами выдают на прилавки макулатурное чтиво, но у них не находится сотни-другой тысяч, чтобы выпустить какой-либо роман серьезнейшего автора. Кстати, некоторые из его работ объявлялись бестселлерами в западных странах, им присуждались престижные международные премии. Первая ласточка, кажется, прилетела: стало известно об издании собрания сочинений А.А.Зиновьева в Москве. Верю, придет время, когда творчество нашего земляка станут изучать в школах, когда язык его произведений будет предметом исследований литературоведов и лингвистов.





# *ВЕСЕЛОЕ ПЕРО*

## ПЕРВАЯ ВЕРСТА

Из романа «Последние версты»

— А-а, Николай Васильевич, проходи, гостем будешь!

Иван — хитрый мужичок, с печки прыг, на Гоголя зырк. В усах — усмешка, в глазах — не пойми чего. А изба как изба. Стол да скамья. На лавке — бадья. Ковш расписной.

— Не хошь воды ключевой? — хозяин спросил да сам и испил.

Гоголь на краешек лавки присел, призадумался: «Куда это дорога занесла?» Хотел во двор глянуть, да оконце морозным узором закрыто.

— А ты пальцем теплым дырочку растопи, — посоветовал хозяин. — Авось чего интересного увидишь.

И все с шутками-прибаутками, ухмылочками. Гоголю мужик забавен.

— Откуда меня знаешь? — спрашивает.

— А читывал! — тот отвечает. — Ты ведь написал: «Знаете ли вы Русь?.. О, вы не знаете Руси!»

Иван слезу пустил, обниматься полез. Гоголь его отталкивает.

— Я про украинскую ночь!

— Да?! — удивился мужик.

— Про Русь я другое писал! «Русь-тройка, куда несешься ты?» — гордо продекламировал Гоголь и довольно хмыкнул. — Вот!

— Ишь, лихо-лихо завернул! Вопросик, надо признать... — Иван завздыхал, заохал. — Да куда кучер повернет, туда и едет твоя тройка! Эй-эй-эй! Из-за тебя на Руси про кучера-то и забыли! Все и несемса без управы да и без вожжей!

Гоголь было обижаться, да мужик не дает.

— Ай, пустое, Василич! Зла не держи! Неужто и впрямь веришь? Разве словесами кого удивишь? А вот фантазией крепкой... да! возможно! Почитай мне «Вия»! Ох, люблю!

Иван щеку подпер, слушать сготовился. Николаю Васильевичу приятность. К тому же любил он вслух читать свои творения. Расправил Гоголь грудь, паузу выдержал.

— Ой, погоди, Василич! — встрепенулся Иван. — Чтой-то мы с тобой не по-нашенски, не по-русски! Давай-ка за бражкой в погреб спустимся. Там наливочка имеется, на меду настоенная!

Гоголь рассерчал, не терпел такого перебива!

— Бесплотный я!

Да верткому мужику не больно до его обид, знай свое:

— Это ты до кончины бесплотный был: не грешил, вина и женщин не знал! Теперь наверстывать будешь!

Сам говорит, лаз в погреб открывает.

— На-ко, держи свечной огарок!

Гоголю ничего не оставалось, как подчиниться.

В погребе сухо. Пучки трав на лагах висят. Кадушки и бочонки в ряд стоят. Бутылки стеклянные. Короба плетеные.

— Слышь, Иван, — поинтересовался Гоголь. — Как это — на-верстывать?

— Не знал, что ли? Каждому отпущено: сколь погулять, а сколь поплакать. Если в гульбе переусердствуешь, за это Бог наказывает. Все знают. Да немногие догадываются, что и за недобор тоже попадает! Не зря говаривают: не согрешишь — не покаешься! Ну-ка, свети сюда!

Гоголь свечу держит, мужик запасы перебирает.

— Огурчики малосольные, берем!.. Вот кадушка с груздями, а вот с рыжиками... возьмем малость. Шматок солонины вяленой... чуток отрежем. Теперь о питье позаботимся. Подай-ка бутылку, опробую!

Нащедил Иван ковш, отхлебнул. Гоголя потчует.

— Наливка медовая с травами! Пей, Василич, на здоровье!

Гоголю не отказаться. Пригубил да Ивановым погребом любуется.

— Богатые припасы!

— И ты, Василич, чревоугодником был. Смачно харбузы и халушки описывал!

Гоголь смеется: то ли от вина, то ли от слов Ивановых. Присел на кадушку, еще к ковшу приложился. Шутит, игривое настроение к нему пришло.

— А что это у тебя за пучок висит?

— Коренья от сглазу.

— Да ты, Иван, колдун?

— Колдунов и без меня хватает. Ведуны мы, Василич, что ни на есть настоящие.

— Значит, наперед угадывать можешь?

— Невелика премудрость! Когда родился, когда женился, когда помер! Енто у нас важная девка сказать может. Ничего другого природой не дадено! Ведать про все на свете — вот где тяжело! Никто же толком не знает, что на самом деле вокруг творится, что происходит. Эх, разбередил душу расспросами! Любопытный ты, Василич, ох любопытный!

Гоголю беседа занята.

— А верно! — восклицает. — Хотел я будущее России предугадать, да настоящее-то и то не осилил описать. А если разобраться, то кому это будущее надо?

— Правду говоришь! Зачем нам будущее? Мы же в будущем жить не будем! А проникать в него да описывать — это ж сколько сил и здоровья потратишь! Вот ты, Василич, себя и погубил! Надорвал здоровье зазря!

— Хотел людей предостеречь от ошибок!

— Людскую породу не переделаешь. Да ты не огорчайся! Угощайся наливкою!

Приложились к ковшу, да не по одному разу, да так хорошо стало, да так расчудесно.

— Закусывай, Василич, опробуй огурчика!

Гоголь потянулся, невзначай соседнюю кадку задел. Иван встревожился.

— Эй, осторожнее!

Гоголь же хмельной чуть и вовсе кадку не опрокинул. Иван на что пьян, а еще пуще всполошился.

— Аккуратнее, говорю!

— А чего у тебя тут?

— Знамо чего: души людские храню. Отдыхают в холодочке!

Гоголь его слова за шутку принял.

— Пускай отдыхают! — смеется, а сам — раз рукой и подцепил одну. Почти невесомая, хрупкая и прозрачная.

— Положь на место! — засерчал хозяин. — Повредишь чего! Вон давеча от недогляду одна душа с боку прогоркла, так насилие ее после пристроил... к Антипу-пьянице в семью.

Гоголь вмиг протрезвел, душу бережно на место положил, дивится:

— Это что же, Иван, ты их здесь хранишь, а потом по всему свету рассылаешь?

— Ну, загнул, Василич! Любишь этакое величавое! По всему свету пусть индусы рассылают, а мне свою бы деревню обеспечить, свой родной дух сохранить!

— Любопытно!

— Кому любопытно, а кому и работенка! Уловить да сберечь, да чтобы не попортились, да чтобы пристроить надежно... эх, милый мой, хлопотное дело. Ой, засиделись мы с тобою! Свеча вон догорает!

Вышли из избы на волю. Домишки по пригорку выстроились. В деревне — ни души, за изгородями — темень. Иван в овчинный тулуп кутается. Гоголю мороз нипочем, хотя и в сюртуке.

Гоголь пошатывается.

— Счас, — говорит, — черта словлю, в Петербург слетаем!

— Чего мы там забыли? — удивляется Иван. — Все тебя по столицам несет! Лучше нашу деревеньку осмотри, вся-то с версту, а непростая! Вон, вишь, там, вдали, темнота?

— И что?

— А все! Дальше — конец Света!

Гоголь в усы посмеивается, ехидно так.

— Ах, не веришь! Не веришь! — распалился Иван. — Пойдем!

Схватил и тянет Гоголя за собой, да споткнулись под горой. Иван задом, Гоголь передом — в край неба и врзались! Иван валенки вытягивает, матерится, а Гоголь голову просунул за полог неба и любит.

— Красотища какая! Звезд понатыкано! Месяц блестит!

Иван катанки поправляет, на краю Земли усаживается.

— У тебя, Василич, в «Ночи перед Рождеством» не хуже!

— Нет, здесь красивее! — не соглашается Гоголь. — Признаюсь, не ожидал, что и взаправду так! Ой, вон и лестница! Как мечтал: «Лестницу мне, лестницу!» Слышь, Иван, давай полазаем!

Иван отвечает:

— Мне почто! Я посижу, ты забавляйся! Катайся, кувыркайся, карабкайся, только в Бездну не свались!

Гоголь на первую ступеньку поднялся.

— Ого-го! Земля бескрайняя!

— А чем выше залазишь, тем она бескрайнее кажется. Я это высоко поднимался, аж Америку видать!

— Ишь ты!

— Поди ж ты!

— Ой-ли!

— Гой-ли!

Оба смеются. Веселье пуще прежнего. Гоголь снежок слепил, взял и швырнул вниз...

\* \* \*

Вдруг замело по Москве, завьюжило. Налетел ветер, сыпанул снегом.

— Бр-р! — крикнул жандарм и обернулся на похоронную процессию. На санях давно бы домчали до Данилова монастыря! Экое выдумали — на руках нести! Охраняй тут, за порядком следи!

— Поторапливайтесь, господа, непогода!

— Ерунда! — отозвался молоденький студент, несший гроб с Гоголем. — Шалость природы! Озорничает кто-то! Сейчас успокоится, солнце выглянет, мороз вдарит!

И впрямь — утихло!

А студенту смешок послышался. Почудилось ему, что будто из гроба смешок-то! Кто знает, кто ведает!

Хорошо, что смена подоспела, другие сотоварищи гроб взяли. Студент поотстал, перекрестился...

\* \* \*

Гоголь вволю по лестнице полазил, на мир поглядел, диковин разных повидал, ублажился и успокоился. Вниз спустился, к Ивану на краешек присел. Сидят, ногами болтают, речи ведут.

Гоголь вопрошает, Иван завирает.

— Выходит, любезный, мир все-таки по Птолемею устроен?

— Як кому треба, так и устроен! — сказывает Иван в ответ. — Мне этот мир поболее нравится — в ем и живу! Тебе, Василич, кажись, такой мир тоже люб был?

— Люб! — соглашается Гоголь.

— То-то и оно! — Иван вдруг зарыдал, запричитал, заохал притворно. — У-у, Коперник проклятый! Таковую красотищу порушил! А ученая братия и вовсе доканала! Разбили мирозданье! Прежде я до Сириуса по лесенке за пять минут добирался, с тамошними мужиками погугорить, а ноне... Разлучили нас ученые, книжники треклятые! Расстояний напридумывали: парсеки-сусеки, год световой! Эх, жалость! Хорошие мужики были — сируяне! Самые близкие соседи! А теперь! Про остальные звезды и не заикаюсь! Вселенную и ту раздули умами своими запредельно: ни мыслью, ни взором не окинешь! — Иван слезы утер. — Хотя и неохота, а супротив науки не попрешь! Приходится подчиняться!

— Да-а... — соглашается Гоголь. — Наука — дело серьезное!  
— А как, бывалочи, легко путешествовалось! — Иван преобразился, глаза заблестели. — Эх, разбежишься «мыслию по древу»... и полетел со звезды на звезду! Немного сейчас осталось таких, кто мыслью-то перемещаться могут! Ох, немного! А уж вослед мысли телесное перетащить, так и вовсе умельцы наперечет! Помнишь град Китеж? Лихо они тогда все переметнулись! От бед и невзгод, от унижений и притеснений! Я к ним хаживал в прошлом году. Хорошо живут. Только все одно скучают! Возвернуться надеются! Да не настала пора!

— Не настала, — подтвердил Гоголь.

— Вот и я им отсоветовал.

Помолчали.

— Слышь, Иван, а как же Бог?

— И не спрашивай, сам страдаю! Отослали фарисеи Бога куда-то аж за пределы Вселенной! Не поймешь: то ли Он есть, то ли Он уже был? — глубокомысленно заключил Иван. — Да, поди, Богу-то и несподручно из вселенской дали за людьми присматривать, беспорядков-то много стало. Хорошо, Христос с Вифлеемской звезды успел заскочить, верой обнадежить, а то бы и вовсе осиротели.

— Ой, Ваня! — погрозил Гоголь.

— А что! А что! Я вот думаю: все это современное учение — и есть дьявольское искушение!

— То есть?

— А чего человек своей дурной башкой ни напридумывает, то дьявол сразу и воплощает, и от Бога нас сим отдаляет! — Иван опять запричитал, заохал по привычке своей. — И кому мешали ангелы в облаках! Как красиво! Как поэтично!

— Прекрати! — незлобно отмахнулся Гоголь. — Идеалист!

— Отчего же, отчего же... не глупее некоторых. Мне любое мироздание доступно, да и сам насочинять могу, а вот за простоту обидно! Ой, как обидно! — Иван зарыдал, голову на плечо к Гоголю склонил, зашептал вкрадчиво: — Простота — она мир спасти может! Слышал про такое?

— И про красоту, и про простоту... — Гоголь зевнул. — Скучно.

Иван всполошился.

— Ай-я-яй! Опять у тебя хандра! Все! Давай, подымайся и айда к Маланье!

— Что за Маланья?

— Бабенка справная, не боись, не ведьмочка, не съест! К тому же сказывала, что, мол, как Гоголь появится, так непременно к ней привести!

— Зачем?

— Для угощения! Ай, какие у Маланьи блины! Ай, какие блины! Да и наливки не грех добавить, я вот мерзнуть начал! Ай, какая наливка у Маланьи! Ай, какая наливка! Да после ейной наливки — всю Русь разом понять можно!

— Ну, коли так — веди! — Гоголь с краю Земли поднялся, еще

раз на звезды глянул, вздохнул в умилении, бодрость и веселость к нему возвратились.

И отправились они далее. Иван впереди — байки травит, Гоголь позади, знай посмеивается. А путь неблизкий, через всю деревню. Бредут, снегом похрустывают.

Вот видят — избушка стоит на курьих ножках! Кривая! Да еще крутится, вертится, ходуном ходит! Ну вся из себя!

Гоголь было к ней свернул, Иван попридержал.

— Это Панкрата изба!

— И что?

— Да он у нас наособицу! В иных измерениях живет и перемещается! Фантазер, едрит твою!

— Вот и расчудесно! — смеется Гоголь. — Заскочим!

— Заскочить-то можно, да больно хлопотно! — отговаривает Иван. — Выждидай тут, пока дверь насупротив тебя окажется! Обратно еще тяжелше выпрыгнуть — чуть промахнешься, не в то пространство угодишь, ищи потом пятый угол! Всякие эти искривления, завихрения — на трезвую голову не разобраться!

Гоголь же не слушается, прыгать стотовился.

— Ну хорошо, хорошо, — пошел Иван на попятную. — Счас скомандую! Эй, избушка-избушка! Стань ко мне передом, к лесу задом!

Только выкрикнуть успел, как из избушки вдруг тарелка вылетает, за ней блюдце, перебранка слышится.

— А-а... — Иван от очередного блюда увернулся и Гоголя к земле прижал. — Началось! Панкрат со своей ругается. Не до нас им, Василич, да и мне неохота в чужие скандалы вступать. Айда отсюда! Да пригнись, тебе говорят, зашибут ненароком!

Чуть поодаль отошли, Иван ну хохотать.

— Слышь, а когда шибко ругаются-то, когда разойдутся не на шутку, куда только ни швыряют что ни попадя, и куда только эти ихние вещички ни заносит по искривленному-то пространству! Ой, умора! Всех ученых в путаницу ввели! И поделом им!

— Поделом! — смеется Гоголь.

Так в веселом расположении духа добрались они до середины деревни. Глянь — колодец-журавль! Но уж больно странен на вид: ни тропинки к нему, ни водицы замерзшей возле сугроба. Ведро пустое болтается. В колодце что-то завывает да постукивает. Иван притих.

— Тс-с! Место проклятое — стороной обходить надо. Человеков засасывает!

Гоголю тоже жутковато стало, за Ивана спрятался. Идут бочком, на колодец косятся, Иван нашептывает:

— Не про нас это место... не про нас... Ой, сколько там любопытных сгнуло! На мою бытность один лишь возвратился, Илья несчастный... и то все бредил-бредил да вскорости и помер.

— О чем гуторил? — прошептал Гоголь.

— А ни пойми о чем! О космосе большом, запредельном... о какой-то «черной дыре»... Я так разумею: куда-то его там лихо закинуло, что он над всей нашей Вселенной возвысился, всю ее враз окинуть

взглядом смог... в горячке кричал, что Млечный Путь якобы есть волос с носу, а сама Вселенная — по сути и есть преогромный Нос, из звезд наших, словно из атомов, состоящий!

— Нос! — вскричал Гоголь.

— Да, Василич! Прав ты был насчет носа! Жаль, Илья дальше Носа ничего разглядеть не сумел: чихнул тот, его назад и отбросило. А может, сие и есть предел познания? Зачем нам дальше носа-то видеть, а?

— Г-м! — закричал Гоголь, диву дивясь.

И колодец в ответ: дых-дых!

Наши путники как припустили, ног под собой не чувят, не заметили, как и до Маланьи домчались. А та и впрямь словно ждала — ну блины из печи метать! С пылу, с жару! Во рту так и тают! А мед! А приправы! Наливка густая, хмельная! Морс из морошки! Чай брусничный!

Гоголь с Иваном за столом сидят, на Маланью поглядывают да знай за обе щеки уплетают!

— Вот она — Русь! — восклицает Иван. — Пока идем-бредем — философствуем, а как дошли — все из печи мечи! Выпили-закусили — покой и благодать, не до философии — лишь бы подремать!

— Ой, Николай Васильевич! — ухаживает Маланья. — Вы Ивана-то не больно слушайте. Он у нас завиральщик известный! Вот сейчас блинов отведаем, я вам сама деревню нашу покажу. На сытый желудок она вовсе другою вам покажется, ой другою! У нас такие бабенки проживают! Веселые, на язык вострые! Вмиг вам по душе определим, окрутим для любви и счастья! Да я и сама не прочь. Дюже вы мне любви... об нас, женщинах, жаль, мало написали! То панночки худющие, то дамочки злющие! А сами-то вы добрый... добрый...

Маланья воркует, боками водит, вокруг Гоголя хороводом ходит. Смотрит Гоголь — и вправду, женщина расчудесная! Губы крендельком! Ручки пухлые! Тело дородное! Бедрышком ненароком коснется — ух-х!

Гоголь на что холоден да костляв — и то его пробирает. Созорничал, ухватил Маланью за талию! Та смеется, рядышком присела.

— Ой люб мне, ой люб!

Да вдруг как поцелует, как жаром обдаст!

Гоголь обомлел. Женская ласка, оказывается, бывает не только материнскою. Застонал, заохал, глаза от удовольствия закрыл да век бы не открывал. Притих и успокоился! Казалось, никто его из жарких объятий не вырвет.





## ВИДНАЯ ШЕЯ

Случилось так, что Гусь  
за подлость  
с работы был вторично снят,  
предупрежден и...  
рад не рад —  
переведен в другую область.  
И вот, держа по ветру хвост,  
пришел Гусак  
на новый пост.  
Считая прошлое ошибкой,  
он так решил,  
что надо впредь  
лишь только шею сделать гибкой  
да лучше голосом владеть, —  
мол, у себя в конторе, часом,  
браниться можно низким басом,  
а при начальстве городском  
польстить высоким тенорком.  
Проходят дни.  
Как говорится,  
теперь Гусак — большая птица.  
Он оперился,  
хорошеет.  
Хоть сер, а в лапах—  
все права.  
Эх, жаль! — Угодливая Шея  
порой видней, чем Голова.

## ДОЖДИК, ДОЖДИК, ПЕРЕСТАНЬ

В нашем доме наводнение.  
Крыша вроде решета.  
Просим домоуправленье  
Дать железа три листа.  
Ну один хотя бы листик...  
Говорят не первый год:  
«Вот пришлем специалиста,  
Он ремонт произведет».  
Потому, наверно, не был,  
Что жильцы не платят «дань»...  
Мы с мольбой глядим на небо:  
Дождик, дождик, перестань!

А на днях ловкач какой-то  
Нам мозги морочил зря:  
«Надо ж... дать, — сказал он бойко, —  
На расценки не смотря...  
Я на крышу не полезу,  
Если мне заплатят так!..»  
Матом крыть, а не железом,  
Оказалось, он мастак.  
Мы тогда не захотели  
Слушать кровельщика брань.  
Песню старую запели:  
«Дождик, дождик, перестань».

Золотой казны не просим.  
Нам нужна простая жесьть.  
Явно пасмурная осень  
Наступает снова здесь.  
Мы указываем: вон где  
Кровля, словно решето.  
Но о гибнущем жилфонде  
Не печалится никто.  
Управленческие штаты  
Всюду есть, куда ни глянь.  
Пусть они прикажут, кстати:  
Дождик, дождик, перестань!

## СЛУЧАЙ В ГОСТИНИЦЕ

По причине неизвестной  
Мне кровать на этот раз  
В лучшем номере двухместном  
Кто-то загодя припас...  
Ночь тиха. И вдруг от криков  
Как рукой смахнуло сон.  
Прибыл Петр Петрович Лыков!  
Мне велят: «Из люкса вон!»  
—Ох! — дежурной стало дурно:  
Не могла «втемяшить» мне,  
Будто всяк «номенклатурный»  
Должен спать наедине.  
Я сказал: «Могу заверить,  
Что не выметусь отсель...»  
Петр Петрович запер двери,  
Молча плюхнулся в постель.  
Развалясь в неловкой позе  
И причмокивая всласть,  
Захрапел он, как бульдозер!  
Даже люстра затряслась.  
Столь жестокий храп иному  
Не стерпеть, не хватит сил...  
Понял я —

отдельный номер  
Лыков Петр не зря просил.

## МОИ НОГИ

Ноги сейчас из болотины —  
Тоже мои, а не тетины!

Николай Востров

Мне тетя пальцем погрозила,  
Чтоб за обедом я притих.  
Вдруг под столом нога верзилы  
Коснулась робко ног моих.  
Я на верзилу был озлоблен  
И молвил, желчи не тая:  
— Эй, убери свои оглобли!  
Нога не тетина, моя.

## ПОХОДНОЕ

Звезды на небе...  
Милый, шел бы ты!  
Без вина во хмелю голова.  
...Уходил бы ты...  
Было б к лучшему!

Нина Снегова

Кто вас выдумал,  
звездные ночи  
И свиданий часы под луной?  
— Да иди ты, — шепчу,  
но не хочет  
Ненаглядный расстаться со мной.  
Вижу: парень волнуется все же  
Или шибко озяб — не поймешь.  
— Уходил бы! — напутствую строже. —  
Будет к лучшему, если уйдешь.  
Я на стуже, как студень, застыла.  
Не сезон для любви — холода.  
Гость милей, когда вижу затылок.  
В общем, шел бы ты!..  
Знаешь, куда?

## **ШИЛО В МЕШКЕ**

— Имею для вас интересную тему... — сказал мне по телефону знакомый начальник отдела перевозок аэропорта. — С первого февраля у нас вводится рейс на озеро Окуневое... Специально для любителей подледного лова.

Мысль моя сработала молниеносно, как кассовая машина в магазине, и выдала готовый заголовок для будущего репортажа — «С пешней сквозь облака». Часом позже я уже сидел в кабинете начальника отдела перевозок и уточнял детали: количество самолетов, расписание вылетов, стоимость билетов и прочее. Одновременно я заручился твердым обещанием начальника забронировать для меня место в самом первом самолете «рыбацкого» рейса.

Когда сотрудники отдела перевозок обратились ко мне с просьбой помочь им составить текст броского объявления для газет и радио, я тотчас принялся отговаривать их от широкой рекламы. Вполне будет достаточно парочки скромных объявлений в городском агентстве и на аэровокзале. Иначе, чего доброго, может случиться конфуз: рыбаков-подледников в нашем городе не одна тысяча, и смешно было бы предполагать, что они упустят случай в первый же день воспользоваться услугами Аэрофлота. Как бы не сесть авиаторам в лужу со своими малагабаритными самолетами!..

Конечно, в своих советах я руководствовался отнюдь не интересами Аэрофлота. Мне надо было воспрепятствовать широкой огласке предстоящих рейсов, чтобы дать как можно меньше шансов своим коллегам из газет и радио пронюхать о новинке.

И вот наступило первое число. Я приехал на аэровокзал за час до вылета с билетом в кармане. В зале ожидания среди других пассажиров тотчас узнал рыбаков. Узнал по тулупам и полушубкам, по рундучкам и пешням, спрятанным в чехольчики.

Не теряя времени, я тут же решил завести знакомство со своими попутчиками, вынул блокнот и подошел к одному из них.

— На Окуневое?

— Хотел бы, — вздохнул человек в полушубке. — Да вот досада — на сегодня все билеты заранее проданы.

— Ничего не поделаешь — наплыв, — сказал я, разводя руками, и обратился к другому рыбаку: — Значит, летим, папаша?

— Кто полетит, а кто и автобусом поедет, — недовольно откликнулся он.

И вдруг я услышал за своей спиной знакомый голос фото-репортера нашей «вечерки» Усынина:

— Привет, старик. Уж не за репортажем ли на Окуневое?

Мне ничего не оставалось делать, как сознаться.

Усынин почему-то страшно обрадовался такому ответу. Он проворно сунул мне в руки тяжелый кофр с аппаратурой и крикнул, выбегая из зала:

— Стой тут, сейчас я сюрприз сделаю одному типу!

Через минуту ко мне подошел смущенный Иннокентий Крышкин, репортер «вечерки», и невесело сунул руку. Усынин, выглядывая из-за его плеча, тараторил:

— Я ж тебе, Кеша, говорил: не будем мы монополистами этого материала. Разве от таких китов (он кивнул головой в мою сторону) шило в мешке утаишь!..

В это время голос из динамика пригласил пассажиров «окуневого» рейса выходить на посадку в самолет. Странное дело: никто из одетых в тулупы людей не тронулся с места. Мы недоуменно озирались по сторонам до тех пор, пока взволнованный голос диктора не выкрикнул наших фамилий и не предложил немедленно садиться в самолет...

Десятиместный «лайнер» содрогался от хохота. Второй пилот несколько раз заглядывал в пассажирский салон и просил прекратить безобразия. Он не знал, что первым рейсом на Окунево везет... одних журналистов, представителей всех газет, радио и телевидения нашего города, операторов кинохроники.

Каждый из них собирался сделать «эксклюзивный» материал о рыбаках, прилетевших самолетом на озеро. А рыбаков-то среди нас как раз и не было!

*Алексей Горбунов*

## НАСТАВЛЕНИЕ ОРЛИЦЫ

Орлята завели беседу об Орлах-отцах.

И так между собою говорили:

— Какие подвиги Орлы-отцы вершили!

С какой отвагою они вступали в бой

С врагами стороны родной,

Как высоко они парили

И гордо жили!

Недаром вся орлиная страна

Своих питомцев помнит имена

И славой их бессмертною гордится...

Как жаль, что в наши времена

Таких Орлов, как прежде, не родится!

— Вы заблуждаетесь, — сказала мать Орлица

Орлятам малым со скалы, —

Родятся славные и в наши дни Орлы.

— Но где они? — откликнулись Орлята.

— Здесь, предо мной. То вы, мои юнцы,

То ваши сверстники-птенцы

Из горных гнезд моей сестры и брата.

— Ах, матушка, вольно тебе шутить

Над слабыми своими сыновьями.

Уж где нам по-отцовски жить  
И в подвигах сравниться где с отцами!  
— Да отчего?

— Не та у нас звезда.  
— Своей судьбы хозяева вы сами:  
Орлиный подвиг требует труда,  
А вы в тепле родимого гнезда  
Все нежитесь, боясь взмахнуть крылами.  
Летите в небо —ваше место там,  
Да будьте посмелей, советую я вам, —  
Лишь смелые становятся Орлами!

## ВОИНСТВЕННЫЙ ЩЕНОК

Когда на сильного бессильный рвется в драку,  
Знай, кто-то поощряет забияку.

\* \* \*

У речки, на исходе дня  
Щенок-Волчонок тьявкал на Коня.  
— Тс-с! видишь эту ты картину? —  
Шепнул старик Охотник Сыну.  
— Все вижу, — тот в ответ, — да не возьму я в толк,  
Откуда столько смелости в Волчонке?  
— Да все оттуда, что в сторонке  
За ним стоит матерый Волк.

## ДРУЗЬЯМ-САТИРИКАМ

В болотных сапогах, с ружьем и сворой псов  
В несжатом поле близ селенья  
Какой-то дядя с увлеченьем  
Охотился на... воробьев.  
Звучали выстрелы, о смерти пел свинец,  
Не умолкал могучий бас двустволки.  
Летели перья с воробьев! А волки  
Колхозных резали тем временем овец.

---

Сатирики, друзья, товарищи мои!  
Рассказ мой не о вас, но адресован вам:  
Когда есть дичь важней, чем воробьи,  
Давайте не стрелять по воробьям!

Юрий Семенов

## МЕНЯЛА

Устоял перед соблазном —  
Слух пойдет среди людей,  
Что Цветков меняет в Лазнях  
Девушек на лошадей.

Анатолий Цветков

Гармонист, садись на место,  
Пой, гитарная струна!  
У меня была невеста —  
Девка рыжая одна.  
Конопатая, большая,  
Головенка без царя.  
Жить решительно мешает  
Мне, короче говоря.  
Эти девки, ну их в баню!  
Мне не стыдно от людей —  
Мимо ехали цыгане,  
Предложили лошадей.  
Что тут скажешь, если было,  
На судьбу я не пенял —  
Свою рыжую кобылу  
На гнедую поменял.

## БОЛЬШЕ СВЕТА!

Уже к мужчине страсти нет.  
Не жалко мне отбившего.  
Сейчас я вновь вижу свет  
И пью вино остывшее.

Нина Снегова

Когда к мужчине страсть была,  
Вино горячее пила.  
Холодного я налила,  
Когда к мужчине страсть прошла.

Я эту роковую страсть  
Ни от кого не прятала,  
Ах, как покой умела красть  
Та страсть моя проклятая...

Я у спокойного огня  
Сижу, чуть-чуть взгрустнувшая.  
Нет, не закабалит меня  
Навеки страсть уснувшая.

Сейчас я вновь вижу свет,  
Когда к мужчине страсти нет.  
Зачем же я в молодые лета  
Совсем себя лишала света?

## ПЛАНИДА

Будет жизнь и дальше продолжаться,  
Радостей и горестей полна,  
Лишь друзья при встрече удивятся,  
Как прозрачна я и солона...

Елена Гилярова

Будь, читатель, чуток и понятлив:  
Всем на радость, а не на беду  
Хлористый накапливаю натрий  
И диету жесткую блюду.

Да, судьба моя неоднозначна,  
Этот крест я вынести должна:  
Буду к лету призрачно прозрачна,  
Буду к лету круто солона.

Жизнь меня не обойдет стороной,  
Обогрею ближнего теплом...  
Буду для одних друзей солонкой,  
Для других — небоющим стеклом.

## ЛЮБОВНЫЕ ЭПИТЕТЫ

Затеряться ль в тех садах духмяных,  
На причале ль в кассу постоять?  
Мне — с моей любовью окаянной —  
Безразлично, где себя слонять!

Нина Снегова

О любви я думаю обзорно,  
Поэтессе Снеговой под стать.  
Мне с моей любовью беспризорной  
Все равно, куда себя катать.

Может, в скомороший дунуть праздник,  
Может быть, в Палангу отдохнуть?  
Мне — с моей любовью безобразной —  
Все равно, куда себя пихнуть.

Я себя по свету послоняю,  
Из души проказницу гоня,  
А к семидесятому-то маю,  
Может, и отстанет от меня?!



## ЛИПА

Скамейка.  
Калитка со скрипом.  
И пара влюбленных —  
Тихи.  
В сиреновом сумраке  
Липы,  
Их шелест — почти что стихи.

Владимир Максимов

Калитка скрипела противно,  
К скамейке пиджак мой прилип,  
А мы целовались активно  
С тобой у раскидистых лип.

В сиреновом сумраке ночи  
Играл очень громко оркестр.  
Ох, шелестом липовых строчек  
Смущал я в деревне невест.

Теперь сочиняю со скрипом,  
Оркестры, невесты — тихи,  
Все прошлое кажется липой,  
Такой, как и эти стихи.

## УЙТИ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ

Уйти — не каждому дано,  
Вернуться — каждому возможно.

Владимир Соловьев

Ты мне сказала: «Уходи!»  
Я вроде не повел и ухом.  
На воле слякоть и дожди,  
А у тебя тепло и сухо.

Ты не бросайся мужиком  
Или остынь, по крайней мере,  
Не топай грозно каблуком,  
А то возьму и хлопну дверью.

А ежели случится так,  
Поймешь ты, глупая, однажды:  
Уйдет-то ведь любой дурак,  
Но возвращается не каждый.

## ФАТАЛЬНАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ

От мира ничего не утаишь,  
Когда в обнимку с женщиной стоишь.

Борис Викторов

Пожалуй, все на свете утаю,  
Кроме того, что с женщиной стою.  
И, более того, стою в обнимку, —  
Готов сюжет в любую анонимку.  
Кругом темно, безлюдно, гладь и тишь,  
Но это все равно не утаишь.

## ПОСЛЕДСТВИЯ МИГРАЦИИ

Влюбчивы подпившие немножко  
В деревнях российских мужики.

Александр Ивушкин

С ужасом в деревне вспоминают  
Старики — они не любят врать:  
Выпьют прежде парни — начинают  
К молодым девчонкам приставать.

Девки долго, бедные, терпели,  
Не водили с пьянью хоровод,  
А потом все в город улетели,  
К ним теперь никто не пристаёт.

Мужики в селе живут в печали,  
Перетерлась влюбчивости нить.  
Пить они и вовсе перестали,  
Потому что некого любить.



\* \* \*

Ох, и ветер сегодня злющий!  
Хлещут молнии, как в аду.  
Не гадай на кофейной гуще,  
Все равно я к тебе приду.

Уронила гроза застужку,  
На полянах трава с огнем.  
Не брани, протяни ладошку,  
Пьян я дождиком, не вином.

Одежонка на мне — хоть выжми,  
Подмочу твой «банкетный» зал.  
Полубуйся, какие вишни, —  
Не поверишь своим глазам.

Ах, не нужно о дружбе вечной.  
Слово мимо — душа в распыл.  
Затопило весь луг заречный,  
Я то гусем, то лосем плыл.

Где была ты порою вешней?  
Где та улица, тот бульвар?  
Ух ты, вишня моя, черешня,  
Самовар тащи, самовар.

\* \* \*

Все было, и ты это знаешь.  
Теперь удалиться позволь.  
Какая, однако, смешная  
Тобою мне выбрана роль.

Я бился с несметной оравой,  
Лишая крылечко перил,  
Когда коробейник чернявый  
Колечко тебе подарил.

Зачем притворяться овечкой,  
Которую некому стричь?  
Не стану стоять я со свечкой,  
Другого лакея покличь.

Осыпь свое личико пудрой,  
Под краном умой пяточок,  
Живи Василисой Премудрой,  
А я — не Иван-дурачок.

## БЛАГАЯ ЖЕНА ДА МУЖ-ПРИВЕРЕДНИК

Жили на свете благая жена да муж-привередник.

Сварит жена щи, а сама больше того разговаривает:

— Уж варила я их варила, уж варила-варила, да еще все варила да варила. Капусту положила, луком заправила, картошки накрошила, крышкой прикрыла, на шесток ставила, рогачом горшок поддевала, в жар-то тиснула, чашки-ложки собрала... Сколько дела переделала!

— А есть нечего, — отвечает муж. — Перепрели щи. Животом замаешься...

— А вот я по воду ходила, — говорит жена. — Уж я шла-шла, уж несла-несла, коромыслом-то все покачивала...

— А вода-то мутная, — отвечает муж.

Сварит жена кашу, а муж: «Вот теперь бы блинов поесть...»

Напечет блинов, — «А что кашу не варила?»

Муж наколет дров, а жена говорит: «Наколол неподъемные».

Наколет муж дрова помельче, а жена: «Ишь, на щепки поленья извел — жару нет, ветер топим...»

Только лягут с вечера — жена схватится за голову:

— Ох, совсем я хворая, помирающая! Ой, головушка моя да раскальвается!

— Пяткам легче, голова коль болит, — говорит ей муж.

Поприсунется поближе жена, а муж ее упредить старается :

— У меня, вишь, ребро за ребро от работы зашло, так чтоazole тереться тебе бы и нечего...

Жили они вот так, жили, — выросли у них сыновья да дочери.

Проснутся братья спозаранку и друг на друга кулаками машут. Очнутся сестры за полдень и бранятся меж собою дотемна.

Учат их всяк по-своему привередливый муж да благая жена, и никак из того ничего не получается: в будни лаются, в праздник маются; где быть делу — там без дела лежат, а где делать всем нечего — там все в шуме да в бестолочи.

Пожились дети народились внуки, а как с теми — так совсем уж сладу нет: невтерпеж, невмочь, никакой нету силушки. Все дерутся, спорятся, делятся, все ругаются, да шпыняются, да все злость друг на друга накапливают.

Вот и состарились муж-привередник да благая жена не по времени. Лежат они этак на печи в шубах, в валенках, потому что дети их да внуки печку летом топили, а зимой выхолаживали, — лежат они так, лежат и всяк один другому досаду выкладывают.

— А все ты виноват, дурак старый, — говорит мужу жена.  
— Все через тебя, ведьма беззубая, теперь маемся, — отвечает муж.  
И тут смерть к ним в одночасье подошла. Стала с косою, призадумалась, а с кого начать — никак не поймет.  
— Кто из вас тут больше виноват — не разберусь я, — говорит.  
Стали тут муж-привередник да благая жена смерть меж собою делить.

— Нет уж я, видно, первая помру, — говорит благая жена. — Долго ли с таким злым на свете протянешь? Долго ли промаешься? Да с моими-то хлопотами да с хворостями? Закачу-ка сейчас я вот свои ясные глазыньки и рядом с тобой, аспид, помирать начну, чтоб тебе в укор да в назидание!

— Эка, то-то и видно оно, — отвечает муж. — Кто скрипит весь век, тот сначала другого перепиливает. Мужики скорее мрут, оттого что жены мужиков всякий день заедают.

Разбранились совсем перед смертью привередливый муж да благая жена, да уж так разбранились-рассорились, как и смолоду не бранились еще. А тут дети-внуки к тому примешались, меж собою сцепились, заспорили: где могилу копать, когда старики помрут, кому доски для гроба отваливать. Переспор тут пошел, перебранка всякая. От такого шума кирпичи на печи стали жаркими. Дети-внуки вон повыскачили, разбежались кто куда, друг на друга не глядячи. И самой уже смерти совсем места нет в избе, где ей быть не осталось, — коловерть кругом, так что смерть в трубу и выскочила.

Оглянулись тут привередливый муж да благая жена, а делиться-то им уж нечего: смерть и та нейдет. Принялись они за дела потихонечку. Что за день удалось — ну и хорошо, что на праздник пришло, то и радуется. Ждут-пождут, когда дети да внуки снова объявятся, коль прибавится ума-разума.

## ДОБРЯК

Жил на свете Добряк и все считал, сколько кому добра он на свете сделал.

— Вот, сосед Иван, — говорит, — рубил ты деревья для меня в лесу, а тебя я и там не забыл: деревья ты срубил, сколь я тебе указывал; во двор ко мне свез, а пеньки-то все я тебе оставил. От них жару много бывает! Потому ты с детишками в стужу зимнюю и не замерз.

— А помнишь, сосед Семен, как я тебе полтину дал гнутую? Полтину ты выпрямил, и дали тебе за нее гривенник. На четыре гривны поработал ты у меня осень, зато, брат, на гривну ты каравай купил, а все потому, что для человека добра мне не жалко.

— А ты помнишь, вдова Матрена, твой мужик утонул по осени, когда мой невод с рыбою спасал, а я к тебе всю зиму был ласковый... Потому как человек я очень добрый.

— А ты помнишь, брат Никита, как я тебе чарку поднес? Поработал ты, а я тебе—чарку. Деньги, они что — соблазн один. Ты бы сразу все их и потратил. А чарка — вся в тебя. Побежала по жилам — вот тебе и думать не о чем...

Все помнил Добряк: кому в долг поверил, кому шей налил, кому муки с мякиною отсыпал, кому trebuхи телячьей дал, кому соломы отвалил охапку.

А выйдет Добряк из двора, так все люди от него разбегаются.

— Вот так-то оно так, — говорит Добряк, — живешь на свете благим помыслом, и за все-то мое доброе люди еще и бегут от меня.

Вот позвал по осени Добряк народ, чтобы клюкву на болоте собирать. Торговал он клюквой в городе.

— Вы, бабы, — говорит, — шибко клюкву-то не ешьте, а то добром такое дело не кончится: либо брюхо заболит, либо помереть со всем можно.

Собирают бабы клюкву, а Добряк ходит да все доглядывает. Глядел-глядел в плетенку каждую — одного не доглядел, как сам в трясику ухнул.

— Эй, люди! Бабы! Тащи меня! — кричит Добряк.

Смотрят люди, а тащить Добряка никому неохота.

Завяз Добряк по горло и пузыри уже пускает. Тут ему хворостину и бросил кто-то. Приподнялся Добряк, вздохнул раза два и опять захлюпался.

Бросили палку ему поперек.

Вцепился в палку Добряк.

— Что вы, нелюди! Кто ж так помогает, чтобы дух еле-еле перевести!

— А мы так, как ты, — отвечают люди, но веревку бросили.

Вынули из болота Добряка, на бережку оставили. Полежал Добряк, очухался.

Только с той поры, говорят, позабыл он вдруг, для кого и сколько добрых дел на свете сделал.



## О СЕБЕ

Говорят — старомодна,  
Будто царский пятак:  
И в любви не свободна,  
И одета не так...

И дужи... И прическа...  
И не с теми дружу...  
Да и сына-подростка  
В «черном теле» держу.

А привычки!.. Манеры!..  
«Ах, не пью!.. Не курю!..»  
Ей бы — в пенсионеры!  
«И пойду!» — говорю.

Мне зарплату вторую  
Хоть сейчас назначай:  
Я — тружусь, не ворую,  
Не собираю «на чай»!

Что — не нравятся речи?  
Уж такая, как есть:  
Если надо, и резче  
Речь могу произнести.

\* \* \*

Допускаю, что я — слепая,  
Даже глупая я теперь,  
Только чувствую:  
Не любя я,  
Разонравилась я тебе.

Допускаю, что ту, иную,  
Я придумываю сама, —  
Я люблю тебя!  
Я — ревную!  
Я схожу по тебе с ума!

## ИЗ ПИСЬМА ДРУЗЬЯМ

Я в гости никуда теперь не езжу,  
Но если вдруг вас занесет сюда,  
Я здесь для встречи кролика зарезу,  
Вот только, братцы, с выпивкой беда.

Все дорожает, скоро не под силу  
Ее нам с вами будет покупать.  
А без нее на кладбище могилу —  
Подохнешь — будет некому копать.

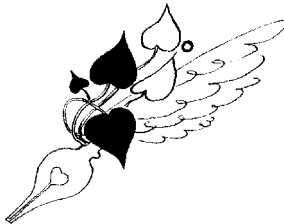
Но вы не бойтесь навестить жилище —  
Мой обветшалый, гнилоутлый дом:  
Мы где-нибудь пошарим и поищем —  
И то, что надо, все равно найдем.

Пусть в комнатах моих черно от пыли,  
Я, выпивая горькое вино,  
Скажу спасибо вам, что не забыли  
Меня, кого забыть немудрено.

Свои стихи давным-давно забросил...  
Писакой меньше — вот и вся беда!..  
Бывает, правда, если кто попросит,  
Лихие дерзости читаю иногда.

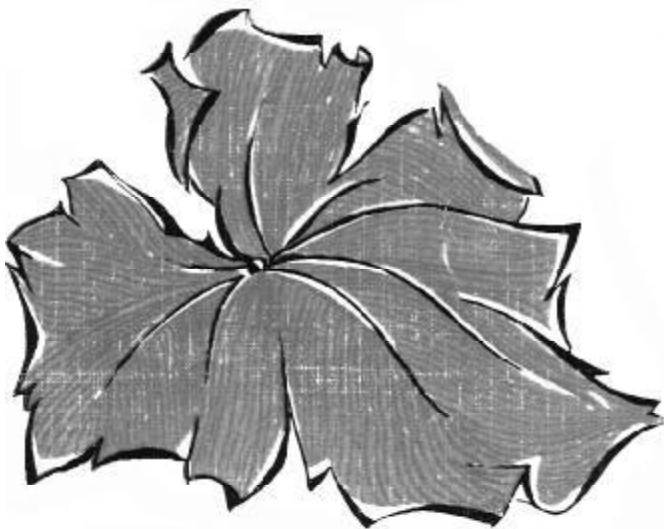
Я все-таки не мнил себя поэтом,  
Хотя немного с рифмами знаком...  
Вы, как могли, мне помогали в этом,  
А я, дурак, остался дураком.

Когда святые чувства в людях дремлют  
И слово не доходит до души,  
Поэт талант свой зарывает в землю.  
Не этим ли и занят я в глуши?..





НОВАЯ ТЕТРАДЬ



# ДЕБЮТЫ

И ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАКОМСТВА

## ОБ ОДНОМ КОСТРОМСКОМ ЛИТЕРАТОРЕ

(Памяти моего деда)

Представьте себе еще относительно спокойную, но уже предгрозовую Кострому 1912 года, где «золотая дремотная Азия опочила на куполах». Сейчас это время умиляет нас, как потерянный рай. Но ведь было что-то в этой идиллии, что доводило до отчаяния, до невозможности жить.

И вот в этой-то благополучной Костроме, в благополучной семье потомственного почетного гражданина Геннадия Александровича Клеченова рождается сын и наследник торгового дома «Г.А.Клеченов с сыновьями». Отец умирает в 1910 году, а его старший сын Александр Геннадьевич Клеченов вместо того, чтобы продолжить дело отца, доводит его почти до полного краха, и лишь вмешательство младших братьев и матери, отстранивших его от дел, спасает фамильное предприятие.

Что же произошло? Что заставило неглупого образованного человека совершать такие нелепые поступки?.. Литература. «Уж если этот зуд проснулся, всю душу выплещу в слова».

Но вернемся в тот самый рубежный 1912 год. Ни о каком союзе писателей в Костроме тогда речи не шло. Да и вся литературная жизнь сводилась, в сущности, к журналистике. Все талантливое оттягивали столицы. А если не уезжать? Если любишь свой город «как родину, с гурьбой воспоминаний»?.. Вот и подумайте о незавидной судьбе такого начинающего литератора. А тут еще и история распорядилась сурово: 1913 год — пышные торжества по поводу 300-летия Дома Романовых, сразу же за этим — год 1914, начало великой катастрофы. Фронт, революция, гражданская. «Теперь тебе не до стихов...»

Не каждый смог это пережить. Но он и тогда не мог покинуть Родину. Вернулся, чтобы умереть здесь, чтобы стать частичкой костромской земли. И, может, есть высшая справедливость в том, что могила его не сохранилась, но единственным памятником ему стала эта тоненькая книжечка «Штрихи», в которой он жив.

Геннадий Клеченов,  
старший научный сотрудник  
Института Латинской Америки РАН.



*Александр Клеченов*

## КАЛЕНДАРЬ ДЕРЕВНИ

Быт деревни со всеми его особенностями есть еще нечто непочатое — целое, манящее к себе своей искренней простотой, всем тем, чего уже давным-давно нет в городе.

Мужичок живет своим миром, своими идеалами, крепок старины, веры, и никакой новатор не заставит отказаться его от своих взглядов, убеждений, привычек.

Он не лишен даже всего того, что в городе является предметом роскоши, вернее, — вещью не первой необходимости.

Крестьянин незнаком с астрономией, физикой, естественными науками, но наверняка угадает вам по солнышку, который час.

Петух — его будильник.

Дым — барометр.

И самое счисление дней, месяцев у него, крестьянина, особенное. В редкой избе найдешь, даже и сейчас, отрывной или какой другой календарь. Как ни дешевы стали издания последних, но русский мужик верен своему календарю.

У него есть, например, «Никола летний» и «Никола зимний», и он никогда не согласится, чтобы праздник перенесения мощей святого Николая чудотворца (9-го мая) назвать весенним праздником.

Почему?

А вот: «Девятое мая, весна мужика давно прошла. Петровки недалеко, Илья — колосья — следом, — говорит он. — А там на стужу хлеб уберу и до Николы зимняго (6-го декабря) в городе поработаю».

Какой угодно придумайте стиль, какое астрономическое счисление ни найдите правильным, а мужик всегда будет жить своей «канцелярией».

Недавно в печати поднимался вопрос о сокращении числа праздничных дней, или, как потом смягчили, — «дней неприсутственных».

Можно согласиться с тем, что число праздников у нас действительно немаленькое. Но можно ли быть уверенным в том, что мужик, деревня пойдут навстречу этой канцелярской системе приохочивания к труду?

«В поте лица добывая хлеб свой», мужик — господин праздника, и какой бы из них ни уничтожили, он все ж останется верен себе, своему религиозному отдыху.

Если проекту сокращения праздников суждено осуществиться, это новшество еще только больше отделит деревню от города (в чем, конечно, беда невелика), чревато будет последствиями, создав особый культ последователей доброго старого, прошлого...

Деревню можно назвать темной, но нельзя назвать ленивой. Представители ее, отлично понимая свою тяжелую долю, рады праздничку — как ни один горожанин.

Трудоспособность страны может быть поднята иным путем, не касаясь религиозной стороны.

Пусть останутся нетронутыми два «Николиных дня» у крестьянина, пусть будет предоставлена ему возможность решить праздничный вопрос самостоятельно.

(Из книги «Штрихи», изданной в 1912 году в г.Костроме типографией А.С.Азерского)

*Александр Ерин*

## **ВСТРЕЧА С МАРИЙКОЙ**

Отрывок из повести

В середине лета стояла жарынь. К десяти часам воздух прогрелся так, что даже возле озера становилось душно. Рыба, правда, ловилась.

После удачной рыбалки Петр искупался и, надевая рубахи, босиком, одежда и удочки в одной руке, сумка с рыбой в другой, направился домой. Ходьбы до поселка было чуть более получаса. Дорога сначала вела через картофельное поле, потом — немного лесом, затем — через поляну, где поселковые пацаны играют в футбол.

Выйдя на поляну, Петр увидел женщину, сгребавшую сено. Он сразу узнал ее. Это была Марийка Конопля.

Приехала она в поселок с мужем и годовалым ребенком откуда-то с Украины. Поселились под горой у самого леса в полуразвалившемся финском доме. Через полгода дом был отремонтирован. К весне купили корову. В конце июня, когда у всех на огородах только еще появлялись всходы, Марийка уже продавала на базаре молодую картошку. На Октябрьскую зарезали девятипудового поросенка. А к маю следующего года во дворе гоготало более десятка гусей, тут же копались куры, в загоне блеяли овцы.

Муж Марийки, Владимир Денисович, работал на железной дороге кондуктором товарных поездов. Он был одного года с Марийкой, но выглядел намного старше. Небольшого роста, жилистый, с глубоко посаженными злыми глазами на маленьком лице, с тонкими губами и расплюснутым носом, он вызывал неприятное впечатление.

В поселке его можно было увидеть, только когда он шел на работу или возвращался с нее. Знакомств не заводил, со встречными не заговаривал, редко здоровался.

«Таракан пробежал», — говорили про него поселковые. И действительно, Владимир Денисович ходил быстро, часто семеня ногами, голова вниз, чуть подавшись вперед. Пробежит по поселку и скроется под горой, как таракан за печку.

И хотя Петр часто бывал с ним в поездках и в домах отдыха после рейса, жил с ним в одном поселке, дружбы соседской не получалось. Марийка же была прямой противоположностью мужу. Большие голубые глаза, тонкие брови, высокий открытый лоб, вьющиеся черные волосы, подколотые сзади большим гребешком и затянутые белой косынкой, чувственные губы... Вдобавок Марийка сама подчеркивала свою аккуратную фигуру: носила узкие кофты, приталенные платья, а на ногах сапожки, плотно обтягивающие сильные икры.

В свои тридцать четыре года Марийка выглядела куда моложе. Незнавший ее мог вообще принять Марийку за девушку на выданье. Бабы недоумевали, как могла такая «куколка» попасть в лапы «таракану». Мужики же завистливо поглядывали на нее и сходились во мнении, что у «таракана», видимо, есть то, что держит ее около него. Но самой правды, вернее, того, что заставляло их жить вместе при таком резком различии даже внешнем, никто не знал. Но ах как хотелось! Марийка же, несмотря на свою болтливость, уходила от подобных разговоров, отшучивалась одной фразой: «Любовь зла — полюбишь и козла».

Но не только внешние различия наводили односельчан на мысль, что между Марийкой и ее мужем происходит что-то не то. Уже через месяц после их приезда кум Пашка, друг Петра, живший с семьей в доме на горе, возвращаясь с дальних огородов, что за лесом, видел бегущую через лес полураздетую женщину, прижимавшую к груди плачущего ребенка. А через несколько шагов Пашка чуть не столкнулся со взъерошенным «тараканом», выскочившим на него из кустов. Тот, увидев Пашку, резко развернулся и мгновенно исчез среди деревьев.

А потом в поселке стало известно, что «таракан» действительно бьет Марийку по поводу и без повода. Поначалу возмущались. Со временем перестали. Да и Марийка никого не просила за нее заступаться. От этого заступничества ей попадало еще больше. На вопрос: «За что хоть бьет-то?» — опять же с усмешкой отвечала:

— Дуролом он у меня. Шибко любит, потому шибко бьет.

...Марийка орудовала вилами легко и даже красиво. Загорелые руки то и дело взметались вверх, забрасывая сено на самую макушку стожка. При этом тело вытягивалось, и юбка поднималась так высоко, что оголялась вся длина ее стройных широко расставленных ножек. Подойдя ближе, Петр весело сказал:

— Привет труженикам!

— Во бис! — вскрикнула Марийка. — Напужал совсем!

И всем туловищем Марийка развернулась к нему.

Петр чуть не обомлел. Блузка на Марийке от подмышки до пуговиц была разорвана, из-под нее торчала белая тугая правая грудь с большим коричневым соском. А Марийка, не замечая этого, стала поправлять платок на голове, отчего грудь поднялась еще выше, оказавшись напротив лица Петра. Они стояли так близко друг к другу, что ему казалось: он чувствует на своем лице тепло, исходящее от груди, ощущает запах Марийкиного тела. Застучало в висках. Лицо запылало. Петр даже растерялся. «Уйги, пока Марийка не заметила своего позора», — мелькнуло в голове. И он хотел было сделать это, но Марийка спросила:

— Ты, Петро, никак на рыбалке был?.. Дал бы на уху!

— Бери, — сказал Петр, поставив сумку на землю, и отвернулся.

— Где ж ты такой рыбы наловил? Одна славнее другой, — причитала Марийка, роясь в сумке.

А Петр уже и не рад был, что весело окликнул ее. Его взгляд и слух были обращены на кусты вокруг поляны. Он точно знал, что где-то неподалеку находится «таракан». «Еще подумает невесть что», — промелькнуло в сознании.

— Можно я вот эту возьму?.. Нет, эту... А это что за рыбина?.. Можно и ее?.. Ну куда тебе, Петро, столько одному! — отбрасывая рыбины в сторону, колдовала Марийка.

— Забирай все вместе с сумкой! — сказал Петр и, развернувшись, хотел было идти, как вдруг сильный удар палкой прямо в лоб отбросил его в сторону. Наступив на рыбину, Петр поскользнулся и повалился прямо на Марийку. Та, не ожидавшая этого, обхватила Петра, и они вместе рухнули под стожок, накрывший обоих.

Ничего еще не понимая, Петр стал выбирать сена из-под сена. Высунув голову, огляделся. Вокруг никого не было. Тогда он вскочил на ноги. Удочки, которые он так и не выпустил из рук, зацепились за что-то крючками, и Петр с силой рванул их на себя. Раздался треск лопнувшей лески и крик Марийки:

— Ой! Да ты ж меня поймав прямо за спину!..

Не обращая внимания на вопль, Петр бросился прочь от стожка, но вновь был остановлен ударом палки, теперь уже в плечо. «Так это ж грабли!..» — изумился Петр и побежал прочь. Катушка спиннинга так неистово завизжала, что он машинально бросил все из рук, схватился за леску и натянул ее, не давая слабину.

— Отцепляй свою колючку, бис проклятый! — кричала Марийка, выползая из-под сена. Когда она поднялась, Петр увидел, что левая половина блузки тоже разодрана, а большая блесна, играя на солнце, вцепилась в пояс юбки.

— Да не тяни ты, бис! Раздерешь всю! — ругалась Марийка.

Петр понял, что блесна зацепилась крепко и так быстро ее не высвободишь. А тут еще из-за стожка с тюком сена за плечами вышел «таракан». Сбросив ношу, он посмотрел на полуголую жену, затем на такого же Петра и спросил:

— Чего это вы тут делаете?!

— Рыбу ловим. Не видишь, что ли?.. Он закинул, а я клюнула. Отцепи лучше! — дергая леску, причитала Марийка.

— Я и вижу, шо клюнула! — зашипел «таракан», непонимающе глядя то на жену, то на Петра.

«Ну все!..» — подумал Петр и стал зубами перекусывать леску. Перекусив ее, схватил одежду, удочки и пошел прочь.

«Достанется теперь Марийке... — на ходу одеваясь, сожалел Петр. — Может, вернуться и рассказать, как все было?.. А чего я скажу? Что нечаянно наступил на грабли, упал на нее и блузку разодрал? Так блузка уже была порвана... Так он и поверит!»

Дня три Петр не встречал ни «таракана», ни Марийки. Да и когда было встречаться, если целыми днями либо в депо, либо в поездке. Но случай на поляне не выходил из головы. Поначалу было как-то стыдно вспоминать об этом. Даже ругал себя. Потом, когда взглянул на всю эту картину со стороны, стало смешно. Однако больше всего тревожило то, как «таракан» обошелся с Марийкой.

На четвертый день, придя после поездки утром домой, Петр по обыкновению решил отдохнуть. Но тут явился сосед — кум Пашка. Уже довольно навеселе, он прямо с порога выпалил:

— Ну, Петр, ты даешь! Это ж надо! Долго сидел в кустах? Она говорила: час, не меньше. Ты что, ждал, когда мужик ее подальше отойдет?..

— Ты, звонарь, чего ерунду мелешь?! Какие кусты? Говори толком!..

— Ага, играй в дурака! Марийка все рассказала... Хи-хи... — облизывая губы, скалился Пашка. Привычка у него такая, как выпьет, — губы облизывать. — Она говорила, ты час целый в кустах сидел, пока мужик подальше отойдет. Потом зверем набросился, она и охнуть не успела. Хотела кричать, потом узнала тебя, решила, а чего, мол, кричать-то, свой вроде...

— Чего ты мелешь! Ни на кого я не бросался. Ерунда какая-то.

— А мужик ейный граблями тебя убить хотел! Тоже ерунда? А рыбу за порванную блузку отдал... Тоже ерунда?! Хи-хи-хи...

— Дурак ты, Пашка! Слышал звон и... не лечишься...

— Это уже оскорбление! А за оскорбление, знаешь, что бывает?.. Наливай, пока моей нет. Знаю, у тебя имеется.

— С этого бы и начинал, а то кусты... кусты...

Петр достал из холодильника бутылку, вылил остатки в стакан и протянул Пашке. Вытерев ладонью губы, Пашка поставил стакан на плиту и продолжил:

— Конечно, врет. Ты не такой. Но интересно все-таки... Подвернись случай — я бы не отказался!

И Пашка подмигнул лукавым глазом.

\* \* \*

Лелею я свой огородик старенький...  
А сам зарос щетиной до ушей...  
Зима придет — скорее ноги в валенки  
И ну ловить прожорливых ершей.

И снова открываются возможности  
Душе моей нарадоваться всласть.  
И забываешь все мужские сложности  
И нашу незадачливую власть.

...Весна нагрянет. И в дремотной сладости  
Весь мир пенсионерский расцветет.  
И выползет — кому-то, может, к радости —  
И русский, и нерусский наш народ:

Неглупые бездельники и пьяницы,  
Вращенные в трущобах господ...  
...И все это, к несчастью, затянется  
На долгие и долгие года.

## РОДНОЕ

Когда лихой ноябрьский ветер свищет,  
Такое встретишь на Руси не раз:  
Иссохший куст, и лодка кверху днищем,  
И ржавый буй, как камень, вмерзший в грязь.

Дорожки наши русские кривые...  
Не разгадать — куда они летят.  
И мы уж, как бойцы нестроевые,  
Записаны навечно в арьергард.

И я не знаю — долго ль жизнь продлится.  
Но все грустнее стали вечера...  
«...Любимая, мне скоро стукнет тридцать...» —  
Тебе читал я будто бы вчера.

Пока я на родной земле нелишний,  
О той Руси спою еще не раз,  
Где старый куст, где лодка кверху днищем  
И ржавый буй, как камень, вмерзший в грязь.



## ДОРОГА

Скоро часы наши с вами оттикают.  
Слышно — уж звякнул засов.  
Смотрит сторонка моя многоликая  
Взглядом несбывшихся снов.

Встречи с ушедшим уже не порадуют.  
Нет ни друзей, ни подруг...  
Веет полянка промозглой прохладой,  
Выцвел ромашковый луг...

Дремлют, как встарь, наши улочки тихие,  
Благость пришедшим даря...  
Жили здесь люди совсем не великие.  
Жили, как видно, не зря.

...Снова страдает и горюшко мыкает  
Наш безответный народ.  
Где-то гармошка чуть слышно пиликает,  
Будто куда-то зовет.

*Николай Янкин*

## СЕРЕБРЯНЫЕ ОБРУЧИ

Маленький теплоходик не спеша пересекал раздавшееся еще более вширь от частых дождей водохранилище. Пассажиры, придавленные житейскими заботами, мелкой сеткой дождя, накрывшей все вокруг на долгие километры, угрюмо молчали. Салон был заполнен наповину. В дальнем углу, с подчеркнута отрешенными от остальной компании лицами, сидели двое небритых и довольно беспорядочно одетых мужчин. Возле ног стояли рюкзаки, в которых изредка что-то стеклянно позванивало. Остальные пассажиры более или менее кучно занимали середину салона.

— Экая скверная погода, — наконец решился один нарушить унылое молчание, — посмотришь на затянувшийся дождь без просвета, ей-богу, не знаешь, куда себя деть от тоски. Просто диву даешься, как погода на настроение может влиять.

— Известно, может, — отозвался другой, с виду мужчина лет пятидесяти; у ног его, не поднимая головы, лежал коккер-спаниель. — А что, я вас спрошу, не может действовать человеку на настроение, если уж философически подходить к этому вопросу? Да буквально все: общественная атмосфера, заработная плата, когда ее платят, а когда не платят — тем более, придирки жены, неурядицы у дочери,

твои собственные неудачи и, напротив, успехи у соседа, развязавшийся шнурок на ботинке и еще много и много всяких причин могут повлиять на настроение. Поддаваться внешним неурядицам не новость. Это мы сплошь и рядом наблюдаем. А вот каким образом человеку удастся выстоять вопреки неблагоприятным обстоятельствам — всегда новость, всегда интересно; вызывает у нас при встрече с такими примерами глубинное одобрение и восторг, точно мы не сторонние наблюдатели, а непосредственные участники и даже самые виновники человеческого торжества над косными силами. Позвольте рассказать вам случай, подтверждающий только что высказанные соображения.

Устроился я еще очень молодым человеком на небольшой заводик. Был там гальванический участок, где покрывали слоем цинка различные детали для промышленности. Работал на этом участке корректировщик ванн, Петрович, как его все уважительно называли. Он был уже на пенсии и работал по просьбе руководства завода, поскольку специальность была очень редкая. Во всем городе два-три человека знали тонкости этого ремесла.

Петрович был человеком с непростым характером. Он мог и ответить в резкой форме, мог и на работу прийти, пропустивши две-три рюмки, но руководство смотрело на подобные выходы сквозь пальцы, потому что работу свою Петрович знал досконально.

Меня он воспринимал скорее как губку, впитывающую его рассказы, и не ошибся: слушателем я оказался прилежным. Да, поговорить Петрович любил, особенно после пропущенной рюмочки. Оказалось, что столь редкой профессией гальваника он овладел в заключении, а до этого был рубщиком мяса. Как он любил повторять, рубщик — такая специальность, когда в конце смены оказывалось, что кое-какие крошки прилипали к рукам. В пределах разумного это был почти узаконенный приработок, но однажды то ли контролер попался слишком принципиальный, то ли Петровичу изменило чувство меры... Какая сейчас разница? Известно, что в России от суммы да от тюрьмы... Словом, был суд, и загремел Петрович, что называется, под фанфары.

Попал Петрович в зону, где не рукавицы шили, а было солидное производство. Приставили его учеником к корректировщику ванн, стал он понемногу постигать премудрости ремесла. Но тут в их зону пришел заказ отполировать алюминиевые гардинные кольца для Московского университета. Мишу (тогда его звали не по отчеству) на выполнение этого заказа сняли временно с учеников.

Представляете, сколько окон в московской высотке? Если да, то вы поймете, что количество гардинных колец достигало астрономической цифры. Полировали по старинке на войлочном кругу с нанесенной на него полировальной пастой. Это сейчас напридумывали бы тысячу способов, как можно было бы быстро выполнить рутинную, в общем-то, работу. Но тогда отдали заказ зекам, и с глаз долой.

Точной цифры дневной нормы Петрович не помнил, но только она была настолько непомерна, что в первый день он отполировал только двадцать процентов от урочного числа. В зоне существовала

сложная система поощрений, связанная с месячным планом. Выполнишь план — следующий месяц ты делаешь покупки на определенную сумму в ларьке, имеешь и другие льготы. Не выполнишь — вступает в силу такая же сложная система наказаний.

На следующий день Михаил задержался на два часа, но выполнил только двадцать пять процентов от нормы. Полировать нужно было все стороны кольца: внешнюю, внутреннюю (для этого был сделан специальный конусный войлочный круг) и две боковые. Брака не допускалось, каждый ящик проходил строгий контроль. На третий день Миша сделал только десять процентов от требуемого: вышел из строя двигатель наждачного станка, пока его меняла бригада — время ушло. Кроме него, полировкой колец занимались еще два человека. У них дела шли еще хуже, но эти двое и не стремились выполнить норму. Они с самого начала всячески уклонялись от работы, обозначая деятельность только в начале и в конце рабочей смены, когда контроль был более строгий. В остальное время они пили крепкий чай, рассказывали байки в кругу товарищей или просто слонялись по цеху. Для них отказ от работы был формой существования, своего рода протестом против лагерного режима, и этот протест находил поддержку у части заключенных. Для них невыполнение нормы и лишение производственных льгот не влияли сильно на жизнь в лагере: товарищи поддерживают и продуктами, и чаем. Для Михаила же невыполнение нормы было равносильно катастрофе. Помощи ждать не приходилось. Когда эта нерадужная перспектива встала перед ним со всей определенностью, он совсем пал духом. Несколько дней прошли в каком-то оцепенении. Каждое утро он вставал, завтракал, шел строем в производственную зону, работал, — то есть внешне как будто все было нормально, но сознание как бы отключилось от его тела. Будто все перечисленное выполняла заведенная машина, а не живой человек. Ложился спать он так же механически, стараясь ни о чем не думать, тем более о работе, инстинктивно угадывая, что это будет стоить бессонных ночей и лишних страданий. Обычно снились Михаилу родные, товарищи или знакомые по воле, поэтому когда однажды он увидел себя входящим в цех, то подумал с неудовольствием, что и во сне ему не избавиться от неволи. На этот раз выражение «видел себя» следовало воспринимать буквально, то есть был он, наблюдающий за происходящим, и был его двойник, за которым он наблюдал, — эту странную двойственность он даже во сне про себя отметил. Двойник действовал не торопясь, фиксируя каждое движение, словно бы давая возможность запомнить Михаилу каждую самую незначительную мелочь. Он направился к месту, где в больших деревянных ящиках лежали алюминиевые гардинные кольца, взял круглую палку, диаметр которой приблизительно соответствовал внутреннему диаметру кольца, обернул ее мелкой наждачной бумагой, затем нанес на нее немного полировальной пасты, после этого стал нанизывать на обернутую наждачкой палку алюминиевые кольца и насадил их столько, чтобы на палке оставалось место для захвата обеими руками. Проделав эти нехитрые операции, двойник подошел к стан-

ку, включил его и начал полировать весь нанизанный на палку ряд колец. И тут перед Михаилом-наблюдателем открылся весь замысел подобного способа полировки: в то время как от наждачного круга полируется внешняя поверхность кольца, кольца сами вращаются на палке от трения с наждачным кругом, тем самым полируя внутреннюю поверхность, боковые же поверхности трутся между собой и тоже полируют друг друга. За две-три минуты полируется около трех десятков колец, тогда как по старому способу за этот отрезок нельзя было отполировать даже одного кольца. Прodelав всю операцию целиком, двойник положил кольца в готовые изделия, снял с круглой палки наждачную бумагу, положил палку возле ящиков с кольцами и ушел. Михаил тотчас проснулся.

На работе он в первую очередь подошел к ящикам с кольцами и обнаружил деревянную палку на том самом месте, куда положил ее двойник. Оставшееся время до обеда он подыскивал место, куда бы мог спрятать готовую продукцию, нашел небольшое помещение, где стояли катушки с высоковольтными кабелями. Их брали нечасто, поэтому можно было не опасаться, что ящики с кольцами скоро обнаружат. После чего Михаил принялся за полировку. В два дня он выполнил месячный план, тайком перенес ящики в кабельное помещение и укрыл чистой рогожкой.

Оставалось еще более двух недель до конца месяца. Эти дни Михаил был совершенно свободен. Он стал обозначать бурную деятельность в начале и конце смены, а в течение дня пил крепкий чай, рассказывал анекдоты и слонялся по цеху.

На второй день к нему подошел мастер и спросил, почему он не работает. Михаил сказал довольно дерзко, что месяц не кончился, о результатах работы говорить рано, вот когда придет срок, тогда и спрашивайте. Мастер был из вольнонаемных. Он видел, что Михаил неспроста гуляет без дела, и стал более настойчив в расспросах. Наконец Михаил не выдержал и повел мастера на склад кабелей.

В помещении царил полумрак. Свет едва пробивался через большое оконце с запыленным до черноты стеклом. Когда Михаил отдернул тряпицу с ящиков и скудный свет попал на аккуратно уложенные ряды гардинных колец, они замерцали глубоким, словно бы исходящим изнутри, светом. От этого света склад ожил и преобразился в сказочную сокровищницу.

Потрясенный мастер с минуту не мог вымолвить ни слова, как замороженный, глядел на мерцающее чудо, затем перевел взгляд на Михаила и выдохнул: «Как?!» Михаилу не хотелось так просто открывать секрет столь высокой производительности. И только после того, как мастер обещал водки за раскрытие секрета, — сдался.

Так заказ, рассчитанный на выполнение в несколько месяцев, они выполнили за месяц. Петровичу за выполненную работу делались кое-какие режимные послабления, которые на свободе, может, выглядели незначительными, в неволе же имели другую цену.

Говорят, знаменитому русскому историку однажды приснилось, как он читает лекцию по темпераментам. Проснувшись, он законс-

пектировал услышанное. Вещий сон Михаила Петровича со сном Карамзина не идет ни в какое сравнение, тем более с открытием формулы бензола или Периодической таблицы, но свою положительную роль в судьбе корректировщика ванн сыграл.

Рассказчик закончил, а теплоходик между тем причаливал к очередной пристани.

— Это какая остановка? Пустынь?! Так это же наша! Чуть было за разговором мимо не проехали. Найда! — подтолкнул он легонько спящую собаку. — Пошли!

И они вдвоем стали осторожно пробираться среди поставленных на проходе корзин, рюкзаков и баулов. Пассажиры, плывущие далее, провожали их взглядом.

*Александр Бугров*

## **КОЛХОЗНАЯ БАЛЛАДА**

Над лугом ворон пролетит  
И взмлет кверху.  
Залезет в трактор инвалид,  
Захлопнет дверку.

И по дороге столбовой,  
По жгучим росам  
Рванется ржавый громобой  
В райцентр за огненной водой  
И купоросом.

Заохает народ честной  
По всей округе:  
Куда ж он перед посевной  
Да с похмелюги?

Но классно обогнув забор  
И грязь кювета,  
Бибикнет знатный комбайнер  
У сельсовета.

Пускай башка трещит, зато  
Он смог подняться!..

В Сосновке не живет никто  
Уж лет пятнадцать.

\* \* \*

В реке отражается дом.  
За домом плывут по течению  
И Оляка с курсантом вдвоем,  
И садик с отцветшей сиренью.

И кажется — нет за спиной  
Ни дома, ни парочки тусклой.  
Растаял в пыли водяной  
И город, и вечер июльский.

Каникул чужих крутизна  
Сверкает сережкой мокрой.  
И сыплется в небо луна,  
Пробитая пьяной моторкой.

Из трещины сна поутру,  
Из гущи пятна нефтяного  
«Калоша» со мной на борту  
Всплывет где-нибудь у Лунева.

\* \* \*

Вечером надо опять в огород —  
Пленкой закрыть огурцы.  
Слизень переползает вброд  
Ручей цветочной пыльцы.

На тесе так и лежит мастерок.  
Коринкой пахнет мазут.  
Запад есть запах.  
Восток есть восторг.  
И здесь они совпадут.

К ветке приколот заката клочок  
Прищепкою бельевой.  
И под крыльцом рыболовный крючок  
Пестрой горит синевой.

\* \* \*

бродя по навсегда покинутым планетам  
узнаешь как шумит столетья лебеда  
и нечего забыть о переулке этом  
особенно когда особенно когда  
особенно когда там даже тени те же  
и ничего еще и ничего уже  
не надо торопить хоть слышится все реже  
гармошки лад хмельной в сгоревшем гараже

## БЛАЖЕННАЯ

По коридору шла стройная женщина.

Она привлекала своими манерами и изысканным туалетом в английском стиле. Можно было заметить со стороны, как она управляла своими «клеточками», приказывая: «Головка, поднимись, спинка, распрямись, животик, спрячься...» И они, как единое целое, были подвластны спокойному нраву хозяйки.

Леди вошла в небольшую комнату и зажгла две свечи, поставив их по краям зеркала. Любила она посидеть в кресле у горящих огней, копясь в своей душе, выпуская из нее черных лебедей. Находя новые морщинки, не гневалась, наоборот, приветливо их встречала, здороваясь с каждой, поглаживая сеточку у глаз. Чем быстрее наступали годы, тем чаще ей хотелось уединиться — водопады и быстрые речки не отвечали настроению, а зыбь все увереннее притягивала к себе.

Вдруг в глубине зеркальной рамы леди увидела веселое курносое личико. Кто же это? В ней леди узнала себя лет десяти отроду. И понеслись перед глазами картины одна за другой.

Вот седой старец пытается перейти дорогу. Взмахнув крылышками, она, маленькая стрекоза, вырывается из рук родителей и летит на помощь старику. Ее шажки и голос даже слепые узнавали. «Звоночек» заставлял их улыбаться, суровых и несчастных. Глаза прохожих светились от ее заразительного смеха.

Вот и отчий дом. Ее маленькие ручки не знают покоя. Золушка готова выполнить любую работу, лишь бы ее похвалили драгоценная бабушка: «Умница! Какая ты у меня помощница!» А на воле она играет с дворовыми кошками и собачонками, повизгивая, мурлыкая, прижимая их к сердечку. Либо садится на завалинку с подружками и рассказывает придуманные самой сказки, страшные-престрашные. Девочки от страха жмутся к ней все ближе, а шальной головке и горя нет.

Вот тринадцатилетняя, длинноволосая, с милыми кудряшками, девочка в окружении неоперившихся юнцов. Глаза, полные мечтательности, романтической любви. Друзья, родные не всегда могли понять и правильно оценить ее поступки. Подарят девочке на день рождения ценную вещь, а через некоторое время обнаружат, что ее нет. На вопрос, где подарок, отвечает: «Отдала».

Леди неожиданно вздрогнула от испуга одновременно с отражением в зеркале. Она увидела летящую стрелу-молнию, которая непрощеной гостьей заглянула в родительский дом. Была сильная гроза, все взрослые спрятались в темной комнатке, а искательница приключений сидела на террасе за столом у открытого окна и напевала: «Ничего я не боюсь...» Молния шаркнула по углам и, недовольная чем-то, исчезла. «Блаженная!» — сказала мама дочери. Это необычное слово привязалось к девочке на всю жизнь.

Ее учили уму-разуму, твердили, что простота хуже воровства, а она любила открытых бесхитростных людей, с ними легко дышалось и пелось. Свечи догорали, а видение еще продолжалось.

Повзрослевшая, опьяненная счастьем, распушив русые косы, она стоит в центре ромашкового поля. В глазах играет солнце, руки тянутся вверх, она кружится среди миллиона большеглазых сестриц, чувствует себя большой ромашкой: «Господи! Как же хорошо! Как я люблю жизнь!»

Свечи погасли. Блаженная... Прозвище не обижало, а придавало силы. Судьба не баловала женщину, но она не переставала повторять: «Нет ничего прекраснее добрых лучистых глаз, добрых мыслей и добрых поступков». Леди потеряла много верных друзей. Одних хоронили в саркофагах в дорогостоящей земле, пропущенной через сито. Других укладывали в болотину, и звук «буль-буль-буль» до сих пор в ушах...

Кто знает, сколько прокукует кукушка. А пока пусть долго дует свежий попутный ветер. Блаженной больше ничего и не надо.

*Дмитрий Тишинков*

\* \* \*

Нынче я не ходил за черникой,  
не кормил по утрам комаров.  
Распроцавившись с природою дикой,  
я дичал среди пыльных дворов.

Не купался, не прыгал на сене,  
не стонал от порезов и жал.  
Я все лето и хвостик весенний  
в огороде на досках лежал.

Стук заслышав, замру:  
не меня ли?  
Облегченно вздохну:  
«Не меня...»  
Ничего под собой не меняя,  
лишь газеты да небо менял.

Ночью,  
взглядом тяжелым и мудрым  
успокоив небесную рать,  
я ступал на диван,  
чтобы утром  
вновь на доски идти загорать.



\* \* \*

Желание глотнуть спиртного  
с успехом я переборол.  
Под языком гуляет новый  
лицензионный валидол.

Расставлю чайную посуду  
над слоем сохшихся перин.  
Расширит слабые сосуды  
под вечер нитроглицерин.

На звук старинной радиолы  
слетятся в спальню комары.  
И вновь таблетка димедрола  
отправит в дальние миры.

Туда, где за чертою синей  
всегда клубника по рублю.  
Где, как Бочарников Василий,  
я ветку каждую люблю...

\* \* \*

У меня в вагончике на стройке,  
как рабочих рассосется гам,  
мастер, правил, видимо, не строгих,  
инструмент крадет по вечерам.

Мне б, поэту, что-нибудь попроще.  
Не привык я крупно воровать.  
Унесу-ка гвоздиков для тещи —  
на теплице пленку прибивать.

Может, снова у нее на даче  
вспыхнет садоводческая страсть.  
К сентябрю, коль выпадет удача,  
попытаюсь лампочку украсть.

Ночью стылой, может, на террасе  
поуютней станет.  
А потом  
свистну краски,  
и с женой покрасим  
бабьим летом на участке дом.

Есть обои.  
Даже можно взять их.  
Но не мил мне этот разговор.  
Вы уж, мама, не ругайте зятя.  
Я ж поэт, а не отпетый вор.

\* \* \*

За часом час, настырно,  
понемножку,  
жужжанием рассеивая хмель,  
искал лазейку в маленьком окошке  
в конце июня желтобрюхий шмель.  
И я, не в меру выпив накануне  
дешевой водки,  
дорого платил  
ознобом,  
что случается в июне  
лишь только с тем, кто оболочки сил,  
оставшиеся от борьбы со снегом,  
не уберег  
и, выйдя на тепло,  
шмелем, пчелой, синицей, человеком,  
забыв про двери,  
бьется о стекло...

*Татьяна Расулова*

\* \* \*

Наступит вечер долгожданный,  
В мою ты постучишься дверь.  
Единственный мой, мой желанный,  
Придет тот вечер, ты поверь!

На столике зажгу я свечи,  
Накрою ужин на двоих.  
И очарован будет вечер  
Сияньем добрых глаз твоих.

Ах, эти губы... Эти руки...  
Как поцелуи горячи!  
Не будем думать о разлуке  
В прозрачном зное той ночи.

Не будем думать о печали  
В тот самый час, в тот самый миг,  
Когда амуры обвенчают  
На ложе пленников своих.

## ВОСПОМИНАНИЕ

Твой адрес в книжке записной  
Нашла случайно я  
И окунулась с головой  
В воспоминание.

О том, как много лет назад,  
На школьном вечере,  
Мне душу обжигал твой взгляд.  
Я не перечила.

Я отступила, приняла  
Твои условия.  
Не упрекала, не кляла,  
Не прекословила.

Мы разошлись, как корабли,  
Своими курсами.  
У первой девичьей любви  
В финале — грустное.

*Ирина Блинова*

## ВДОХНОВЕНИЕ

Ю.Бекишеву

Верить снам  
И ловить из воздуха  
Шепот рока, голос судьбы —  
Это нам  
Лишь в минуты отдыха  
Холодком остужало лбы.

Бормотало:  
«Постой, что ты маешься,  
Все стремишься куда-то успеть?  
Разве мало  
Того, что пытаешься,  
Вторя миру, тихонько петь?»

Разве этого  
Нам недостаточно?  
Да чего уж, хватило б вполне.  
Только лето  
Звенело сказочно  
На щемящей своей струне.

Лишь бы звуки  
Твои гортанные  
Оперялись потом в слова.  
Эти муки  
Всегда желанные,  
Эта радость всегда нова!

\* \* \*

Я волчица-одиночка,  
Всех разогнала.  
На руках уснула дочка,  
Куклу обняла.

Хватит сил или не хватит  
Все перенести?  
В волосах у дочки бантик,  
Надо б расплести.

Знаю, можно полагаться  
Только на себя  
И собою оставаться,  
Веря и любя.

Потому и хватит воли  
Дальше жить, пока  
Обняла меня до боли  
Детская рука.

*Александр Зайцев*

\* \* \*

Не вечна память,  
Сами мы не вечны.  
И даже камень  
Точится водой.  
Погаснет пламя,  
Путь померкнет Млечный,  
Но не наступит никогда покой.

\* \* \*

Висит луна, как пирожок,  
Наверно, черствый, раз не съели.  
Уснул нескошенный лужок,  
Его закончить не успели.  
Спят косари, их дружный храп  
С обеда звонко раздается.  
Ручей промеж еловых лап  
Журчит к реке, и мошка вьется.  
С утра с тяжелой головой —  
И пот со лба начнет сочиться —  
Пойдут работники домой,  
Чтоб отдохнуть и похмелиться.

\* \* \*

Цветы завяли в злых осенних лапах:  
Погибла плоть, душа осталась — запах.  
И несмотря на первый тонкий лед,  
Их аромат, чарующий и нежный,  
Пред тем, как мир покинуть этот грешный,  
Последний раз над парком проплывет.

\* \* \*

Мы вышли оба с Полковушки  
За старым кладбищем в углу,  
Не мелочились на игрушки,  
Жгли прошлогоднюю траву.

Бывали склоки, ссоры, драки,  
Бывало, порознь шли туда,  
Но, снова встретившись в овраге,  
Мы с ним мирились навсегда.

А тайны общие и клады,  
Что под сосною меж корней  
Сокрыты от чужого взгляда,  
Так до сих пор лежат под ней.

Потом разъехались — расстались,  
И детства срок, увы, истек.  
Но иногда мы там встречались,  
Шли к костерку на огонек.

Зола костра давно остыла.  
Кострище заросло травой.  
Как хорошо бы снова было  
Разжечь костер под той сосной.

Он больше не придет под вечер,  
Когда костра заметней свет:  
Прошло семь лет с последней встречи,  
Семь лет его на свете нет.



Елена Смоленцева

\* \* \*

Жизнь, голубка моя,  
Мой фонарик китайский,  
Это я здесь стою  
Полднем ласковым майским.  
Это я. Все такая же. Я — не меняюсь,  
Искаженностью черт  
От тебя отражаюсь.  
Жизнь, голубка моя, не смотри —  
Я не смею  
Глаз поднять на тебя.  
И сказать не умею  
Ничего в двух словах...

Это я. Я — ошиблась.  
Я тебя подвела.  
Я в тебе не сложилась.

\* \* \*

Запах дешевых духов в вестибюле общаги.  
Мокрая осень. Чернильная темень. Смятенье.  
Боли пунктирная нить — фонари.  
Это — только начало  
Жалкой, неловкой, смешной  
И нелепо раскрашенной жизни.

Этот сиротский, тоскливый,  
Закованный в прошлое запах!  
Я не хочу его!  
Я от него отрекаюсь.  
Девочка в чьих-то обносках,  
Ты всей этой жизни — чужая.  
Дурочка, птица, молчи!  
Я не знаю тебя!  
Я не знаю...

ИЗ «ЛУННЫХ СТИХОВ»

\* \* \*

Ты найдешь меня в городе мертвых,  
Где синие камни.  
Я на них написала твое уходящее имя,  
Уходящее имя моей сероглазой неправды,  
Моей лунной любви,  
Моего ледяного бессилья.

Ты учил эту жизнь  
По убогой коричневой книге,  
Что любить не велит  
Так, как любят луну в полнолуние  
летние травы...

Я стою  
На другой половине разъятого мира —  
Там, где имя твое  
Носят синие теплые камни.

*Сергей Белый*

\* \* \*

Бродит утром в тумане конь,  
Над туманом горит звезда.  
Там стихия твоя — огонь,  
Здесь стихия моя — вода.

Дай мне в руку свою ладонь,  
Мы исчезли бы навсегда,  
Раз стихия твоя — огонь,  
А стихия моя — вода.

Скажешь твердо в глаза: «Не тронь!» —  
Вместо нежного слова «да»,  
Ведь стихия твоя — огонь,  
А стихия моя — вода.

Так расплата за все грехи  
Нас находит в один из дней.  
Ну а если стихия — стихи,  
То гореть и тонуть нам в ней!

\* \* \*

Прячется белою птицей  
В кронах сосновых луна.  
Только тебе вновь не спится,  
Тихо сидишь у окна.

Боже, какая беспечность  
Молча глядеть в темноту!  
Хочешь, я ленточкой вечность  
В косу твою заплету?

Звездным сиянием воздух  
Словно пронизан насквозь.  
Хочешь, тебе эти звезды  
Я подарю вместо роз?

Всё для тебя! Просто слушать  
Мне надоело в тиши  
Музыку лунных лягушек  
Для одинокой души.

\* \* \*

Мир мой — храм, и он так велик —  
Иноверцы, и вы входите!  
Небо — купол, а Божий Лик —  
Солнце пламенное в зените.

И гнездилась в душе не блажь,  
Даже ветры и те стихали,  
Если я вместо «Отче наш»  
Новый день начинал стихами.

Да и как же в родном краю  
Нынче жить без духовных чтений?  
Словно Библию я храню  
Томик пушкинских откровений.

Потерялся весь мир во мгле.  
Но душа и тому уж рада,  
Что на русской живу земле  
И другой никакой не надо!

Ну а если вся жизнь что хлам,  
Ничего от судьбы не требуй.  
Тихо молви лишь: «Мир мой — храм».  
И раскройся навстречу небу.

*Зинаида Чалунина*

## **ДЕРЕВЕНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ**

На скамейке женщины рядком  
За беседой тихой и степенной.  
Все в платочках белых узелком,  
Говорят раздумчиво, напевно.

Имена не звучны. Не модны  
Старенькие кофточки и платья.  
Руки грубоваты и темны,  
Ни былой подвижности, ни стати.

Дарьюшка с Тонидою сидят,  
Серафима, Парасковья, Настя...  
Если б оглянуться им назад —  
Чашка счастья и ведро напастей.



Не вернулись мужики с войны.  
Ребятишек вдовы поднимали,  
А еще с весны и до весны  
На работах косточки ломали.

Все перетерпели... В городах  
Счастливо живут сыны и внуки.  
В отчем доме летом — как в гостях,  
Не запачкать бы землю руки.

А седые матери глядят  
На детей по-прежнему влюбленно,  
Дом содержат, угодить спешат,  
Топчутся, вздыхают сокрушенно.

И совсем, конечно же, не в счет  
Одиночество в ночи осенней...  
Только ими и жива еще  
Русская страдалица деревня.

## В ИЮЛЕ

Пахнут руки сеном и малиной,  
На столе в стакане тонком мед.  
Лето на вторую половину  
Потихоньку к августу идет.

Днем в венке — на жарком сенокосе,  
Ночью — спит на молодых стогах,  
За спиной в котомке пестрой носит  
Все, чем месяц славен и богат.

Полыхают по ночам зарницы,  
Зреет рожь. Страда недалеко.  
На долу парной туман клубится,  
Густо-белый, словно молоко.

Лето, лето! Воды теплой речки,  
Щедрые, спокойные леса...  
Что ж ты ни единого словечка  
В это лето мне не написал?



*Вячеслав Дробышев*

\* \* \*

Деревенские старухи,  
Современницы войны.  
Как иконы, лица сухи,  
Руки болью сведены.  
В этих лицах ожиданье  
Я случайно подглядел,  
Неизбывное страданье,  
Одиночества удел.  
Молодым понять едва ли,  
Что война была, была,  
Что она в кровавой дали  
Вашу молодость сожгла.  
Вы доили и пахали  
Не за страх, не за рубли.  
Хлебом Родину спасали,  
А себя не сберегли.  
Ваши дроли и залетки  
Запропали на войне,  
Где у смерти путь короткий  
В чужедальной стороне.  
Одинокие старухи,  
Вас обидела война.  
Почему же мы-то глухи  
И безжалостна страна?

*Виктор Константинов*

**ИЗ ЦИКЛА «РУССКИЕ ПЕСНИ»**

\* \* \*

Где-то в лесах между Чухломой и Кологривом  
все мне меледится призрак деревни одной,  
где на подзорах узоров резные извивы,  
красные горки, беседы и лен голубой.

Если бежать — то, конечно же, не в палестины.  
Если бежать — то, конечно, не в тмутаракань.  
К серому утру над серой корою рябины,  
к снам глухомани, где в маленьких окнах герань.

В окнах глаксинии, фуксии и бальзамины.  
Поле футбольное с тропкою наискосок.  
Змеи воздушные, грядки, и крынки на тыне,  
и муравья-мотоцикла пахучий дымок...

\* \* \*

Встречи и прощания  
были очень редкими.  
Раньше я с гуляния  
шла домой с соседками.  
Шла я по тропиночке,  
шла я по дороженьке,  
чтоб за все хорошее  
помолиться Боженьке.

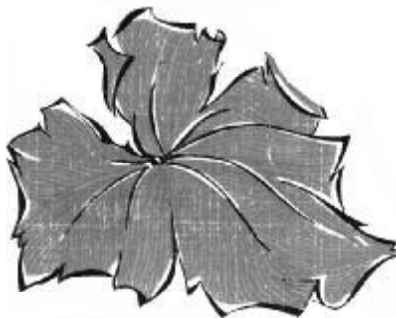
Ехали с Володенькой  
на базар в Парфеньево.  
Я сама из Родино,  
ну а он из Левино.  
Говорил мне батюшка:  
«Береги лошадушку».  
На дорожку матушка  
напекла оладушков.

Утром небо хмурилось,  
я озябла вроде бы.  
Но с Володией встретились —  
сразу распогодилось.  
Как слова любимого,  
обогрело солнышко,  
чтоб любовь счастливую  
выпить всю до доньшка.

В ельнике с березником  
мы чеку проверили.  
Лошадей как следует  
привязали к дереву.  
Чтоб не быть мне спрошенной,  
все скажу вам загодя —  
мы в траве некошеной  
собирали ягоды.

Я купила ленточки,  
платьице в горошке.  
Обижаться нечего —  
башмачки хорошие,  
башмачки козловые.  
Похвалюсь обутками.  
Ехали с обновами,  
с разными покупками.

Возвращались вечером  
без задержек — пряменько.  
Всех детишек встреченных  
угощали пряником.  
Ехали с Володенькой  
вместе из Парфеньева.  
Я свернула к Родино,  
ну а он на Левино.



## ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

### ИЗДАНИЯ 1999-2000 ГОДОВ Книги членов Союза писателей России

Альманах «Кострома», третий выпуск  
Вячеслав Шапошников «День незабывтый»  
Борис Бочкарев «За горизонтом - истина»  
Борис Бочкарев «Судиславские сказки», авторское издание  
Юрий Лебедев «Русская литература XIX века», 2 т. Учебник. Москва  
Владимир Старателев «Танцы в клубе»  
Юрий Семенов «Окаянная любовь», Москва-Кострома  
Виталий Пашин «Пушкин и его костромские родственники, друзья, знакомые», авторское издание  
\* Виталий Пашин «Костромские Пушкины», Кострома  
Олег Хомяков «Любите женщин», Шарья  
Олег Каликин «Завещание», Галич  
Татьяна Иноземцева «Духовная натурщица», Парфеньево

#### Книги других авторов, вышедшие в 1999 г.

Евгений Степаненко «Хозяин русской сцены», Кострома  
Дмитрий Тишинков «Письма из крыжовенного сада»  
Елена Смоленцева «По белым склонам», авторское издание  
\* Елена Сапрыгина «Соревнователи, или Путь на Парнас», Кострома  
\* Юрий Нелидов «Новинки моего детства», Кострома  
Зинаида Чалунина «Золотые шары», Волгореченск  
Евгений Михеев «Год зебры», Нерехта  
Николай Кучин «Костромской край. Города и веси»  
Валерий Секованов «Пришлые волки», авторское издание  
Коллективный сборник «Отзвуки сомнений и любви», Нея  
Коллективный сборник «Созвездие», Парфеньево

### ПОДГОТОВЛЕНЫ К ИЗДАНИЮ В 2000 ГОДУ областной писательской организацией

Алексей Акишин «На цветущем лугу»  
Виктор Лапшин «Дозор»  
Светлана Виноградова «Босиком по росе»  
Александр Хлябинов «Фольклорная практика»  
Юрий Разгуляев «Провинция»

---

\* В одной книге - три автора.

## СОДЕРЖАНИЕ

Михаил БАЗАНКОВ. К читателю .....	3
Виктор ХОХЛОВ. Встреча .....	4
Александр ЧАСОВНИКОВ. Стихи .....	5
Василий БОЧАРНИКОВ. Апа .....	7
Евгений СТАРШИНОВ. Стихи .....	10
Виталий ПАШИН. Портсигар .....	11
Виктор ВОЛКОВ. Стихи .....	14
Николай АЛЕШИН. Памятник .....	16
Евгений ОСЕТРОВ. Стихи .....	19
Владимир КОРНИЛОВ. Пропущенная заря .....	20
Николай КОЛОТИЛОВ. Стихи .....	24
Николай ВОСТРОВ. Стихи .....	25
Юрий БАРАНОВ. Стихи .....	26
Галина МИЛОВА. Стихи .....	27
Нина СНЕГОВА. Стихи .....	28
Борис ГУСЕВ. Стихи .....	30
Владимир СТАРАТЕЛЕВ. Победил войну .....	31
Василий СТАРОСТИН. Из сказки «Летучий корабль» .....	36

### «...И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»

Священник Вячеслав ШАПОШНИКОВ «Изошренная безделка» или «высшее цветение человека в мире»? .....	38
Священник Вячеслав ШАПОШНИКОВ. Стихи .....	41
Фаина СОЛОМАТОВА. Корень любви .....	45
Елена БАЛАШОВА. Стихи .....	47
Юрий КУЗНЕЦОВ. Стихи .....	49
Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ. Стихи .....	50
Михаил БАЗАНКОВ. «Вот поэтому я печален...» .....	51
Владимир КОСТРОВ. Стихи .....	62
Борис БОЧКАРЕВ. Труба .....	63
Виктор ЛАПШИН. Стихи .....	69

Ольга ГУССАКОВСКАЯ. Пленница времени .....	74
Леонид ПОПОВ. <i>Стихи</i> .....	80
Константин АБАТУРОВ. Витино счастье .....	81
Анатолий БЕЛЯЕВ. Целинный колодец. <i>Поэма</i> .....	88
Олег КАЛИКИН. Катер .....	94
Сергей ПОТЕХИН. <i>Стихи</i> .....	103
Алексей АКИШИН. Щука .....	106
Татьяна ИНОЗЕМЦЕВА. <i>Стихи</i> .....	111
Александр ХЛЯБИНОВ. <i>Рассказы</i> .....	113
Татьяна ДМИТРИЕВА. <i>Стихи</i> .....	115
Станислав МИХАЙЛОВ. <i>Стихи</i> .....	117
Михаил ЗАЙЦЕВ. Палисад .....	118
Светлана ВИНОГРАДОВА. <i>Стихи</i> .....	123
Павел КОРНИЛОВ. <i>Эссе</i> .....	125
Олег ХОМЯКОВ. <i>Стихи</i> .....	127
Виктор СМИРНОВ. <i>Стихи</i> .....	129
Евстолия ПРОКОФЬЕВА. Розовые пятки .....	131
Владимир МАКСИМОВ. <i>Стихи</i> .....	133
Ольга КОЛОВА. <i>Стихи</i> .....	135
Юрий РАЗГУЛЯЕВ. <i>Стихи</i> .....	137
Василий ТРАВКИН. Путь далек лежит... ..	139
Борис ДРОЗДОВ. <i>Стихи</i> .....	144
Алексей ЗЯБЛИКОВ. <i>Стихи</i> .....	146
Юрий БЕКИШЕВ. <i>Стихи</i> .....	148
Николай МУРЕНИН. <i>Стихи</i> .....	150

## ЛИТЕРАТУРНЫЕ УРОКИ

Юрий ЛЕБЕДЕВ. Уроки Гоголя .....	154
Роман СЕМЕНОВ. Литературное новаторство В.В.Розанова	162
Евгений СТЕПАНЕНКО. В вихре революционной борьбы	167
Алексей БАЗАНКОВ. Под знаком литзапросов .....	173
Борис КОЗЛОВ. Литературная жизнь Костромы .....	180
Евгений ЗАЙЦЕВ. Откровения писателя .....	181

## ВЕСЕЛОЕ ПЕРО

Павел РУМЯНЦЕВ. Первая верста .....	186
Вячеслав СМИРНОВ. <i>Стихи, пародии</i> .....	193
Виталий ПАШИН. Шило в мешке .....	196
Алексей ГОРБУНОВ. <i>Басни</i> .....	197
Юрий СЕМЕНОВ. <i>Пародии</i> .....	199
Сергей ПОТЕХИН. <i>Стихи</i> .....	203
Борис БОЧКАРЕВ. <i>Сказки</i> .....	204
Людмила КОРЕПОВА. <i>Стихи</i> .....	207
Виктор СМИРНОВ. <i>Стихи</i> .....	208

## ДЕБЮТЫ

### И ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАКОМСТВА

Геннадий КЛЕЧЕНОВ. Об одном костромском литераторе	210
Александр КЛЕЧЕНОВ. Календарь деревни .....	211
Александр ЕРИН. Встреча с Марийкой .....	212
Юрий БАЛАКИН. <i>Стихи</i> .....	216
Николай ЯНКИН. Серебряные обручи .....	217
Александр БУГРОВ. <i>Стихи</i> .....	221
Ирина ТРОИЦКАЯ. Блаженная .....	223
Дмитрий ТИШИНКОВ. <i>Стихи</i> .....	224
Татьяна РАСУЛОВА. <i>Стихи</i> .....	226
Ирина БЛИНОВА. <i>Стихи</i> .....	227
Александр ЗАЙЦЕВ. <i>Стихи</i> .....	228
Елена СМОЛЕНЦЕВА. <i>Стихи</i> .....	230
Сергей БЕЛЫЙ. <i>Стихи</i> .....	231
Зинаида ЧАЛУНИНА. <i>Стихи</i> .....	232
Вячеслав ДРОБЫШЕВ. <i>Стихи</i> .....	234
Виктор КОНСТАНТИНОВ. <i>Стихи</i> .....	234

## ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ

Издания 1999-2000 годов .....	236
-------------------------------	-----

# К О С Т Р О М А

## Литературно-художественный сборник четвертый выпуск

Издания Костромской областной писательской организации осуществляются в связи с принятой региональной программой изучения русской литературы.

За справками обращаться по адресу:

156005, г.Кострома, пл. Конституции, 1.

Костромская областная писательская

организация. Телефоны: 31-21-09, 31-35-02.

Web page: <http://www.kosnet.ru/~bam>

Композиция, общее и художественное  
редактирование — **М.Ф.Базанков**  
Редакторы — **Е.А.Разумов, М.Ф.Базанков**  
Техническое редактирование, компьютерный  
набор и оригинал-макет — **А.М.Базанков**  
Корректурa — **Е.А.Разумов, Н.Т.Перетягина**

Страницы 2, 36, 49, 153 оформлены по графике

С.Харламова, Т.Скородумовой, В.Сергеева

Общее оформление - М.Ф.Базанков

Издание осуществлено при участии  
Костромской областной администрации.

Сдано в набор 02.01.2000. Подписано в печать 03.04.2000.

Формат 84x108/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Уч.-изд.л. 19,6. Усл. п. листов 15. Заказ №1744.

Тираж 1000 экз.

Отпечатано в областной типографии им. М.Горького  
Департамента по делам телерадиовещания, печати и массовой  
информации администрации Костромской области,  
г. Кострома, ул.П.Щербины,2.